Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ РУССКОЙ ПРОСТРАНСТВО



Собрание сочинений в 10 т. Т. 8. За миллиард лет до конца света.

Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий

Аннотация
Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том восьмой. За миллиард лет до конца света
ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая

УЛИТКА НА СКЛОНЕ
- Глава первая. Перец
- Глава вторая. Кандид
- Глава третья. Перец

Глава четвертая. Кандид
Глава пятая. Перец
Глава шестая. Перец
Глава седьмая. Кандид
Глава восьмая. Кандид
Глава девятая. Перец
Глава десятая. Перец
Глава одиннадцатая. Кандид
ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА
ДЬЯВОЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
Эпилог первый (фантастический)
Эпилог второй (простодушный)
Эпилог третий (стандартный)
ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ НИКИТЫ ВОРОНЦОВА
Холостяцкий междусобойчик
Дневник Никиты Воронцова
Умертвие на проспекте Грановского
Подробности о Никите Воронцове
Дискуссия
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ ИЛИ «КУДА ЖЕ НАМ ПЛЫТЬ?..»
КОММЕНТАРИИ
ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА
УЛИТКА НА СКЛОНЕ
ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА
ДЬЯВОЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ
ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ НИКИТЫ ВОРОНЦОВА
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ ИЛИ «КУДА ЖЕ НАМ ПЛЫТЬ?..»

Аннотация

В очередной том собрания сочинений непревзойденных мастеров отечественной и мировой фантастики вошли их классические романы «За миллиард лет до конца света» и «Улитка на склоне», а также произведения позднего периода творчества.

Аркадий и Борис Стругацкие. Собрание сочинений в 10 томах. Том восьмой. За миллиард лет до конца света

ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА

Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах

Глава первая

1. «...Белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марева над раскаленными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов.

Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась пополуденная маета — недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру навылет.

Малянов закрыл окно — обе рамы — и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь.

Было начало третьего.

На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая

и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла.

— Никто не помыл и ничто не помыто, — сказал Малянов вслух.

Мойка была переполнена немытой посудой. Не мыто было давно.

Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Калям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей.

— Жрать хочешь... — сказал Малянов с неудовольствием.

Калям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, неплохо бы наконец.

— Утром же тебе давали, — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. — Или нет, не давали... Это я тебе вчера утром давал...

Он вытащил Калямову кастрюлю и заглянул в нее — были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленого сыра «Янтарь», страшненькая бутылка с остатками

кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукочанчик капусты с кулак величиной да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник — там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдце. И все.

Калям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся.

— Ничего, ничего, — сказал он Каляму. — Все равно сейчас везде обеденный перерыв.

Можно было бы, конечно, пойти на Московский, где перерыв с часу до двух, но там всегда очереди, и тащиться туда далеко по жаре... Это надо же — какой паршивый интеграл оказался! Ну, ладно... Пусть это будет константа... от омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. Конформные отображения попробовать, подумал он.

Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось,

что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки.

— Да!

— Витя? — спросил энергичный женский голос.

— Какой вам телефон нужен?

— Это «Интурист»?

— Нет, это квартира...

Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает по́том. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. В Бобкину комнату надо перебираться, вот что. Баня ведь. Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича шесть томов... И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать — перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было... Ч-черт... С этим твоим «Интуристом», дура безрукая... Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда... А! Конформные отображения! Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть...

Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас

же зазвонил снова.

— Идиот, — сказал он аппарату и взял трубку. — Да!

— Это база? Кто говорит? Это база?

Малянов положил трубку и набрал номер ремонтной.

— Ремонтная? Я говорю с телефона 93-98-07... Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда...

— Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос.

— 93-98-07... Мне все время звонят то в «Интурист», то в гараж, то...

— Положите трубку. Проверим.

— Пожалуйста... — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки.

Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. Та-ак... Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный... Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль! Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб...

Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце.

Все-таки здорово, ей-богу... Ай да Малянов! Ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это, брат, тебе не «фигура цапф большого пассажного инструмента», этого, брат, до тебя никто не делал! Тьфу-тьфу, только бы не сглазить... Интеграл этот... Да пусть он треснет, интеграл этот, — дальше поехали, дальше!

Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку.

— С цепи сорвались, честное слово, — произнес он.

В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами.

— Ка-ал-лям! — сказал Малянов сдавленно-угрожающим голосом. — Да Калям, пошел вон!

Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собою большую картонную коробку. Бурча нечленораздельное, он двинулся прямо на Малянова.

— Вы... э... — промямлил Малянов, отступая.

Плюгавый был уже в прихожей — глянул направо в комнату и решительно повернул налево

в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы.

— Позвольте... э... — бормотал Малянов, наступая ему на пятки.

Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций.

— Вы из ЖЭКа, что ли? — Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик наконец явился — чинить кран в ванной.

— Из гастронома, — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции, сколотые булавкой. — Распишитесь вот здесь...

— А что это? — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов. Коньяк — две бутылки, водка... — Подождите, — сказал он. — По-моему, мы ничего...

Он увидел сумму. Он ужаснулся. Таких денег в квартире не было. Да и вообще с какой стати? Охваченное паникой воображение мигом выстроило перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу... звонить, наверное, куда-нибудь придется, может быть, даже ехать... Но тут на углу квитанции он

обнаружил фиолетовый штамп «Оплачено» и сразу же — имя заказчика: Малянова И. Е. Ирка!.. Ни черта понять невозможно.

— Вот тут расписывайтесь, вот тут... — бурчал плюгавый, тыча траурным ногтем. — Вот где птичка стоит...

Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался.

— Спасибо... — сказал он, возвращая карандаш. — Большое спасибо... — обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. Дать ему надо бы что-нибудь, да мелочи нет... — Огромное вам спасибо, до свидания!.. — крикнул он в спину кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой Каляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной площадке.

Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке. В голове было как-то все неясно.

— Странно... — сказал он вслух и вернулся на кухню.

Калям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки, банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так. Копирка, как водится, под-

гуляла, но почерк разборчивый. Улица Героев... гм... Вроде все правильно. Заказчик: Малянова И. Е. Ничего себе — привет! Он посмотрел на сумму. Уму непостижимо! Он перевернул квитанцию. На обратной стороне ничего интересного не было. Был там расплющенный и присохший комар. Что это Ирка — ошалела совсем, что ли? У нас долгов пятьсот рублей... Подожди... Может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом? Он стал вспоминать день отъезда, распахнутые чемоданы, кучи одежды, разбросанные повсюду, полуодетая Ирка орудует утюгом... Не забывай Каляма кормить, травку ему приноси... знаешь, такую острую... за квартиру не забудь заплатить... если шеф позвонит, дай ему мой адрес. Вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом... Да! Белье надо в стирку отнести... Ни фига не понимаю.

Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. Коньяк. Рублей пятнадцать, ей-богу! Да что же это такое — день рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник... Он принялся загибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги опять у кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, пятьсот рублей,

а она — сюрприз!.. Ясно было только одно: в магазин можно не ходить. Все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы? Вроде бы тоже нет. Точно — нет. День рождения Барбоса? Зимой...

Он пересчитал горлышки. Десять штук, как одна копейка. На кого же это она рассчитывала? Мне столько и за год не выпить. Вечеровский тоже почти не пьет, а Вальку Вайнгартена она не любит... Может быть, у них в отделе какой-нибудь банкет должен быть? Только чего ради за десять дней все заказывать? Да и не может быть у них никакого банкета, все они сейчас разъехались...

Калям ужасно заорал. Что-то он там учуял, в этой коробке...»

2. «...лосося в собственном поту и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов только челюсть выпячивал. Не пойду, и всё. Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница... Тут ведь все дело

в чем? Если интеграл на самом деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производные... Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно — здорово получаются эти пузыри. А что? Так и назову: пузыри. Нет, наверное, лучше «полости». Полости Малянова. «М-полости». Гм...

Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком, пар идет. Бедный Калямушка. Придется ему потерпеть. Придется Калямушке еще немного пострадать, пока остынет...

Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера, и так же, как вчера, он сначала не поверил.

— Подожди-ка, подожди... — лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по прохладному, липнущему к пяткам линолеуму в густой желтый жар, к столу, к авторучке...

Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся... И в то же время вторым, а вернее — первым, основным планом: функция Гартвига... и всей правой части как не бывало... Полости получаются осесимметричные... А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе

существенно положительная... Но картинка, ах какая картинка получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер... В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала их, пыталась проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до неимоверных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает, что там начиналось... Ничего, и это выясним... С волокнистой структурой разберемся — раз. С дугами Рагозинского — два! А потом планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам — оболочки! В точности наоборот!

Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. Выключить его, к чертям, сейчас же. Там есть такой рычажок... Он бросился на тахту и сорвал трубку.

— Да!

— Митька?

— Да... Это кто?

— Не узнаешь, собака? — Это был Вайнгартен.

— А, Валька... Чего тебе?

Вайнгартен помедлил.

— Ты почему к телефону не подходишь? — спросил он.

— Работаю, — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотелось вернуться к столу и досмотреть картинку с пузырями.

— Работаешь... — Вайнгартен засопел. — Нет-ленку, значит, лепишь...

— Ты что, зайти хотел?

— Зайти? Да нет, не то чтобы зайти...

Малянов окончательно разозлился.

— Так чего тебе надо?

— С-с-слушай, отец... А чем ты сейчас занимаешься?

— Работаю! Сказано тебе!

— Да нет... Я хотел спросить: над чем ты работаешь?

Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена двадцать пять лет, и сроду Вайнгартен никакой маляновской работой не интересовался, сроду Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали: двугривенный 1934 года и так называемый «консульский полтинник», который, собственно, и полтинником-то не был, а

был какой-то там особенной почтовой маркой... Делать гаду нечего, решил Малянов. Трепло... Или ему крыша понадобилась, что он так мнется? И тут он вспомнил Аверченко.

— Над чем я работаю? — переспросил он со злорадством. — Изволь, могу рассказать во всех подробностях. Тебе как биологу это будет страшно интересно. Вчера утром я наконец слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции мои уравнения движения имеют еще один интеграл — кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнения движения записать в векторной форме и применить преобразования Гартвига, то интегрирование по всему объему проводится до конца, и вся математика сводится к интегро-дифференциальным уравнениям типа Колмогорова — Феллера...

К его огромному изумлению, Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили.

— Ты меня слушаешь? — спросил он.

— Да-да, слушаю очень внимательно.

— Может быть, ты даже меня понимаешь?

— Секу помаленьку, — бодро сказал Вайнгартен, и тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался.

— Валька, случилось что-нибудь?

— Где? — спросил Вайнгартен, помедлив опять.

— Где... У тебя, естественно! Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно?

— Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно. Жара замучила. Про двух петухов знаешь анекдот?

— Нет. Ну?

Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов — очень глупый, но довольно смешной. Какой-то совсем не вайнгартеновский анекдот. Малянов, конечно, слушал и, когда пришло на то время, захихикал, но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно, от этого анекдота у него только усилилось. Опять, наверное, со Светкой поцапался, подумал он неуверенно. Опять ему эпителий попортили. И тут Вайнгартен спросил:

— Слушай, Митька... Снеговой — такая фамилия тебе ничего не говорит?

— Снеговой? Арнольд Палыч? Ну, сосед у меня есть, напротив живет, через площадку... А что?

Вайнгартен некоторое время молчал. Даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только

негромкое бряканье, — наверное, подбрасывал он в горсти свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал:

— А чем он занимается, твой Снеговой?

— Физик, по-моему. В каком-то ящике работает. Шибко секретный. А ты откуда его знаешь?

— Да я его не знаю, — с непонятной досадой сказал Вайнгартен, и тут раздался звонок в дверь.

— Нет, явно сорвались с цепи! — сказал Малянов. — Подожди, Валька. В дверь наяривают...

Вайнгартен что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Калям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся.

Открывши дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая. Незнакомая. (Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах и брюхо у него потное.) У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник.

— Дмитрий Алексеевич? — спросила она стесненно.

— Д-да... — проговорил Малянов. «Родственница? Троюродная Зина из Омска?»

— Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич...

Наверное, я некстати... Вот.

Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшные чувства против всех родственников на свете, и особенно против этой троюродной Зины — или... Зои? — угрюмо клокотали у него в душе...

Впрочем, это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами, явно второпях, писала вкривь и вкось: «Димкин! Это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее расск. Прими ее хорошенько, она ненадолг. Не хами. У нас все хор. Она расск. Целую, И.».

Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку.

— Очень приятно... — заявил он дружески развязным тоном. — Заходите, Лида, прошу... Извините меня за мой вид. Жара!

Все-таки, видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности и она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала.

— Позвольте, я вам чемодан... — поспешно сказал Малянов. — Заходите, заходите, не стесняйтесь... Пыльник вешайте сюда... Здесь у нас большая комната, я там работаю, а здесь — Бобкина... Она и будет ваша... Вы, наверное, душ захотите принять?

Тут с тахты донеслось до него гнусавое квакание.

— Пардон! — воскликнул он. — Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас...

Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет:

— Митька... Митька... Отвечай, Митька...

— Алё! — сказал Малянов. — Валька, слушай...

— Митька! — заорал Вайнгартен. — Это ты?

Малянов даже испугался.

— Чего ты орешь? Тут ко мне приехали, извини... Я тебе потом позвоню.

— Кто? Кто приехал? — страшным голосом спросил Вайнгартен.

Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел Валька. Ну и денек...

— Валька, — сказал он очень спокойно. — Что с тобой сегодня? Ну, женщина одна приехала... Иркина подруга...

— С-сукин сын! — сказал вдруг Вайнгартен и повесил трубку...»

Глава вторая

3. «...а она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка она была в высшей степени призывная, — у Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, все у нее было в порядке безо всяких лифчиков. О «полостях Малянова» он больше не вспоминал.

Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек, потели. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах — просто к слову пришлось, — и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил (петухи напомнили), что надо бы позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел, а вместо этого сказал Лидочке:

— Изумительно вы все-таки загорели!

— А вы — белый, как червяк, — сказала Лидочка.

— Работа, работа! Труды!

— А у нас в пионерлагере...

И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на Большой антенне. Что такое Большая антенна? Пожалуйста. Он рассказал, что такое Большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины, — решительный был малый.

— Хотите еще стаканчик? — спросил он.

Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение — не то растерянности, не то испуга, — у нее даже рот приоткрылся.

— Налить? — неуверенно спросил Малянов, качнув чайником.

Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу.

— Что?

— Я говорю — чайку налить вам еще?

— Да нет, спасибо... — Она засмеялась как ни в чем не бывало. — А то я лопну. Надо фигуру беречь.

— О да! — сказал Малянов с повышенной галантностью. — Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать...

Она мельком улыбнулась и, повернув голову, через плечо посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев. Равно как и ее плечи. Не говоря уже об остальном. Цирцея, подумал он. И сразу же добавил: впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю...

— Вот странно, — сказала Цирцея. — У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела: эту кухню, этот двор... только во дворе было большое дерево... Огромное дерево!.. У вас так бывает?

— Конечно, — сказал Малянов с готовностью.

— По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, это называется ложная память...

— Да, наверное, — проговорила она с сомнением.

Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой. Словно заело что-то.

— А может быть, мы с вами уже встречались? — спросила она вдруг.

— Где? Когда? Я бы вас запомнил...

— Ну, может быть, случайно... где-нибудь на улице... на танцах...

— Какие могут быть танцы? — возразил Малянов. — Я уже забыл, как это делается...

И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «А наш Калям ходит в унитаз...» Или: «Помидоров в этом году в магазинах не достать...» Или: «Может быть, еще стаканчик чайку?» Или, скажем: «Ну а как вам нравится наш замечательный город?..»

Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом:

— Ну и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?

Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления, глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб. Закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу.

— Планы?.. — пробормотала она наконец. — Н-ну... конечно... А как же? — Она вдруг словно бы вспомнила. — Ну, Эрмитаж, конечно... импрессионисты... Невский... И вообще я белых ночей никогда не видела...

— Малый туристский набор, — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. — Давайте я вам все-таки чайку налью... — предложил он.

И снова она засмеялась как ни в чем не бывало.

— Димочка, — сказала она, очень мило надувши губки, — ну что вы ко мне пристаете с этим

вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью... А тут еще в такую жару!

— Кофе? — предложил Малянов с готовностью.

Она была категорически против кофе. В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара — тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки обязательно должны быть видны трусики, а если трусики не видны, то это уже не мини-юбка, и у кого трусики не видны, та считается монахиней и старой девой. При всем при том мораль там, как ни странно, очень строгая. Ни-ни! Революция.

— А какие там пьют коктейли? — спросила она.

— Хайбол, — ответил Малянов гордо. — Ром, лимонад и лед.

— Лед, — сказала она мечтательно...»

4. «...потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на «ты». Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной

общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. Рислинг кончился, Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за «каберне». «Каберне» было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово — где-то. Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах... Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак. Интеллигентный брак. Брак — это договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба. Искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь?.. При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. Возьми нас с

Иркой. Ты знаешь Ирку...

В дверь позвонили.

— Это еще кого бог несет? — удивился Малянов, поглядев на часы. — По-моему, у нас все дома.

Было без малого десять. Повторяя: «У нас, знаете ли, все дома...» — он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на Каляма. Калям вякнул.

— А-а, провались ты, сатана!.. — сказал ему Малянов и открыл дверь.

Оказалось, что это сосед пожаловал, шибко секретный Снеговой Арнольд Палыч.

— Не поздно? — прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора. Седовласый Шат.

— Арнольд Палыч! — сказал ему Малянов с подъемом. — Какое может быть «поздно» между друзьями? Пр-рашу!

Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую.

— Очень, очень кстати... — говорил он, таща Снегового на буксире. — Познакомитесь с прекрасной женщиной!.. — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. — Лидочка, это Арнольд Палыч! — объявил он. — Сейчас я еще один бокал... и бутылочку...

Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало, он себя знал. Но очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все всем нравились. Пусть они друг другу понравятся, растроганно думал он, покачиваясь перед раскрытым баром и таращась в желтоватые сумерки. Ему все равно, он холостяк. А у меня Ирка!.. Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар.

Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он приволок бутылку «Бычьей крови» и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими: зловеще красивое, яркое лицо Лидочки и зловеще жестокое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового.

— Что смолкнул веселия глас? — бодро вопросил Малянов. — Все на свете вздор! Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения! Не помню, кто это сказал... — Он откупорил бутылку. — Давайте пользоваться этой общностью... э... роскошью...

Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки

он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул.

Пока вся роскошь человеческого общения выражалась лишь в нечленораздельных возгласах. О, эта проклятая интеллигентская стеснительность! Не могут два прекрасных человека сразу же, немедленно, раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка скучающе смотрела в окно. Снеговой, пришипившись, крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены — до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос:

— Ну, Арнольд Палыч, когда вы теперь исчезнете?

Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать, и тут до него дошло, что вопрос его прозвучал,

мягко выражаясь, двусмысленно.

— Арнольд Палыч! — возопил он, воздевая руки к потолку. — Господи, да я совсем не то хотел сказать! Лидочка! Ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе! Месяц его нет, другой нет. Вдруг — звонок. Является... — Он почувствовал, что несет лишнее, что хватит уже, что пора выруливать из этой темы. — В общем, Арнольд Палыч, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад вас видеть. Так что о том, чтобы исчезать раньше двух часов, не может быть и речи...

— Ну конечно, Дмитрий Алексеевич... — прогудел Снеговой и похлопал Малянова ладонью по плечу. — Конечно, дорогой, конечно...

— А это — Лидочка! — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки. — Лучшая школьная подруга моей жены. Из Одессы.

Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил:

— Вы надолго в Ленинград?

Она что-то ответила довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи...

Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. Не-ет, ребята, мне пить нельзя. Ну и срамотища! Трепло забалдевшее. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик Снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимы, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и заперся там. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову.

Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя, в общем-то, ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая роскошь, несомненно требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество

анекдотами пляжными. Анекдоты были, честно говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела вовсе, но зато она умела хохотать, и зубки у нее были белые как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. «Что бы мы делали без цыганок?» — пробормотал Малянов и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузной материей в Галактике. Они снова хватили ледяной «Бычьей крови», и тут Снеговой вдруг разразился странной историей.

Оказывается, ему было предсказано, что умрет он восьмидесяти трех лет в Гренландии. («В Гренландской социалистической республике...» — немедленно сострил Малянов, но Снеговой спокойно возразил: «Нет, просто в Гренландии...») В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды — было это во время войны, хотя и не на фронте, — один из его знакомых, под банкой, конечно, или, как тогда говорили, вполсвиста, до того раздражился, что вытащил «ТТ», приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: «А вот мы проверим!» — спустил курок...

— И?.. — спросила Лидочка.

— Убил наповал, — сострил Малянов.

— Была осечка, — сказал Снеговой.

— Странные у вас знакомые, — сказала Лидочка с сомнением.

Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно. И если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные.

Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой, как Арнольда Палыча может занести в Гренландию. Малянов склонялся к авиационной катастрофе, Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Палыч, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой.

Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Палыч остановил его. Ему уже пора было идти, он ведь просто так забежал, на минутку. Лидочка, напротив, готова была продолжать. Она вообще была ни в одном глазу, только щеки немного раскраснелись.

— Нет-нет, ребятки, — сказал Снеговой. — Я должен идти. — Он грузно поднялся и снова за-

полнил собой всю кухню. — Я уж пойду, Дмитрий Алексеевич, проводите меня... Спокойной ночи, Лидочка. Рад был познакомиться.

Они двинулись через прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес:

— Да, Дмитрий Алексеевич! Я же обещал вам эту книгу... Пойдемте, я вам отдам...

«Какую это книгу?» — хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет — и в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном, и Малянову вдруг пришло в голову, что за все пять лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано, горели все лампы — тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая

лампа на столе. На спинке стула висел китель с полковничьими погонами и с целой коллекцией орденских планок. Оказывается, наш Арнольд Палыч полковник... Так-так-так!

— Какую книгу? — спросил наконец Малянов.

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Палыч сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел.

— Значит, так... — прогудел он. — Значит, так... Прежде всего... Что это за женщина?

— Лидочка? Я же вам сказал: подруга жены. А что?

— Вы ее хорошо знаете?

— Н-нет... Только сегодня познакомился. Она приехала с письмом... — Малянов запнулся и испуганно спросил: — А вы что, думаете, она...

Снеговой перебил его:

— Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?

Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена, и его снова окатило нехорошим холодком. Он сказал, криво ухмыльнувшись:

— Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. — Она?

Малянов потряс головой.

— Нет... Вайнгартен... Мой друг.

— Вайнгартен... — Снеговой насупился. — Вайнгартен...

— Да нет! — сказал Малянов. — Я его хорошо знаю, еще в школе вместе учились, до сих пор дружим...

— Такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Нет... Да что случилось, Арнольд Палыч?

Снеговой раздавил в пепельнице окурок и закурил новую сигарету.

— Кто еще спрашивал о вашей работе?

— Больше никто...

— Так над чем вы работаете?

Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно.

— Слушайте, Арнольд Палыч, — сказал он, — я не понимаю...

— Я тоже! — сказал Снеговой. — И очень хочу понять! Рассказывайте! Подождите... У вас закры-

тая работа?

— Кой черт — закрытая? — раздраженно сказал Малянов. — Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд и диффузной материи. Ничего закрытого здесь нет, просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу!

— Звезды и диффузная материя... — медленно повторил Снеговой и пожал плечами. — Где имение, а где вода... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря вы точно не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой молча дымил рядом с ним — огромный, сгорбившийся, страшный. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. У меня к вам всё, Дмитрий Алексеевич. Извините, ради бога.

— Да, но у меня не всё! — сказал Малянов сварливо. — Я бы все-таки хотел понять...

— Не имею права, — сказал Снеговой, как отрезал.

Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал. Но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался, и там весьма отчет-

ливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета. Вроде гангстерского кольта из кино. И этот кольт сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Как-то сразу стало ему ясно, что его дело телячье и что спрашивает здесь не он. А Снеговой поднялся и сказал:

— Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич. Я завтра опять...»

Глава третья

5. «...полежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже вовсю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове, металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе, или в сердце, или бог еще знает где. Он стал разбираться, что это за заноза, но тут раздался осторожный звонок в дверь. А, это Палыч с ключами, сообразил он и торопливо соскочил с постели.

По дороге через прихожую он мельком отметил, что на кухне все прибрано, а дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута изнутри занавеской. Дрыхнет Лидочка. Встала, посуду помыла и снова завалилась.

Пока он возился с замком, звонок снова деликатно звякнул.

— Сейчас, сейчас... — сиплым со сна голосом проговорил он. — Одну минуточку, Арнольд Палыч...

Однако это оказался вовсе не Арнольд Палыч. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога стоял совершенно незнакомый молодой человек.

Он был в джинсах, в черной рубашке с закатанными рукавами и в огромных противосолнечных очках. Тонтон-макут. Малянов успел заметить, что в глубине лестничной площадки, возле лифта, маячат еще двое тонтон-макутов в черных очках, но ему сразу стало не до них, потому что первый тонтон-макут произнес вдруг: «Из уголовного розыска» — и протянул Малянову какую-то книжечку. В развернутом виде.

«Очень мило!» — пронеслось у Малянова в голове. Все ясно. Этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. В одних трусах он стоял перед тонтон-макутом из угрозыска и тупо смотрел в раскрытую книжечку. Там была фотокарточка, какие-то печати и надписи, но воспринял он своими расстроенными чувствами только одно: «Управление Министерства внутренних дел». Крупными буквами.

— Да-да... — пролепетал он. — Конечно. Прошу. А в чем дело?

— Здравствуйте, — произнес тонтон-макут очень вежливо. — Вы Малянов Дмитрий Алексеевич?

— Я...

— Несколько вопросов, с вашего разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста... — сказал Ма-

лянов. — Подождите, здесь у меня не убрано... Только что встал... Может быть, на кухню?.. Нет, там сейчас солнце... Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу.

Тонтон-макут прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь, а Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздергивать шторы и открывать окно.

— Вы садитесь вот сюда, в кресло... Или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось?

Осторожно перешагивая через разбросанные по полу листки, тонтон-макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени желтую кожаную папку, которая у него вдруг откуда-то объявилась.

— Ваш паспорт, пожалуйста, — сказал он.

Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему.

— Кто еще здесь живет? — спросил тонтон-макут, разглядывая паспорт.

— Жена... сын... Но их сейчас нет. Они в Одессе... в отпуске... у тещи...

Тонтон-макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватой внешности молодой человек. И

никакой не тонтон-макут, а скорее уж продавец. Или, скажем, мастер из телеателье.

— Давайте познакомимся, — сказал он. — Я — старший следователь уголовного розыска, зовут меня Игорь Петрович Зыков.

— Очень приятно, — сказал Малянов.

Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, не ширмач, черт их всех подери, форточник, а старший, черт возьми, научный сотрудник и кандидат наук. И не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо:

— Слушаю вас.

Игорь Петрович приподнял свою папку двумя руками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил:

— Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?

Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то — ему и самому было неясно почему — он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Палыча. Поэтому он по-прежнему сухо ответил:

— Да, с полковником Снеговым я знаком.

— А откуда вам известно, что он полковник? — немедленно поинтересовался Игорь Петрович.

— Н-ну, как вам сказать... — проговорил Маля-

нов уклончиво. — Все-таки мы знакомы давно...

— Как давно?

— Н-ну... лет пять, наверное... с тех пор, как въехали в этот дом...

— А при каких обстоятельствах вы познакомились?

Малянов стал вспоминать. Действительно, при каких обстоятельствах? Ч-черт... Когда он ключ принес в первый раз, что ли?.. Нет, мы тогда уже были знакомы...

— Гм... — сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. — Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай... Лифт не работал, а Ирина — это моя жена — возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой... Арнольд Палыч взял у нее авоську и ребенка... Ну, жена пригласила заходить... Кажется, в тот же вечер он и зашел...

— Он был в форме?

— Нет, — сказал Малянов уверенно.

— Так... И с тех пор вы, значит, подружились?

— Н-ну, что значит — подружились? Он заходит к нам иногда... берет книги, приносит книги... чаек иногда пьем вместе... а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи...

— Зачем?

— Как зачем? — сказал Малянов. — Мало ли...

А в самом деле, зачем? Как-то это мне никогда в голову не приходило. Так, на всякий случай, наверное...

— На всякий случай, наверное, — сказал Малянов. — Например, приедет кто-нибудь из родных... или еще что-нибудь...

— Кто-нибудь приезжал?

— Да нет... насколько я помню — нет. При мне, во всяком случае, никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает...

Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил:

— Ну а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе?

Опять о работе.

— О чьей работе? — мрачно спросил Малянов.

— О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком...

— Понятия не имею. Скорее уж ракетчиком каким-нибудь...

Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть как это — *был*? Почему — *был*? Ключ не занес... Господи, да что же случилось, наконец? Он уже готов был заорать во весь голос: «То есть в каком это смысле *был*?» — но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку.

Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в его сторону длинную руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик.

— А это откуда у вас? — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. — Откуда у вас это?

— По... позвольте... — проговорил Малянов, приподнимаясь за похищенным черновиком.

— Сидите! — прикрикнул Игорь Петрович. Сизые его глазки бегали по лицу Малянова. — Как к вам попали эти данные?

— Какие данные? — прошептал Малянов. — Какие, к черту, данные? — заревел он. — Это мои расчеты!

— Это не ваши расчеты, — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. — Вот этот график — откуда он у вас?

Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности.

— Из головы! — сказал Малянов свирепо. — Вот из этой! — Он постучал себя кулаком по темени. — Это зависимость плотности от расстояния до звезды!

— Это кривая роста преступности в вашем районе за последний квартал! — объявил Игорь Петрович.

Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брюзгливо оттопырив губы, продолжал:

— Даже срисовать толком не сумели... Не так она на самом деле идет, а вот так... — С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом: — Вот так... А здесь вот так, а не так... — Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. — Эх, Малянов, Малянов, — произнес он. — Квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуете как последняя сявка...

Малянов обалдело переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Собственно, строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться.

— Ну а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом.

— В хороших... — сказал Малянов тупо.

— Она с ним на «ты»?

— Послушайте, — сказал Малянов. — Вы мне

чертеж испортили. Что это такое, в самом деле?

— Какой чертеж? — удивился Игорь Петрович.

— Да вот этот, график...

— А! Ну, это не существенно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома?

— Несущественно... — повторил за ним Малянов. — Это, знаете ли, вам несущественно, — проговорил он, поспешно собирая со стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. — Сидишь тут, сидишь как проклятый, вкалываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно... — бормотал он, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу.

Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мундштучок. Когда Малянов, отдуваясь, потный и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо:

— Вы разрешите закурить?

— Курите, — сказал Малянов. — Вон пепельница... И знаете, спрашивайте поскорей, что вам нужно. Мне работать пора.

— Это зависит только от вас, — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова. — Вот, например, такой вопрос: как вы обычно называете Снегового —

полковник, по фамилии или по имени-отчеству?

— Когда как придется, — буркнул Малянов. — Какая вам разница, как я его называю?

— Полковником тоже называете?

— Ну, называю. Ну?

— Это очень странно, — сказал Игорь Петрович, осторожно стряхивая пепел. — Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера.

Это был удар. Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливается краской.

— Так откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковники?

Малянов махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Чего там... Ну, прихвастнул. Ну, не знал я, что он полковник... или там подполковник... Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами... ну, вижу — полковник...

— А когда вы вчера у него были?

— Да вечером. Поздно... Книгу вот у него взял. Вот эту...

Это он зря сболтнул — про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу придвинул к себе и принялся ее листать, а Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга

и о чем.

— Это на каком же она языке? — рассеянно спросил Игорь Петрович.

— Э... — промямлил Малянов, вторично покрываясь холодным потом. — На английском, надо полагать...

— Да нет как будто... — проговорил Игорь Петрович, вглядываясь в текст. — Это все-таки кириллица у вас... не латынь... А? Да это же русский!

Малянов облился потом в третий раз, но Игорь Петрович только положил книгу на место, нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее: сук-кин ты сын... капитан Конкассер вшивый... не скажу, где наши...

— На кого я похож, по-вашему? — спросил вдруг Игорь Петрович.

— На тонтон-макута! — ляпнул Малянов не задумываясь.

— Неправильно, — сказал Игорь Петрович. — Попробуйте еще разок.

— Не знаю... — пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно по-

качал головой.

— Плохо! Ну — плохо! Никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах следствия... Это надо же — тонтон-макут!

— Ну а на кого же? — спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

— На человека-невидимку! — сказал он раздельно. — Единственное сходство с тонтон-макутом — единственное! — что тоже пишется через черточку.

Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина, даже машины перестали взревывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон.

Малянов вздрогнул. Игорь Петрович, кажется, тоже. Звонок грянул вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича.

— Да-да, — сказал тот. — Это, наверное, вас.

Малянов добрался до тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен.

— Здорово, астрофаг, — буркнул он. — Что не звонишь, скотина?

— Ты понимаешь... не до того было...

— С бабой развлекаешься?

— Д-да... нет... Что ты, какое там...

— Если б моя Светка поставляла мне своих подружек!.. — произнес Вайнгартен завистливо.

— Д-да... — промямлил Малянов. Он все время чувствовал у себя на затылке взгляд капитана Конкассера. — Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню...

— А что у тебя там? — сейчас же встревожился Вайнгартен.

— Да так... Я тебе потом расскажу.

— Баба эта?

— Нет.

— Мужчина?

— Ага...

Вайнгартен тяжело задышал в трубку.

— Слушай, — сказал он, понизив голос. — Я сейчас к тебе приеду. Хочешь?

— Нет! Тебя еще здесь не хватало...

Вайнгартен снова задышал.

— Слушай, — сказал он. — Он рыжий?

Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового.

— Да нет, что за чушь! Ладно, я потом тебе позвоню...

— Обязательно позвони! — заорал Валька. — Как только он уйдет, сразу же звони!

— Ладно, — сказал Малянов и повесил трубку. Потом он вернулся на свое место, пробормотав: «Пардон...»

— Ничего, ничего, — сказал Игорь Петрович и отложил книгу. — Широкие у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич...

— Д-да... не жалуюсь... — промямлил Малянов. Ч-черт, хоть бы одним глазком глянуть, что это за книга. — Игорь Петрович, — сказал он просительно. — Давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже.

— Ну, разумеется! — воскликнул Игорь Петрович с готовностью. Он озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. — Значит, так. Вчера вечером вы заходили к Снеговому. Так?

— Да.

— За этой книгой?

— Д-да... — сказал Малянов, решив ничего больше не уточнять.

— Когда это было?

— Поздно... около двенадцати...

— Вам не показалось, что Снеговой собирается

куда-то уезжать?

— Да, показалось. То есть не показалось... Он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи...

— Занес?

— Нет. То есть, может, он и звонил в дверь, но я не слышал, спал...

Игорь Петрович быстро писал, положив блокнот на папку, лежащую на колене. На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. Торопился, что ли?

— А Снеговой не сказал вам, куда он собирается ехать?

— Нет. Он никогда не говорит, куда едет...

— Но вы догадываетесь, куда он ездит?

— Н-ну, в общем... догадываюсь... На полигон какой-нибудь... или что-нибудь еще в этом роде...

— Он вам что-нибудь рассказывал об этом?

— Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили.

— Откуда же вы догадываетесь?

Малянов пожал плечами. В самом деле, откуда? Такие вещи объяснить невозможно... Ясно, что человек работает в глубоком ящике, лицо вон все обожжено, руки... и манеры соответствующие... и то, что уклоняется от разговоров о работе...

— Не знаю, — сказал Малянов. — Как-то мне всегда казалось... Не знаю.

— Он знакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?

— Нет, никогда.

— А с женой?

— Разве он женат? Я всегда считал, что он холостяк или... это... вдовец...

— А почему вы так считали?

— Не знаю, — сказал Малянов сердито. — Интуиция.

— А может быть, ваша жена вам об этом говорила?

— Ирка? Ей-то откуда знать?

— Вот это я и хотел бы выяснить.

Воцарилось молчание, оба они уставились друг на друга.

— Не понимаю, — сказал Малянов. — Что вы хотите выяснить?

— Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат.

— Э-э... А-а... А она знала?

Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему

казалось: еще секунда — и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст, все это было похоже на липкую паутину, и в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку...

— Ну, ладно, — сказал вдруг Игорь Петрович, захлопывая блокнот. — Значит, коньяк у вас здесь... — Он указал на бар. — А водка — в холодильнике. Вы что предпочитаете? Лично вы.

— Я?

— Да. Вы. Лично.

— Коньяк... — произнес Малянов хрипло и глотнул. В горле у него было сухо.

— Вот и прекрасно! — бодренько сказал Игорь Петрович, легко поднялся и мелкими шажками двинулся к бару. — Далеко ходить не надо... Таак! — Он уже копался в баре. — Ага, тут у вас и лимончик есть... Подсох слегка, но это ничего, не страшно... Какие рюмочки прикажете? Давайте вот из этих, из синеньких...

Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной ловкостью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, откупоривает бутылку.

— Вы знаете, — говорил он, — если откровенно

— дело ваше дрянь. Разумеется, все решает суд, но я как-никак десять лет уже работаю, кое-какой опыт имею. Всегда, знаете ли, можно представить себе, какое дело на что тянет. Ну, вышки вам не дадут, но лет пятнадцать я вам, можно сказать, гарантирую... — Он аккуратно, не пролив ни капли, разлил коньяк по рюмкам. — Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу... Не вижу, не вижу и не вижу, Дмитрий Алексеевич! Ну... — Он поднял рюмку и приглашающе наклонил голову.

Одеревенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку.

— Хорошо... — произнес он не своим голосом. — Но могу я все-таки узнать, что происходит?

— Ну разумеется! — вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. — Разумеется, можете! Теперь я вам все расскажу. Имею полное право.

И он рассказал.

Сегодня в восемь часов утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дожидался в подъезде, как это было у них заведено. Повременив пять минут, водитель поднялся на лифте и

позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал — водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоит незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой — пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенной из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно между тремя и четырьмя часами утра.

— А я-то здесь при чем? — просипел Малянов.

В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была

обнаружена пуля, прошедшая навылет и застрявшая в стене.

— Но я-то, я-то здесь при чем? — спрашивал Малянов, истово ударяя себя в грудь. К этому моменту они уже выпили по третьей.

— Но вам его жалко? — спрашивал Игорь Петрович. — Жалко его вам?

— Жалко, конечно... Он был отличный мужик... Но я-то! Меня-то вы почему? Я и пистолета сроду в руках не держал! Я же невоеннообязанный... по зрению...

Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствию удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша, и очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке.

— Ну да, ну да! — соглашался Малянов. — Арнольд Палыч действительно был левша, я тоже это знаю, могу подтвердить... Но я-то... Я ведь спал всю ночь! А потом, зачем я его буду убивать, сами посудите!

— Ну а кто же? Кто? — ласково спросил Игорь Петрович.

— Откуда мне знать? Это вы должны знать — кто!

— Вы-с! — гнусаво-вкрадчивым голосом Пор-

фирия произнес Игорь Петрович, разглядывая Малянова сквозь рюмку одним глазом. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич!..

— Кошмар какой-то... — пробормотал Малянов беспомощно. Ему хотелось заплакать от отчаяния.

И тут легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. «Простите... — прошептал он с совершенно человеческой интонацией. — Простите, Дмитрий Алексеевич... Может быть, вы... Как-то здесь...»

Он замолчал, потому что в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом.

— Это что такое? — спросил Игорь Петрович, насторожившись. Души человеческой снова не было в его голосе.

— Это там... один человек... — проговорил Малянов, так и не успев понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг

осенила его. — Слушайте! — вскричал он, вскакивая. — Пойдемте! Вот, пожалуйста, там подруга жены! Она подтвердит!.. Всю ночь спал, никуда не выходил...

Толкаясь плечами, они устремились в прихожую.

— Интересно, интересно... — приговаривал Игорь Петрович. — Подруга жены... Посмотрим!

— Она подтвердит... — бормотал Малянов. — Сейчас увидите... Подтвердит...

Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было, постели на тахте не было, чемодана не было. А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина (Хорезм, XI век), сидел Калям с необыкновенно невинным видом.

— Это? — произнес Игорь Петрович, указывая на Каляма.

— Нет... — ответил Малянов глупо. — Это наш кот, он у нас давно... Позвольте, а где же Лидочка? — Он оглянулся на вешалку. Белого пыльника тоже не было. — Она ушла, наверное...

Игорь Петрович пожал плечами.

— Наверное, — сказал он. — Здесь ее нет.

Тяжело ступая, Малянов подошел к разбитому кувшину.

— С-скотина! — сказал он и дал Каляму по уху.

Калям шарахнулся вон. Малянов присел на корточки. Вдребезги. Какой хороший кувшин был...

— А она у вас ночевала? — спросил Игорь Петрович.

— Да, — сказал Малянов мрачно.

— Когда вы ее видели в последний раз? Сегодня?

Малянов помотал головой.

— Вчера. То есть, собственно, сегодня. Ночью. Я ей простыни давал, одеяло... — Он заглянул в Бобкин ящик для постельного белья. — Вот. Всё тут.

— Давно она у вас живет?

— Вчера приехала.

— А вещи ее здесь?

— Не вижу, — сказал Малянов. — И пыльника ее нет.

— Странно, верно? — сказал Игорь Петрович.

Малянов молча махнул рукой.

— Ну и черт с нею, — сказал Игорь Петрович. — С этими бабами одна морока. Пойдемте еще по рюмочке...

Вдруг входная дверь распахнулась, и в прихожую...»

6. «...дверь лифта, загудел мотор. Малянов остался один.

Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем, в общем, не думая. Появился откуда-то Калям, прошел, нервно подрагивая хвостом, мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол.

— Ну, ладно, — сказал Малянов наконец, оторвался от косяка и прошел в большую комнату.

Было там накурено, сиротливо стояли три синие рюмки на столе — две пустые и одна наполовину полная; солнце уже добралось до книжных полок.

— Коньяк унес... — сказал Малянов. — Это ж надо же!

Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало, через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шум лифта. Пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, — случилось. Гражданин Советского Союза

Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни».

Глава четвертая

7. «Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал Каляму рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, накрошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревья не удосужились посадить. Хоть одно.

Мысли его текли вялой струйкой, да и не мысли это были, собственно, — так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он. Научно-техническая революция и вообще. Непринужденность и психическая атака... Но насчет коньяка — как-то совсем уж непонятно. Игорь Петрович Зыков... или Зыкин? Ну, это он мне сам так представился, а вот что у него было в документе? Мазурики! — подумал он вдруг. Спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка...

Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, толь-

ко какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный... особенно вчера. И ведь кому-то он звонил... звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить... предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан — эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово Лидочка кухню убрала, все так и сверкает... А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно...

Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркин, и манера ее... И вообще, вы подумайте, ну на кой ляд убийце мыть посуду?..»

8. «...у Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке. Истерика какая-то. Вообще-то с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей... Что это он у меня спрашивал, странное что-то... Эх, Валька, мне бы твои заботы! Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике, — глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем... Малянов снова набрал номер, и снова оказалось занято. Ч-черт, как время бездарно проходит!

Сейчас бы самое работать и работать, а тут вся эта пакость.

И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там, в прихожей, не было. И в ванной тоже. И в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Ч-черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку! Гад. Он еще раз набрал телефон Вальки, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется... Он натянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице.

На шестом этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов этого сопляка знал — кандидат в рядовые необученные из семнадцатой квартиры, второй год никуда поступить не может и не хочет... Больше до самого восьмого этажа он никого не встретил. Но все время тлело в нем предчувствие, что вот-вот наткнется на кого-то. Цапнут его за локоть и скажут негромко: «Одну минуточку, гражданин...»

Слава богу, Фил был дома. И как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через пять минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно работать дома в галстуке.

— Работаешь? — спросил Малянов.

— Как всегда.

— Ну, я ненадолго.

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Кофе?

— Подожди, — сказал Малянов. — А впрочем, давай.

Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием.

— Я сделаю по-венски, — сказал он не оборачиваясь.

— Валяй, — отозвался Малянов. — Сливки есть?

Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки.

— У тебя следователь был? — спросил он.

Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков.

— Прости... Как ты сказал?

— Я сказал: следователь у тебя был сегодня или нет?

— Почему именно следователь? — осведомился Вечеровский.

— Потому что Снеговой застрелился, — сказал Малянов. — Ко мне уже приходили.

— Кто такой Снеговой?

— Ну, этот дядька, который напротив меня живет. Ракетчик.

— А...

Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками.

— А ты разве его не знал? — спросил Малянов. — По-моему, я вас знакомил.

— Нет, — сказал Вечеровский. — Насколько я помню — нет.

По всей кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солн-

це, где все всегда стояло на своих местах и все было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше, — здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными... нечистоплотными какими-то.

— Ты анекдот о двух петухах знаешь? — спросил Малянов.

— О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От сохи.

— Да нет. О двух! — сказал Малянов. — Не знаешь?

И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу, — такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил наконец:

— Превосходно. Это я не о твоем анекдоте. Это я о кофе.

— Догадываюсь, — уныло сказал Малянов.

Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал:

— Вчера я немного подумал над твоей задачей... Ты не пробовал применить функции Гартвига?

— Знаю, знаю, — сказал Малянов. — Сам допер.

— Получилось?

Малянов отодвинул от себя пустую чашку.

— Слушай, Фил, — сказал он. — Какие тут, к чертовой матери, функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...»

9. «...помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал:

— Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели... — И добавил: — Бедняга.

Непонятно было, кого он имеет в виду.

— Нет, я все могу понять, — сказал Малянов. — Но вот этот следователь...

— Ты хочешь еще кофе? — перебил его Вечеровский.

Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся.

— Тогда пойдем ко мне, — сказал он.

Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол — совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине, — вынул из ящика механический бювар, щелкнул какой-то кнопкой,

пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер.

— Старшего следователя Зыкина, — произнес он вялым начальственным голосом. — Я и говорю — Зыкова Игоря Петровича... На операции? Благодарю вас. — Он положил трубку. — Старший следователь Зыков на операции, — сообщил он Малянову.

— Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции... — проворчал Малянов.

Вечеровский покусал губу.

— Это уже неважно. Важно, что он существует.

— Конечно, существует! — сказал Малянов. — Он мне свое удостоверение показывал... Или ты думал, что это были жулики?

— Вряд ли...

— Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю... да еще рядом с опечатанной квартирой...

Вечеровский кивнул.

— А ты говоришь — функции Гартвига! — сказал Малянов укоризненно. — Какая тут может быть работа! Тут того и гляди загремишь в лагерь...

Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами.

— Дима, — проговорил он, — а тебя не удивило,

что Снеговой заинтересовался твоей работой?

— Еще бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили...

— А что ты ему рассказал?

— Н-ну... в общих чертах... Он, собственно, и не настаивал на подробностях.

— И что он сказал?

— Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. «Где имение, а где вода», — так он выразился.

— Прости?

— «Где имение, а где вода»...

— А что, собственно, это значит?

— Это из классики откуда-то... В том смысле, что в огороде бузина, а в Киеве дядька...

— Ага... — Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чистую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать. — Ага... «Где имение, а где вода»... Это хорошо. Надо будет запомнить.

Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который из совокупности данных фактов был бы способен делать столь неожиданные выводы.

— Ну? — сказал Малянов наконец.

Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскуривал. Трубка тихонечко сипела. Вечеровский сказал, затягиваясь:

— Дима... п-п... А насколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг... п-п... разговаривали в последний раз...

— Какое это имеет значение? — спросил Малянов с раздражением. — Мне сейчас, знаешь ли, не до этого...

Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей — по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что — нет.

— Неплохо я продвинулся, — сказал он и принялся рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегро-дифференциальному уравнению; как у него стала вырисовываться физическая картина, как допер он до М-полостей и как вчера сообразил наконец использовать преобразования Гартвига.

Вечеровский слушал очень внимательно, не пе-

ребивая и не задавая вопросов, и только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил: «Словами, словами...»

— Но ничего этого я сделать уже не успел, — уныло закончил Малянов. — Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, потом приперся мужик из стола заказов...

— Ты мне ничего об этом не говорил, — прервал его Вечеровский.

— Так это никакого отношения к делу не имеет, — сказал Малянов. — Пока были телефонные звонки, я еще кое-как работал, а потом заявилась эта Лидочка, и все пошло на пропасть...

Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма.

— Неплохо, неплохо... — прозвучал его глуховатый голос. — Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте.

— Не я остановился, а меня остановили!

— Да, — сказал Вечеровский.

Малянов ударил себя кулаками по коленям.

— Ч-черт, сейчас бы работать и работать! А я думать не могу! От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю как псих... и вдобавок эта милая перспективочка — пятнадцать лет ИТЛ...

Он уже в который раз вворачивал про эти пятнадцать лет, все ждал, что Вечеровский скажет: «Не выдумывай, какие там пятнадцать лет, это же явное недоразумение...» — но Вечеровский и на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого он принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках: когда они начались (точно), куда звонили (ну хоть несколько конкретных примеров), кто звонил (мужчина? женщина? ребенок?). Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена, он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал, а потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Кстати, только теперь Малянов вспомнил, что после его второго звонка в бюро ремонта ошибочные вызовы прекратились... Но он даже не успел сказать об этом Вечеровскому, потому что вспомнил еще кое-что.

— Слушай, — сказал он, оживившись. — Я совсем забыл. Вайнгартен, когда звонил вчера, спрашивал, знаю ли я Снегового.

— Да?

— Да. Я сказал, что знаю.

— А он?

— А он сказал, что не знает... Не в этом дело. Что

это, по-твоему, — совпадение? Или как? Странное какое-то совпадение...

Вечеровский помолчал некоторое время, попыхивая трубкой, а затем снова принялся за свое. Что это за история со столом заказов? Поподробнее... Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что он принес? Что теперь осталось от того, что он принес?.. Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем это все надо и какое отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковыряться в трубке. Малянов сначала ждал, а потом стал представлять себе, как за ним приходят четверо, все как один в черных очках, и шарят по квартире, и отдирают обои, и допытываются, не вступал ли он в сношения с Лидочкой, и не верят ему, а потом уводят...

Он хрустнул пальцами и с тоской пробормотал:

— Что будет? Что будет?..

Вечеровский тотчас откликнулся.

— Кто знает, что ждет нас? — сказал он. — Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать...

Малянов понял, что это стихи, только потому, что Вечеровский, закончив, разразился глуховатым уханьем, которое обозначало у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэллсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью, и Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим.

— Иди ты к черту, — сказал ему Малянов.

И тогда Вечеровский произнес вторую тираду — на этот раз в прозе.

— Когда мне плохо, я работаю, — сказал он. — Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета — пожалуйста: садись работать. Слава богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша...

Положим, все это Малянов знал и без него. Из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать, только когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело.

— Помощи от тебя... — сказал он. — Дай-ка я лучше Вайнгартену позвоню... Странно мне все-

таки, что он спрашивал про Снегового...

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Только, если тебе нетрудно, перенеси телефон в другую комнату.

Малянов взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату.

— Если хочешь, оставайся у меня, — сказал ему вслед Вечеровский. — Бумага есть, карандаш я тебе дам...

— Ладно, — сказал Малянов. — Там видно будет...

Теперь Вайнгартен не отвечал. Малянов дал звонков десять, перезвонил, дал еще десяток и повесил трубку. Так. Что ж теперь делать? Конечно, можно было бы остаться здесь. Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер. Прицепов и тормозов не слышно — окна во двор. И вдруг он понял, что дело не в этом. Ему было просто страшно возвращаться к себе. Это надо же! Больше всего на свете я люблю свой дом, и в этот дом мне страшно возвращаться. Ну нет, подумал он. Этого вы от меня не дождетесь. Это уж пардон.

Малянов решительно сгреб аппарат и отнес его на место. Вечеровский сидел, уставясь в свой одинокий листок, и тихонько постукивал по нему благороднейшим паркером. Листок был на-

половину исписан символами, которых Малянов не понимал.

— Я пойду, Фил, — сказал Малянов.

Вечеровский поднял к нему рыжее лицо.

— Конечно... Завтра у меня экзамен, а сегодня я весь день дома. Звони или заходи...

— Хорошо, — сказал Малянов.

По лестнице он спускался неторопливо, торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку покрепче, сяду на кухне, Калям вспрыгнет мне на колени, я буду гладить его, прихлебывать чай и попробую наконец трезво и спокойно все это продумать... Жаль, телевизора нет, посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное... комедию какую-нибудь или футбол... Пасьянсик разложу, что-то я давно пасьянсов не раскладывал...

Он спустился на свою лестничную площадку, нащупывая в кармане ключи, повернул за угол и остановился. Так. Сердце его провалилось куда-то в желудок и принялось там стучать медленно, размеренно, как свайная баба. Та-ак... Дверь квартиры была приоткрыта.

Он на цыпочках подкрался к двери и прислушался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос, и что-то отвечал незнакомый

детский голос...»

Глава пятая

10. «...сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки.

— Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Малянова. — Где ты пропадаешь?

Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной «Столичной» и всякие яства из стола заказов.

— Успокойся и не переживай, — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули. Тебя ждали.

Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался.

— Так-так-так! — произнес Малянов, вступая

в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом — моя крепость, так это называется?

— Взятая штурмом, отец, взятая штурмом! — заорал Вайнгартен. — Слушай, откуда у тебя такая водка? И жратва?

Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость.

— Мы тут без вас нахозяйничали... — сказал он сконфуженно. — Это я виноват...

— Чепуха, чепуха, вот сюда давайте, в ведро...

— Дядя — трус, — произнес вдруг мальчик отчетливо. Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули.

— Ну-ну, тише... — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем.

— Дитя! — сказал Вайнгартен. — Ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай.

— Почему же это я трус? — спросил Малянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня обижаешь?

— А я тебя не обижаю, — возразил мальчик, разглядывая меня как какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал...

Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул мне

руку.

— Захар, — представился он.

Мы обменялись церемонным рукопожатием.

— За дело, за дело! — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. — Тащи еще две рюмки...

— Слушайте, ребята, — сказал Малянов. — Я водку пить не буду.

— Вино пей, — согласился Вайнгартен. — Там у тебя еще две бутылки белого...

— Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике, икру и масло... и вообще все, что там есть. Жрать хочется.

Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел тонтон-макут, и вернулся к столу. Стол ломился от яств. Наемся и напьюсь, подумал я с веселой яростью. Молодцы ребята, что приехали...

Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, и я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал:

— А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло.

Малянов поперхнулся.

— Откуда ты взял?..

— Вот что, — сказал Вайнгартен, переставши сиять как масленый блин. — Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий?

— Вечеровский?

— Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человечек в этаком удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал?

Малянов откусил от бутерброда сколько в рот влезло и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатывал глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить.

— Ребята, — сказал Малянов наконец. — Какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все было гораздо хуже.

— Ну, давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо сказал Вайнгартен.

— Почему это я должен рассказывать? — возмутился Малянов. — Я из этого никакого секрета не делаю, но чего ты тут передо мной разыгрываешь? Сам рассказывай! Откуда, интересно, ты

узнал, что со мной вообще что-то случилось?

— Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу, — упрямо сказал Вайнгартен. — И Захар расскажет.

— Вот вы давайте оба и рассказывайте, — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один...

— Ты рассказывай, — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем.

— Тише, тише... — прошептал Захар, совсем застеснявшись.

Вайнгартен невесело хохотнул.

— Это ваш? — спросил Малянов Захара.

— Да вроде мой... — странно ответил Захар, отводя глаза.

— Его, его, — сказал Вайнгартен нетерпеливо. — Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай... не ломайся...

Совсем они сбили Малянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков. Когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам не заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхохатывал, обнажая могучие желтоватые клыки, а Малянов прямо-таки

целью жизни своей положил заставить засмеяться и красавца Захара, но это ему так и не удалось — Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха.

— Врешь! — хрипло выдохнул Вайнгартен.

Малянов дернул плечом.

— За что купил... — сказал он. — А дверь у него опечатана, можешь пойти и посмотреть...

Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками, а потом вдруг с шумом поднялся, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами.

— Охо-хо-хо-хо... — уныло произнес Захар.

И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал:

— Откуси!

Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло буркнул:

— Дальше...

— Что — дальше? Дальше я пошел к Вечеровскому... Эти хмыри ушли, и я пошел... Вот только

что вернулся.

— А рыжий? — спросил Вайнгартен нетерпеливо.

— Я же тебе говорю, ослиная твоя башка! Не было никаких рыжих!

Вайнгартен и Захар переглянулись.

— Ну, предположим, — сказал Вайнгартен. — А девица эта твоя... Лидочка... Она тебе никаких предложений не делала?

— Н-ну... как тебе сказать... — Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть... если бы я по-настоящему захотел...

— Тьфу, болван! Все об ёй! Да я не об этом!.. Ну ладно. А следователь?

— Знаешь что, Валька, — сказал Малянов, — я тебе все рассказал, как было, иди к черту! Честное слово, третий допрос за день...

— Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть, тут действительно что-нибудь другое?

— Брось, отец! — Вайнгартен весь перекосился. — Как это — другое? У него работа, работать не дают... Как это — другое? И потом, мне же его назвали!..

— Кто это меня назвал? — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности.

— Пи́сать хочу, — ясным голосом объявил мальчик.

Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табурета и сказал Захару:

— Пойдем.

Захар виновато улыбнулся, сказал: «Ну, пойдем...» — и они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассевшегося в унитазе Каляма.

— Кто это меня назвал? — сказал Малянов Вайнгартену. — Что еще за новости?

Вайнгартен, склонив голову, прислушался к тому, что происходит в сортире.

— Во Губарь влип! — произнес он с каким-то печальным удовлетворением. — Вот влип так влип!

Что-то вязко провернулось в мозгу у Малянова.

— Губарь?

— Ну да. Захар. Знаешь, сколько веревочке ни виться...

Малянов вспомнил.

— Он ракетчик?

— Кто? Захар? — Вайнгартен удивился. — Да нет, вряд ли... Хотя вообще-то он работает в каком-то ящике...

— Он не военный?

— Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной...

— Я про Губаря спрашиваю.

— Да нет. Он — мастеровой, золотые руки. Блох мастерит с электронным управлением... Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем заметь, отец, это истинная правда...

Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему:

— Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил... Ведь о вас Снеговой спрашивал...

И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально как бумага.

— Обо мне? — спросил Захар одними губами.

— Да вот... вчера вечером... — Малянов испугался. Такой реакции он все-таки не ожидал.

— Ты что, его знал? — спросил Вайнгартен Захара негромко.

Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крякнул, пробормотал: «Это дело надо того, отцы...» — и принялся разливать. И тут мальчик сказал:

— Подумаешь! Это еще ничего не значит.

Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли.

— Это просто случайность, — продолжал мальчик. — Вы телефонную книгу посмотрите, там этих Губарей штук восемь...»

11. «...Малянов знал с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный, всегда он что-то коллекционировал — то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставши биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приставал к окружающим, требуя показать мелочь, — искал какие-то особенные медяки. И вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями.

И при всем при том дело свое он знал. У себя в ИЗРАНе он давно уже был старшим, числился членом двадцати разнообразных комиссий, как

союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы а ля Грэм Грин. Или, скажем, Ле Карре. Но врал он, как это ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там, слава богу, не заладилось. Вообще насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой, тем более

что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться, ходить с ним в ресторан было сущим наказанием... Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений.

Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. («Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорнавирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет нобелевкой...») В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик — обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение: назначить товарища Вайнгартена

Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове.

От этого сообщения голова Вайнгартена В. А. пошла кругом, но он тем не менее сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена В. А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два. В то время как нобелевка, отцы, это нобелевка.

Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику.

Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе («Я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан...»), предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народнохозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой.

Ошеломленный всеми этими ни с того ни с

сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет кавторангом, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. («Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на всё...»)

А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на-гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в шестьдесят первом году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить: как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам кавторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом.

Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного; конечно, все это надлежало еще оформить — тоже, между прочим, работа немаленькая, — но сомнений больше уже не было: открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории («Отцы, выгнал всех в отпуск к чертовой матери!..»), он в двадцать четыре часа вывез кавторанга с девчонками на дачу, отменил все встречи и все свидания и только было засел дома для нанесения последнего, решающего удара, как наступил позавчерашний день.

Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый рыжий — маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской и, пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его, Вайнгартена В. А.,

научной деятельностью. Что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую тревогу. Что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену В. А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить.

Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем, объявил рыжий человечек. Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями чисто случайными. Мы пытались остановить вас. Однако, поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие из

слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент...

С этими словами рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии — набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может.

Вайнгартен, продолжал рыжий человечек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартена есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, рыжий человечек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену В. А. давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие «меры третьей степени».

— Пока он мне все это излагал, — говорил

Вайнгартен, страшно тараща глаза и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном: как этот гад проник в квартиру без ключа. Тем более что дверь у меня была на задвижке... Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю... Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... — Вайнгартен сделал эффектную паузу.

— Вылетел в окно... — сказал Малянов сквозь зубы.

— Вот тебе! — Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопристойный жест. — Никуда он не вылетал. Он просто исчез!

— Валька... — сказал Малянов.

— Я тебе говорю, старик, вот так он сидел передо мной на столе... я как раз примерялся въехать ему по сопатке, не вставая... и вдруг его нет! Как в кино, знаешь? — Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. — Моам? — сказал он. — Моам муам?.. — Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал: — Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как поросячий хвост... Думал, прямо тут

же и помру... Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки — не помогает. Смотрю — у нее бром стоит. Я брому хватил...

— Подожди, — сказал Малянов с раздражением. — Хватит трепаться. Ей-богу, мне сейчас не до трепа... Что было на самом деле? Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев!

— Отец, — сказал Вайнгартен, выкатывая глаза до последнего предела. — Отец, вот те крест, честное пионерское! — Он неумело перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом. — Мне самому было не до шуток...»

12. «...собирал марки, и довольно энергично. Остатки юношеской коллекции Вайнгартен когда-то отобрал у Малянова с довольным урчанием. Так что кое-что в марках он понимал. И на какое-то время лишился языка. Да, конечно, в королевской коллекции все это было. У господина Стулова в Нью-Йорке кое-что из этого было тоже. Но если, скажем, взять госколлекцию... не говоря уже о простых коллекционерах...

— Фальшивки, — сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. — Ну, тогда новоделы...

— Дурак ты, — сказал Вайнгартен коротко и

спрятал книжку.

Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову: если бы все это было враньем или даже *просто* правдой, а не *страшной* правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный трёп.

— Ну и что теперь делать? — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается.

Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно, с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шуточек, словно бы устало, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губарь не отвечал; как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете; как он перепугался, когда Малянов ушел открывать Лидочке и долго не брал трубку; как он не спал всю эту ночь, бродил по комнатам и думал, думал, думал, глотал бром и снова думал; как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел

Губарь со своими неприятностями...»

Глава шестая

13. «...узнал о Губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не кончил, ушел из девятого класса, работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в ИЗРАНе, где и познакомился с Валькой, а сейчас работает в ящике над каким-то гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством, электронику чувствовал душой, спинным мозгом и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно.

Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него два или три были в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего: что-то он там изобрел, связанное с «полезным использованием феддингов». Предполагает, но не уверен.

Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему как мухи. А

когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический, и по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стоиком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением и, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил двух возлюбленных одновременно, никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы, никогда, по-видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времен неудачной женитьбы все обстояло благополучно. До самого последнего времени.

Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появления какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем, отношение к болезням у него было европейское. Врач его успокоил, дал какие-то пилюли, сыпь прошла, но

началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками — все женщины, с которыми он когда-либо имел дело. Они толклись у него в квартире по двое, по трое, а в течение одного страшного дня их было даже пятеро одновременно. Причем он решительно не мог понять, чего они от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его, они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное, они дрались между собой как бешеные кошки, они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его, они были неутомимы и невероятно требовательны в любви. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужья тоже приходили к Губарю и тоже вели себя непонятно. (В этой части своего рассказа Губарь был особенно невнятен.)

Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад, он потерял шесть кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. (В первые дни он пытался

укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он тоже был достаточно невнятен.)

Этот кромешный ад длился без перерыва десять дней и вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявилась вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. Лет шесть назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. Простите, сказал он, нет ли у вас листочка бумаги и карандаша? Да, пожалуйста, ответила она, извлекая просимое из сумочки. Огромное вам спасибо, сказал он. А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут... Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались, казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу никаких претензий.

И вот теперь она явилась к нему, и привела этого мальчика, и сказала, что это его сын. Она уже три года была замужем за очень хорошим и,

мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить Губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у Губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула, она все время говорила что-то, и Губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи.

По ее словам (в интерпретации Губаря) получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический Союз Девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они двумя вещами: во-первых, они копят и осваивают все достижения всех без исключения наук на нашей планете, а во-вторых, следят за тем, чтобы те или

иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущи и практически всемогущи. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый Союз Девяти взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него — она не знает. Что Губарю теперь делать — она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал — она не знает. Она вообще больше ничего не знает. И не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться, пусть Губарь двадцать раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти.

Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и Губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до трех часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. (Мальчик по этому поводу выразился кратко: «Чего там, я ему

вогнал ума куда следует...») В три часа Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу.

— Я так ничего и не понял, — признался он в заключение. — Я вот Валю выслушал, вас выслушал, Митя... Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то... и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь такой жары, говорят, двести пятьдесят лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему... и мы, может быть...

— Ты подожди, Захар, — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. — Ты человек конкретный, ты лучше со своими гипотезами пока не лезь...

— Да что там гипотезы! — с тоской сказал Губарь. — Мне без всяких гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу...

Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе.

— И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?

— Откуда я знаю? — сказал Губарь уныло. — Должны же быть какие-то организации... В органы, например, надо заявить...

Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайн-

гартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былину о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова...

— Нет, ребята, — сказал он. — Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я как-никак последний, кто его видел живым... И вообще, мне ходить незачем — за мной, кажется, и сами придут.

Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяку, и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав ни вкуса никакого, ни запаха. Вайнгартен сказал со вздохом:

— Да, отцы. Советоваться нам не с кем. Тут того и гляди в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька. У тебя голова ясная. Давай излагай.

Малянов потер пальцами лоб.

— Голова у меня на самом деле как пробкой набита, — проговорил он. — Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю: тебе прямо сказали — сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь...

— Правильно! — прервал его Вайнгартен. —

Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос: кому? Имей наблюдение: ко мне приходил пришелец, — Вайнгартен стал загибать пальцы, — к Захару — агент Союза Девяти... Кстати, ты слыхал про Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится, где-то я об этом читал, но где... совершенно не помню. Так. К тебе вообще никто не приходит... То есть приходят, конечно, но, так сказать, в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?

— Ну? — сказал Малянов мрачно.

— Отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги...

— Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня — звезды в газопылевом облаке. У тебя — эта самая ревертаза. А у Захара и вовсе — техническая электроника. — Он вдруг вспомнил. — И Снеговой про это говорил... Знаешь, что он сказал? Где, сказал, имение, а где вода... Я только теперь понял, что он имел в виду. Это, значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал... Или, может быть, по-твоему, здесь три разные силы действуют? — ядовито спросил он.

— Нет, отец, ты подожди! — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись!

У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил — замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под рольмопса.

Все молчали. Потом Губарь сказал тихо:

— А я вот все о Снеговом... Это ведь надо же... Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить, а как он мог прекратить? Он же был человек военный... у него тема...

— Пи´сать хочу! — объявил странный мальчик и, когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом: — И какать!

— Нет, отец, ты не торопись... — снова вдруг заговорил Вайнгартен. — Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют... Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз Девяти... Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще сто человек голову себе ломают, как и мы... А по всей Земле — сто

тысяч. И, как мы, боятся признаться... Кто боится, кто стыдится... А кому-то, наоборот, это и по душе пришлось! Лакомые ведь кусочки подбрасывают-то...

— Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо.

— И тоже не случайно! Ты ведь болван, бессребреник... Ты даже сунуть на лапу кому следует и когда следует не умеешь... Для тебя ведь мир полон непреодолимых препятствий! В ресторане все столики заняты — препятствие. За билетами очередь — препятствие. Женщину твою кто-нибудь клеит...

— Ну ладно, хватит! Поехал проповеди читать...

— Не-ет! — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. — Ты это брось, старик. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая... но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение... может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение! Нет, отец, ты представь себе: существует на Земле раса — древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая — соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились. И

сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать — вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили — осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял?

Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу, хотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а Черный Страх. Беги отсюда. Спасайся. Брось все, скройся, заройся, затони... «Ну, ты! — прикрикнул он на себя. — Опомнись, идиот! Нельзя так — пропадешь...» И он сказал с усилием:

— Понял. Чушь собачья.

— Почему чушь?

— Потому что это сказочка... — Голос у него сделался хриплый, и он откашлялся. — Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в «Костер». Чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил... и водрузил над Землею что-нибудь славное...

— Так, — сказал Вайнгартен очень спокойно. — События с нами имели место?

— Ну, имели.

— События фантастические?

— Ну, предположим, фантастические.

— Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез?

— А я про это ничего не знаю, — сказал Малянов. — Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую неделю запоем пьете... У меня никаких фантастических событий не было. Я непьющий...

Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет! У этих гадов, может быть, весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы перед ними окажемся каждый сам по себе и они будут из нас веревки вить, как захотят!..

Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про Черный Страх как-то забыл. Ну ладно, говорил он. Ну, брось ты, что ты разоряешься, бормотал он, ну, сболтнул, ну, извини, каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом.

Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо к горлышку. Пузырящаяся вода текла по его щети-

нистым толстым щекам и мгновенно проступала по´том на лбу и на голых волосатых плечах.

— Я ведь, собственно, что имел в виду? — сказал Малянов примирительно. — Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления, знаешь? Так ведь до чего угодно договориться можно...

— Предложи что-нибудь другое, — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол.

— Не могу. Мог бы — предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами.

— Какими, например?

— Ну, я не знаю... Ну, тебя отравить тухлыми консервами... Захара... ну, я не знаю... ну, током долбануть в тысячу вольт... заразить чем-нибудь... Да и вообще зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие телепаты, ну внушили бы нам, что мы всё забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс: как мы сядем за работу, так у нас понос... или грипп — сопли текут, башка

трещит... Экзема... Мало ли что... Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил...

Вайнгартен только и ждал, когда Малянов кончит.

— Вот что, Митька, — сказал он. — Ты должен понять одну вещь...

Но Захар не дал ему договорить.

— Одну минуточку! — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. — Дайте мне, пока я вспомнил!.. Ну подожди, Валя, дай мне сказать! Это насчет головной боли... Митя, вы же сказали... Понимаете, лежал я в прошлом году в больнице...

Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью, и познакомился он в палате с неким Глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в предынфарктном состоянии, но это все неважно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще два месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его, Глухова, работа, для которой он материал набирал чуть ли не десять лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной

идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно: стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков...

— Причем он вполне мог о своей работе думать, — продолжал Захар, — читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог... впрочем, этого я не помню, врать не буду... Но вот писать — это было невозможно. Я вот сейчас, после ваших, Митя, слов...

— Адрес его знаешь? — отрывисто спросил Вайнгартен.

— Знаю.

— Телефон у него есть?

— Есть... Знаю...

— Давай вызывай его сюда. Это наш человек.

Малянов вскочил.

— Иди ты к черту! — сказал он. — Ты с ума сошел! Неудобно же! Может, у него просто болезнь такая...

— У всех у нас эта болезнь, — сказал Вайнгартен.

— Валька, он же востоковед! Он вообще из другой оперы!

— Из той же, отец. Уверяю тебя, из той же самой оперы!

— Да нет, не надо! — сопротивлялся Малянов. — Захар, сидите, не слушайте его... Насосался как зюзя...

Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя.

— Давайте лучше вот что сделаем, — убеждал Малянов. — Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы!

Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. Правильно, говорил он. Насчет Вечеровского — это идея. Вечеровский — башка! Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним...

Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним...»

Глава седьмая

14. «...сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему второпях по ошибке, вместо Брема. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанным Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу — задал несколько вопросов, показавшихся Малянову (да и не одному только Малянову) нелепыми. Например, он ни с того ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова — любит ли тот сидеть у телевизора. (Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер, и что Глухов у телевизора сидеть — да, любит, и даже не просто любит, а предпочитает.)

Малянову Глухов очень понравился. Вообще-то Малянов не любил новых людей в старых компаниях, ему всегда было страшно, что они начнут вести себя как-нибудь не так и за них

будет неловко. Но с Глуховым оказалось все в порядке. Был он какой-то удивительно уютный и невредный — маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками за сильными большими очками. По приходе он с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушивал каждого очень внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. Нет-нет, отвечал он, как бы извиняясь. Нет, ничего подобного со мной не было. Помилуйте, я даже представить себе такого не могу... Тема? Боюсь, очень далекая от вас: «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа»... Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия, я говорил с крупными медиками — случай, по их словам, редчайший... В общем, с Глуховым, по-видимому, получился пустой номер, но все равно, хорошо было, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего: с аппетитом выпил и хотел еще, с детским удовольствием ел икру, чай предпочитал цейлонский, а читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасливым недоумением, время

от времени неуверенно посмеиваясь, бредовые рассказы выслушал с огромным сочувствием, то и дело принимался чесать обеими руками у себя за ушами, бормоча: «Да, это поразительно... Невероятно!..» Словом, с Глуховым все было Малянову ясно. Ни новой информации от него, ни, тем более, советов ждать не приходилось.

Вайнгартен, как всегда в присутствии Вечеровского, несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть, не орал больше и никого не называл отцами и стариками. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он.

Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать — за него рассказал Вайнгартен. И странного своего сына он перестал увещевать вовсе и только болезненно улыбался, выслушивая назидательные цитаты о болезнях разных деликатных органов.

И вот они сидели и молчали. Прихлебывали остывший чай. Курили. Горело дрожащее золото окон в Доме быта, серпик молодой луны висел в темно-синем небе, с улицы доносилось отчетливое сухое потрескивание, — должно быть, опять

жгли старые ящики. Вайнгартен зашуршал сигаретной пачкой, заглянул в нее, смял и спросил вполголоса: «Сигареты у кого есть еще?» — «Вот, пожалуйста...» — торопливо и тоже вполголоса отозвался Захар. Глухов кашлянул и позвенел ложечкой в стакане.

Малянов посмотрел на Вечеровского. Тот сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и внимательно изучал ногти на правой руке. Малянов посмотрел на Вайнгартена. Вайнгартен раскуривал сигарету и поверх огонька смотрел на Вечеровского. И Захар смотрел на Вечеровского. И Глухов. Малянову вдруг стало смешно. Елки-палки, а чего мы, собственно, от него ждем? Ну, математик. Ну, крупный математик. Ну, допустим даже, очень крупный математик — мировая величина. Ну и что? Как дети, ей-богу. Заблудились в лесу и с надеждой моргают на дядю: уж он-то нас выведет.

— Вот, собственно, и все соображения, которые у нас имеются, — плавно произнес Вайнгартен. — Как видите, наметились по крайней мере две позиции... — Он говорил, обращаясь как бы ко всем, но смотрел при этом только на Вечеровского. — Митька считает, что следует все это пытаться объяснить в рамках известных нам явлений природы... Я же полагаю, что мы имеем

дело с вмешательством совершенно неизвестных нам сил. Так сказать, подобное — подобным, фантастическое — фантастическим...

Эта тирада прозвучала невероятно напыщенно. Ведь нет чтобы просто и честно сказать: дядя, голубчик, заблудились, выведи... Нет, ему, понимаете, резюме нужно, мы-де и сами не лыком шиты... Ну и сиди теперь как дурак. Малянов взял чайник и пошел от Валькиного срама на кухню. Он не слышал, о чем шла речь, пока наливал воду и ставил чайник на газ. Когда он вернулся, Вечеровский неторопливо говорил, внимательно разглядывая ногти теперь уже на левой руке:

— ...И поэтому я склоняюсь все-таки к вашей точке зрения, Валя. Действительно, фантастическое, по-видимому, надлежит объяснять фантастическим. Я полагаю, что все вы оказались в сфере внимания... м-м-м... назовем это сверхцивилизацией. По-моему, это уже устоявшийся термин для обозначения иного разума, на много порядков более могущественного, нежели человеческий...

Вайнгартен, глубоко затягиваясь и выпуская дым, мерно кивал с необычайно важным и сосредоточенным видом.

— Почему им понадобилось останавливать

именно ваши исследования, — продолжал Вечеровский, — вопрос не только сложный, но и праздный. Существо дела состоит в том, что человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть самодовлеющей системой. По-видимому, сами того не подозревая, мы наступили на мозоль некоей сверхцивилизации, и эта сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению...

— Да Фил, да подожди! — сказал Малянов. — Неужели даже ты не понимаешь? Какая, к черту, сверхцивилизация? Что это за сверхцивилизация, которая тычется в нас, как слепой котенок? Зачем вся эта бессмыслица? Этот мой следователь, да еще с коньяком... Бабы эти Захаровы... Где основной принцип разума: целесообразность, экономичность?..

— Это частности, Дима, — тихо сказал Вечеровский. — Зачем мерить внечеловеческую целесообразность человеческими мерками? И потом, представь себе: с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разом.

Вайнгартен вставил:

— Или, например: какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки?

— Ну, не знаю, — сказал Малянов. — Нелепо это все как-то.

Вечеровский подождал немного и, увидев, что Малянов заткнулся, продолжал:

— Я хотел бы подчеркнуть вот что. При такой постановке вопроса ваши личные неприятности и проблемы отходят на второй план. Речь теперь идет уже о судьбе человечества... — Он помедлил. — Ну, возможно, не о судьбе в роковом смысле этого слова, однако, во всяком случае, о его достоинстве. Так что перед нами стоит задача защитить не просто вашу, Валя, теорию реверта-зы, но судьбу всей нашей планетной биологии вообще... Или я ошибаюсь?

Впервые в присутствии Вечеровского Вайнгар-тен раздулся до своих нормальных размеров. Он самым энергичным образом кивнул, но сказал совсем не то, что ожидал Малянов. Он сказал:

— Да, несомненно. Мы все понимаем, что речь идет не о нас лично. Речь идет о сотнях исследований. Может быть, о тысячах... Да что я говорю — о перспективных направлениях вообще!

— Так! — энергично сказал Вечеровский. — Значит, предстоит драка. Их оружие — тайна;

следовательно, наше оружие — гласность. Что мы должны сделать в первую очередь? Известить о событиях своих знакомых, которые обладают, с одной стороны, достаточной фантазией, чтобы поверить нам, а с другой стороны — достаточным авторитетом, чтобы убедить своих коллег, занимающих командные высоты в науке. Таким образом, мы косвенно выходим на контакт с правительством, получаем доступ к средствам массовой информации и можем авторитетно информировать все человечество. Первое ваше движение было совершенно правильным — вы обратились ко мне. Лично я беру на себя попытку убедить нескольких крупных математиков, являющихся одновременно крупными администраторами. Сначала, естественно, я свяжусь с нашими, а потом и с зарубежными...

Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности, он очень четко определил, к кому должен обратиться Малянов, к кому — Вайнгартен. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий. Но чем больше он говорил, тем большее уныние охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем

уже неприличным пылом перешел ко второй части своей программы, к апофеозу, в котором объединенное всеобщей тревогой человечество в едином строю сплоченными мощностями всей планеты дает отпор сверхцивилизованному супостату, — вот тут Малянов почувствовал, что с него хватит, поднялся, пошел на кухню и заварил новый чай. Вот тебе и Вечеровский. Вот тебе и башка. Видимо, тоже здорово перепугался, бедняга. Да, брат, это тебе не про телепатию спорить. А вообще-то мы сами виноваты: Вечеровский то, Вечеровский се, Вечеровский башка... А Вечеровский — просто человек. Умный человек, конечно, крупный человек, но не более того. Пока речь идет об абстракциях — он силен, а вот как жизнь-матушка подопрет... Обидно только, что он почему-то сразу принял сторону Вальки, а меня даже толком выслушать не пожелал... Малянов взял чайники и вернулся в комнату.

А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского. Потому что, знаете ли, пиетет пиететом, а когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет ему не поможет.

...Уж не воображает ли Вечеровский, что имеет дело с полными идиотами? Может быть, у него, Вечеровского, и есть в запасе пара авторитетных

и в то же время полоумных академиков, которые после полубанки способны встретить такую вот информацию с энтузиазмом. Лично у него, Вайнгартена, подобных академиков нет. У него, Вайнгартена, есть старый друг Митька Малянов, от которого он, Вайнгартен, мог бы ожидать определенного сочувствия, тем более что сам Малянов ходит в пострадавших. И что же — встретил он его, Вайнгартена, рассказ с энтузиазмом? С интересом? С сочувствием, может быть? Черта с два! Первое же, что он сказал, — это что Вайнгартен врет. И между прочим, он, Малянов, по-своему прав. Ему, Вайнгартену, даже страшно подумать — обращаться с таким рассказом к своему шефу, скажем, хотя шеф, между прочим, человек еще вовсе не старый, отнюдь не закоснелый и сам склонен к некоему благородному сумасшествию в науке. Неизвестно, как там обстоят дела у Вечеровского, но он, Вайнгартен, совершенно не имеет целью провести остаток дней своих даже в самой роскошной психолечебнице...

— Санитары приедут и заберут! — сказал тут Захар жалобно. — Это ж ясно. И вам-то еще ничего, а мне ведь сексуального маньяка вдобавок приклеят...

— Подожди, Захар! — сказал Вайнгартен с

раздражением. — Нет, Фил, честное слово, я вас просто не узнаю! Ну, предположим даже, что разговоры о клиниках — это некоторое преувеличение. Но ведь мы тут же кончимся как ученые, немедленно! Рожки да ножки останутся от нашего реноме! А потом, черт побери, если предположить даже, что нам удалось бы найти одного-двух сочувствующих из академии, — ну как они пойдут с этим бредом в правительство? Кто на это рискнет? Это же черт знает как человека должно прожечь, чтобы он на это рискнул! А уж человечество наше, наши дорогие сопланетники... — Вайнгартен махнул рукой и глянул на Малянова своими маслинами. — Налей-ка погорячее, — сказал он. — Гласность... Гласность — это, знаете ли, палка о двух концах... — И он принялся шумно пить чай, то и дело проводя волосатой рукой по потному носу.

— Ну, кому еще налить? — спросил Малянов.

На Вечеровского он старался не смотреть. Налил Захару, налил Глухову. Налил себе. Сел. Ужасно было жалко Вечеровского и ужасно неловко за него. Правильно Валька сказал: реноме ученого — это вещь очень нежная. Одна неудачная речь — и где оно, твое реноме, Филипп Павлович?

Вечеровский скорчился в кресле, опустив ли-

цо в ладони. Это было невыносимо. Малянов сказал:

— Понимаешь, Фил, все твои предложения... эта твоя программа действий... теоретически это все, наверное, правильно. Но нам-то сейчас не теория нужна. Нам сейчас нужна такая программа, которую можно реализовать в конкретных реальных условиях. Ты вот говоришь: «объединенное человечество». Понимаешь, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше — не земное, я имею в виду. Наше ведь ни во что такое не поверит. Оно ведь знаешь когда в сверхцивилизацию поверит? Когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим, вот тут мы объединимся, да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем.

— В точности так! — сказал Вайнгартен неприятным голосом и коротко хохотнул.

Все помолчали.

— А у меня и вовсе шеф — женщина, — сказал Захар. — Очень милая, умная, но как я ей буду все это рассказывать? Про себя...

И опять все надолго замолчали, прихлебывая

чай. Потом Глухов проговорил негромко:

— Чаек какой — просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич. Давно такого не пил... Да-да-да... Конечно, все это трудно, неясно... А с другой стороны — небо, месяц, смотрите, какой... чаек, сигаретка... Что еще, на самом деле, человеку надо? По телевизору — многосерийный детектив, очень недурной... Не знаю, не знаю... Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет междузвездного газа... А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам — не подглядывай... Пей чаек, смотри телевизор... Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь — оно чтобы любоваться.

И тут Захаров мальчик вдруг звонко и торжествующе объявил:

— Ты хитрец!

Малянов подумал было, что это он про Глухова. Оказалось — нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. «Тише, тише...» — с беспомощным укором пробормотал Губарь, а Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу — развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее

лицо его усмехалось.

— Итак, — сказал он, — я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в точно такой же тупик заводят нас гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана, и вообще любой *разумно* действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы вы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов.

Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал: вот стервец, это же надо, как он всех нас купил! Зачем? Что за спектакль?.. Вайнгартен глядел прямо перед собой, глаза его постепенно выкатывались; толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал: видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него.

Потом Вечеровский заговорил снова:

— Обратите внимание. Для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения — хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего.

Абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла... я бы сказал — *тем более* не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу бога... или... или иные. Вывод?

Вайнгартен судорожно вытер лицо полой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой:

— Ты что же это, нарочно нас разыграл?

— А что мне оставалось делать? — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. — Самому вам доказывать, что ходить по начальству бессмысленно? Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите? «Союз Девяти или тау-китяне...» Да какая вам разница? О чем здесь спорить? Какой бы вы ответ ни дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением — вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше...

— Ты хочешь сказать... — начал Малянов.

— Я хочу сказать, — проговорил Вечеровский

жестко, — что ничего *интересного* с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться, нечего здесь исследовать, нечего здесь анализировать. Все ваши поиски причин есть просто праздное любопытство. Не о том вам надо думать, каким именно прессом вас давят, а о том, как вести себя под давлением. А думать об этом — гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас — *один*. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни правительство, ни даже все прогрессивное человечество... Ну об этом Валя достаточно хорошо говорил.

Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло — невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно небрежный, как на дипломатическом приеме. Он и чашку-то держал — словно какой-нибудь там занюханный пэр на файф-о-клоке у королевы...

Мальчик процитировал на весь дом:

— «Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через пять-шесть лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни — последним...»

Захар вдруг сказал с тоской:

— Ну почему? Ну почему именно со мной, с нами?..

Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечко, а блюдечко на стол рядом с собой.

— Потому что век наш весь в черном, — объяснил он, промакивая серовато-розовые, как у лошади, губы белоснежным платочком. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем...

— Тьфу на тебя, — сказал Малянов, а Вечеровский разразился довольным, сытым марсианским уханьем.

Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, отрешенно скосив глаза на огонек.

— Действительно... — произнес он. — Не все ли равно, какая именно сила... если она заведомо превышает человеческую... — Он закурил. — Тля, на которую упал кирпич, или тля, на которую упал двугривенный... Только я не тля. Я могу выбирать.

Захар смотрел на него с надеждой, но Вайнгартен замолчал. Выбирать, подумал Малянов. Легко сказать — выбирать...

— Легко сказать — выбирать! — начал было Захар, но тут заговорил Глухов, и Захар с надеждой уставился на него.

— Да ясно же! — сказал Глухов с необычайной проникновенностью. — Неужели не ясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать! Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же... Да пусть они ими подавятся, телескопами вашими! Диффузными газами!.. Жить надо, любить надо, природу ощущать надо — ощущать, а не ковыряться в ней! Когда я сейчас смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю — это мой друг, мы существуем друг для друга, мы друг другу нужны...

— Сейчас? — громко спросил Вечеровский.

Глухов запнулся.

— Простите, — пробормотал он.

— А ведь мы с вами знакомы, Владлен Семенович, — сказал Вечеровский. — Помните? Эстония, школа матлингвистики... финская баня, пиво...

— Да-да, — сказал Глухов, опустив глаза. — Да.

— Вы были тогда совсем другим, — сказал Вечеровский.

— Ну, так когда это было... — сказал Глухов.

— Бароны, знаете ли, стареют...

— Бароны также и воюют, — сказал Вечеровский. — Не так уж давно это было.

Глухов молча развел руками.

Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было, что-то неприятное, неспроста они все это друг другу говорили. А Захар, видимо, понял, понял как-то по-своему, какую-то обиду для себя он почувствовал в этом небольшом разговоре, какое-то оскорбление, что ли, потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой почти выкрикнул, обращаясь к Вечеровскому:

— Снегового-то они убили! Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать, вас-то они за горло не взяли, вам хорошо!..

Вечеровский кивнул.

— Да, — сказал он. — Мне хорошо. Мне хорошо, и вот Владлену Семеновичу тоже хорошо. Правда, Владлен Семенович?

Маленький уютный человек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова молча развел руками. Потом он встал и, ни на кого не глядя, проговорил:

— Прошу прощения, друзья мои, но мне пора

идти. Уже поздно...»

Глава восьмая

15. «...Может быть, хочешь переночевать у меня? — спросил Вечеровский.

Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в большую комнату, некоторое время двигался там, затем вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол.

Вообще-то после всех сегодняшних событий и разговоров оставаться одному Малянову было как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают, подумал он. А я терпеть не могу ночевать в чужих домах, даже у друзей. Даже у Вечеровского. Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней — волшебный напиток «а ля Вечеровский». Но если подумать, не на ночь же его пить... Кофе можно выпить утром.

Он домыл последнее блюдце, поставил его в

сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом; молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок: книги лежали аккуратной стопкой, недельной пыли и следа не осталось, все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск — только что не пропылесосил, — но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что было уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Иркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгартена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит, муж пьяница. А если у мужа?..

Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажнике одно за другим гаснут окна. Появился Калям, тихонько мявкнул, вскочил Вечеровскому

на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном.

— Он линяет, — предупредил Малянов.

— Неважно, — отозвался Вечеровский тихонько.

Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного Глухова, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, — теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некоей эксцентрической повестью, и если это даже действительно произошло, то давно, и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу: получил он в конце концов свои пятнадцать лет или все...»

16. «...вспомнил Снегового, и пистолет в пижаме, и печать на двери.

— Слушай, — сказал я. — Неужели они Снегового убили?

— Кто? — не сразу отозвался Вечеровский.

— Н-ну... — начал я и замолчал.

— Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. — Не выдержал.

— Чего не выдержал?

— Давления. Сделал свой выбор.

Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри, забрался в кресло с ногами и обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном-царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной. Вечеровскому хорошо...

— Слушай, — сказал я сквозь зубы. — Что там у тебя с Глуховым? Странно вы с ним как-то говорили.

— Он меня разозлил, — отозвался Вечеровский.

— Чем?

Вечеровский помолчал.

— Не смеет оставаться один, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я, подумав.

— Меня злит не то, как он сделал свой выбор, — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. — Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается, он еще

пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных, ему хочется, чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит...

Я слушал его, раскрыв рот, а когда он замолчал, спросил осторожно:

— Ты хочешь сказать, что Глухов тоже... под давлением?

— Он *был* под давлением. Теперь он просто раздавлен.

— Подожди, подожди... Позволь!

Он медленно повернул ко мне лицо.

— А ты не понял? — спросил он.

— Откуда? Он же говорил... Я же своими ушами слышал... Да просто видно, наконец, простым глазом, что человек ни сном ни духом... Это же очевидно!

Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот.

— Значит, ты не понял, — произнес Вечеровский, разглядывая меня с любопытством. — Гм... А вот Захар понял. — Он впервые за вечер достал трубку и кисет и принялся неторопливо набивать трубку. — Странно, что ты не понял... Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах. А между тем

посуди сам: человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора, сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма... и вдруг он срывается с насиженного места, мчится к совершенно незнакомым людям — для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли? — Он чиркнул спичкой и принялся раскуривать трубку. Желто-красный огонек заплясал в его сосредоточенно скошенных глазах. Потянуло медвяным дымком. — А потом — я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу... Он очень сильно переменился. Это ведь был этакий живчик — энергичный, крикливый, ядовитый... никакого руссоизма, никаких рюмочек. Сначала я его просто пожалел, но когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило.

Он замолк и занялся исключительно своей трубкой.

Я снова изо всех сил сжался в комок. Вот, значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот. Вырожденная материя... Вырожденный дух. Что же они с ним делали? Не выдержал... Елки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит...

— Значит, ты и Снегового осуждаешь? — спро-

сил я.

— Я никого не осуждаю, — возразил Вечеровский.

— Н-ну... Ты же бесишься вот... по поводу Глухова...

— Ты меня не понял, — с легким нетерпением сказал Вечеровский. — Меня бесит вовсе не выбор Глухова. Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды... Меня раздражает поведение Глухова *после* выбора. Повторяю: он стыдится своего выбора и поэтому — только поэтому! — старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того неодолимую силу. Понимаешь меня?

— Умом — понимаю, — сказал я.

Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять, а поняв — простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия, но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды... Без помощи и без надежды... Почему я? За что? Что я им сделал?.. Надо было поддерживать разговор, и я сказал, стискивая зубы после каждого слова:

— В конце концов, существуют такие давления,

которых никакому человеку не выдержать...

Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума, у меня были свои заботы и свои неприятности, но пока я соблюдал законы, установленные социумом, — а это вовсе не так уж трудно, это уже успело войти в привычку, — пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец, и вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели, а вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо — достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто... И мне дано понять, что, пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее: меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада, и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит все дальше и дальше... Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из Космоса,

из недр океана, из четвертого измерения — насколько мне было бы легче! Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах! А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит, а когда я погибну, когда меня сотрут в порошок, все очень удивятся и пожмут плечами. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава богу, что хоть ее это не касается... Бред! Бред! Чушь собачья! Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузной материей?!

— По-видимому, да, — сказал Вечеровский.

Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах.

— Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла! — сказал я с отчаянием.

— С человеческой точки зрения — никакого, — сказал Вечеровский. — Но люди ведь как раз ничего не имеют против твоих занятий.

— А кто имеет?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — произнес Вечеровский, и это было так непохоже на него, что я расхохотался. Нервно. Истерически. И услышал в ответ довольное марсианское уханье.

— Слушай, — сказал я. — Ну их всех к черту. Давай чаю попьем!

Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое, и я торопливо добавил:

— Давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего их, думаю, скармливать Вайнгартену... Давай!

— С удовольствием, — сказал Вечеровский и с готовностью встал.

— Знаешь, вот так думаешь, думаешь, — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. — Вот так думаешь, думаешь, в глазах же черно становится. Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки и загубили Снегового, я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире один как перст, все лампы зажег, но что с этого толку? Эту черноту лампами не высветишь. Думал он вот так, думал, а потом щелкнуло что-то в голове — и конец... Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно: такая мощь, такие энергии — и все это, чтобы воспретить человеку разобраться, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли... Нет, правда, ты в это вдумайся, Фил! Смешно ведь, верно?

Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением.

— Ты знаешь, Дима, — произнес он, — вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил.

— Нет, правда... Как представишь себе... Вот собираются они там и начинают считать: на исследование кольчатых червей мы бросим сто мегаватт, на проталкивание такого-то проекта — семьдесят пять гигаватт, а на запрещение Малянова хватит и десятки. А кто-нибудь там возражает: десятки-де мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить — раз. Коньяку ему с бабой подсунуть — два... — Я сел и стиснул руки между коленями. — Нет, как хочешь, — это смешно.

— Да, — согласился Вечеровский. — Это довольно смешно... Не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался.

— Какие пузыри! — сказал я. — Не было никаких пузырей. И не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник, ничего не видел, ничего не слышал, маруха Нинка подтвердит, не было меня там... И вообще у меня плановая тема — ИК-спектрометр, а все остальное — интеллигентская

вылазка, Галилеев комплекс...

Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготовляясь закипеть, начал делать «пф-пф-пф».

— Ну, ладно, — сказал я. — Убогое воображение. Пожалуйста. Но согласись: если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врали... блюдечки дурацкие выдумывали, баальбекские веранды, а они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали... Я, между прочим, всегда был уверен, что, когда они наконец объявятся, они будут совершенно непохожи на все то, что про них навыдумывали...

— Кто это — они? — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку.

— Пришельцы, — сказал я. — Или, выражаясь по науке, сверхцивилизация.

— А-а, — сказал Вечеровский. — Понимаю. Действительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с аберрациями поведения.

— Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. — У меня вообра-

жение убогое, а у тебя его, видно, и вовсе нет.

— Пожалуй, — согласился Вечеровский. — Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. Флогистон, например, он же теплород... или, скажем, всемирный эфир... Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста... и не жалей заварки.

— Сам знаю, — огрызнулся я. — Так что ты там насчет флогистона?

— Я никогда не верил во флогистон. И я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно — животное. Не от разума. От неразумия.

— Позволь! — сказал я, стоя с заварочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой. — Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией...

— Отнюдь, — сказал Вечеровский невозмутимо, — точнее — отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный...

В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника.

— Ч-черт... — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь.

— Иди, иди, — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. — Я заварю.

Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен? Сидит там один... Я взял трубку.

— Да?

Голос пьяного Вайнгартена сказал:

— Ну конечно, не спит... Привет, жертва сверхразума! Как ты там?

— О'кэй, — сказал я с огромным облегчением. — А ты?

— У нас тут полный порядок... — сообщил Вайнгартен. — З-заехали в «Авс...»... «Австорию»... В «Аустерию», понял?.. Взяли полбанки — показалось мало. Тогда взяли еще полбанки... Понесли эти две полбанки... иначе говоря, одну целую банку... и вот теперь прекрасно себя чувствуем. Приезжай!

— Да нет, — сказал я. — Мы тут с Вечеровским. Чай пьем.

— Кто чай пьет — тот отчается, — объявил Вайнгартен и захохотал. — Ну, ладно. Если что — звони...

— Я не понимаю, ты один или с Захаром?

— Мы втроем, — сказал Вайнгартен. — Очень мило... Значит, если что — приезжай. Эж... эж-дем... — И он положил трубку.

Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай.

— Вайнгартен? — спросил он.

— Да. Все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо.

— Что он тебе сказал? — осведомился Вечеровский.

— Он сказал: кто пьет чай, тот отчается.

Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена анфан терибль — большим, потным, шумным анфан терибль.

— Подожди, — сказал я. — А где же конфеты? А!

Я залез в холодильник и вытащил роскошную коробку «Пиковой дамы».

— Видал?

— О! — сказал Вечеровский с уважением.

Мы почали коробку.

— Привет от сверхцивилизации, — сказал я. — Да! Так что ты там говорил? Совсем меня с толку сбил... Да! Ты что же, даже после всего утверждаешь...

— Умгу... — сказал Вечеровский. — Утверждаю. Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует. А теперь, после всего, как ты выразился, — я догадываюсь, *почему* не существует.

— Подожди, подожди... — Я поставил чашку. — Почему и так далее — это все теория, а ты мне вот что скажи... Если это не сверхцивилизация... если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто? — Я разозлился. — Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь, парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу... Что ты нам голову морочишь?

Нет, даже невооруженным глазом видно было, что Вечеровский не развлекается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомленное, и проступило на нем какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение... или, может быть, упрямство — жесткое яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож. У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с

этакой сонной аристократической тухлецой, а тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не поэтому он приглашал меня переночевать у него, а давеча — посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной жалости, только на каких-то смутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо.

И тут я вспомнил ни с того ни с сего, что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали...»

17. «...неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал вообще только прошлой осенью, а ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, ничегошеньки не подозревал...

И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал, хотя и знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от этого никакого не будет.

— Фил, — сказал я, — а ты что, тоже под давлением?

Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого внимания. Просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, рыжие веки наползли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой.

— Я вовсе не морочу вам голову, — сказал он. — Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто — современная мифология, и не более того.

У меня мурашки поползли по коже. Еще сложнее? Еще, значит, хуже? Куда же больше?..

— Ты ведь астроном, — продолжал он укоризненно. — Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии...

— Ну, знаю, — сказал я. — Всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью...

— И так далее, — прервал он меня. — Мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности, но мы этих следов не наблюдаем. Почему? Потому что сверхцивилизаций не бывает. Потому что превращение цивилизаций в сверхцивилизацию почему-то не происходит.

— Ну да, — сказал я. — Разум губит себя в ядер-

ных войнах. Чушь все это.

— Конечно, чушь, — спокойно согласился он. — Тоже слишком просто, слишком примитивно, в сфере привычных представлений...

— Подожди, — сказал я. — Что ты затвердил как попугай: примитивно, примитивно... Конечно, ядерная война — это примитивно. На самом деле все, наверное, совсем не так просто... Генетические болезни... какая-нибудь усталость от бытия... целевая переориентация... Об этом же целая литература существует. Я, например, считаю, что проявления сверхцивилизаций носят космический характер, мы просто не умеем отличить их от природных космических явлений. Или, пожалуйста, наш случай — чем не проявление?

— Человеческое, слишком человеческое, — проговорил Вечеровский. — Они обнаружили, что земляне на пороге Космоса, и, опасаясь соперничества, решили это прекратить. Так?

— Почему бы и нет?

— Да потому, что это — роман. Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках. Это все попытки натянуть фрачную пару на осьминога. Причем даже не просто на осьминога, а на осьминога, которого на самом деле не существует...

Вечеровский отодвинул чашку, поставил ло-

коть на стол и, подперши подбородок кулаком, задрав рыжие брови, стал глядеть куда-то поверх моей головы.

— Смотри, как у нас забавно получается, — сказал он. — Казалось бы, два часа назад обо всем договорились: неважно, какая сила на вас действует, важно — как вести себя под давлением. Но вот я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь, ты упорно снова и снова возвращаешься к попыткам идентифицировать эту силу. И при этом упорно возвращаешься к гипотезе сверхцивилизации. Ты даже готов забыть и уже забыл собственные свои маленькие возражения против этой гипотезы. И я в общем понимаю, почему это с тобой происходит. Где-то в подсознании у тебя сидит идейка, что любая сверхцивилизация — это все-таки цивилизация, а две цивилизации всегда сумеют между собой как-то договориться, найти некий компромисс, накормить волков и сохранить овец... И уж в самом худшем случае — сладко покориться этой враждебной, но импозантной силе, благородно отступить перед противником, достойным победы, а там — чем черт не шутит! — может быть, и получить награду за свою разумную покорность... Не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза. Я ведь говорю: это у

тебя в подсознании. И разве только у тебя? Это же очень, очень человеческое. От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без какого-нибудь мифа-костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется научиться. Потому что у вас, в вашем положении, не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, *что у вас и врага нет*! Вот чего вы никак не хотите понять.

Вечеровский замолчал. Я пытался переварить эту неожиданную речь, пытался найти аргументы, чтобы возражать, оспаривать, с пеной у рта доказывать... что? Не знаю. Он был прав: уступить достойному противнику — это не позор. То есть это не он так думает. Это я так думаю. То есть не думаю, а только сейчас подумал — после того, как он об этом сказал. Но ведь у меня и на самом деле было ощущение, что я — генерал разбитой армии и брожу под градом ядер в поисках генерала-победителя, чтобы отдать ему шпагу. И при этом меня не столько угнетает само поражение, сколько то проклятое обстоятельство, что я никак не могу найти этого супостата.

— Как же так — нет врага? — сказал я наконец. — Кому-то ведь это понадобилось!

— А кому понадобилось, — с этакой ленцой произнес Вечеровский, — чтобы вблизи поверх-

ности Земли камень падал с ускорением в девять и восемьдесят один?

— Не понимаю, — сказал я.

— Но ведь он падает именно так?

— Да...

— И сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши? Чтобы объяснить этот факт...

— Подожди... При чем здесь...

— Кому же все-таки понадобилось, чтобы камень падал именно с таким ускорением? Кому?

Я налил себе чаю. В общем-то, мне как будто оставалось сложить два и два, но я все равно ничего не понимал.

— Ты хочешь сказать, что мы имеем дело с каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы?

— Если угодно, — сказал Вечеровский.

— Ну, знаешь ли, голубчик!.. — Я развел руками, задел стакан и залил весь стол. — Ч-черт...

Пока я вытирал стол, Вечеровский по-прежнему лениво продолжал:

— А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов, попробуй все-таки поставить в центр не Землю, а Солнце. Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится.

Я бросил мокрую тряпку в мойку.

— То есть у тебя есть своя гипотеза, — сказал я.

— Да, есть.

— Изложи. Кстати, почему ты не изложил ее сразу? Когда здесь был Вайнгартен.

Вечеровский подвигал бровями.

— Видишь ли... Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу споров. А мне вовсе не хотелось спорить. Мне хотелось только убедить вас, что вы поставлены перед неким выбором и выбор этот должны сделать в одиночку, сами. По-видимому, мне это не удалось. А между тем моя гипотеза, пожалуй, могла бы оказаться дополнительным аргументом, потому что суть ее... точнее, единственный практический вывод из нее состоит как раз в том, что у вас сейчас нет не только друзей, но даже и противника. Так что, может быть, я и ошибся. Может быть, мне следовало пойти на утомительную дискуссию, но зато тогда вы яснее бы представляли себе свое истинное положение. А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом...

Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу, но не могу сказать, что я осознал ее до конца. Не могу сказать, что его гипотеза убедила меня, но, с другой стороны, все происходившее с нами в нее укладывалось. Более того, в нее укладывалось

вообще все, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной, и в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы. Было в ней что-то от утверждения, что веревка есть вервие простое.

Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания (он употреблял именно это архаическое и поэтическое слово). «Мироздание сохраняет свою структуру» — это была его основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи вообще были частными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоречит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Дополнительным по отношению к этому закону является закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий закон сохранения структуры.

Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура ми-

роздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим — вопреки принципу гомеостатичности, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается.

Не спрашивай меня, говорил Вечеровский, почему именно Малянов и Глухов оказались первыми ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших гомеостазис в том уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои сакраментальные исследования. Вообще не спрашивай меня о механизмах действия Гомео-

статического Мироздания — я об этом ничего не знаю, так же как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии. Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется. Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию...

Вот так примерно — не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть, и вовсе неправильно, — я его понял. Я даже спорить с ним не стал. И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи! Малянов Д. А. версус Гомеостатическое Мироздание! Это даже не тля под кирпичом. Это даже не вирус в центре Солнца...

— Слушай, — сказал я. — Если это все так, како-

го черта тут вообще разговаривать? Да провались они, мои М-полости... Выбор! Да какой тут может быть выбор?

Вечеровский медленным движением снял очки и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа. Он очень долго, изнурительно долго молчал. А я ждал. Потому что шестым чувством понимал: не может Вечеровский бросить меня вот так, на съедение своему гомеостазису, никогда бы этого не сделал, никогда бы мне всего этого не рассказал, если бы не существовал какой-то выход, какой-то вариант, какой-то все-таки, черт возьми, выбор. И вот он кончил сандалить свой нос, снова надел очки и тихонько произнес:

— Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы...

— Ну? — сказал я.

— Повторить? — спросил Вечеровский.

— Ну, повтори.

Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ.

— Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. — Давно бы уже пьяный под столом валялся...

— Я все-таки предпочитаю кофе, — сказал Вечеровский.

И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал белый, а может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил:

— Спокойно, Дима, спокойно... Я с тобой.

Я едва слышал его.

Там, в прихожей, открылась вторая дверь, зашуршала одежда, послышались быстрые шаги, отчаянно завопил Калям, и — я все еще сидел как деревянный — запыхавшийся Иркин голос произнес: «Калямушка...» И сразу же:

— Димка!

Не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался (Ирка, Ирка!), вдохнул запах знакомых духов. У нее были мокрые щеки, и она тоже бормотала что-то странное: «Ты живой, господи... Что я только не думала! Димка!» Потом мы опомнились. Во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный деревенящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился,

вгляделся в заплаканное лицо (оно было даже не подмазано) и спросил:

— Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?

По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла:

— Я же чуть с ума не сошла... Я думала, что уже и не успею... Что же это такое...

Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню, я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник. На ней лица не было. Она так осунулась, что я с трудом ее узнавал. Глаза были красные, волосы растрепаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке.

— С Бобкой что-нибудь? — проговорил я, еле ворочая языком.

— С Бобкой? — повторила она бессмысленно. — При чем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла... Что здесь произошло? — закричала она вдруг. — Ты болел? — Глаза ее снова обежали меня. — Ты же здоров как бык!

Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня

отвисла, и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил:

— Ты получила что-нибудь дурное про Диму?

Ирка перестала обследовать меня глазами и поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копаясь в сумочке.

— Вы посмотрите... посмотрите, что я получила... — Гребенка, патрон с помадой, какие-то листики и коробочки, деньги сыпались на пол. — Господи, где же это... Да! — Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника — не сразу попала — и выхватила смятую телеграмму. — Вот!

Я схватил телеграмму. Пробежал. Ничего не понял. «...УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ...» Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния — вслух:

— «ДИМОЙ ПЛОХО ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ». Как — Снеговой? — сказал я. — Почему Снеговой?

Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму.

— Отправлено сегодня утром, — сказал он. — Все заверки, насколько я понимаю, в порядке...

— Когда отправлена? — спросил я громко, как глухой.

— Сегодня утром. В девять часов двадцать две минуты.

— Господи! Да что же он — подшутил надо мной так? — сказала...»

Глава девятая

18. «...чем у меня. Билет на аэровокзале она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой, к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть — и самолетов в порту не было, а когда они появлялись, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь, и только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче. Из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра же с утра отправится на почту, призовет на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы этого так не оставим, за такие штучки нужно морду бить, и даже не морду бить, а просто са-

жать, и, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает, что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно и что, скорее всего, эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно.

Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро. На улице было совсем светло, и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил Каляма, растянувшегося между нами, и слушал тихое ровное дыхание Ирки. Она всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере, до сих пор не было...

Тошное маетное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял наконец телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе, лежал огромный бесформенный холодный ком. Иногда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь.

Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полу-

слове и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче: я был не один, более того — со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась, и я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал: до чего же это я докатился, до чего они меня укатали, что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию, радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем. Не-ет, завтра же, завтра же за билетом! И — обратно ее в Одессу... через головы всех очередей, всех раскидаю, зубами прогрызу дорогу к кассе...

Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать — до нее добрались тоже... Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи слеподырые, лупят по площадям, на кого бог пошлет... Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Да нет, ничего с нею не случится. Это они просто меня запугивают. Нервы мои бедные на катушку наматывают — не одним способом, так другим. Не мытьем, так катаньем...

Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой — как он идет в огромной полосатой пижаме по Московскому, грузный, холодный, с запекшейся дырой в большом черепе; как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку: в правой руке у него пистолет, в левой — телеграмма; и никто вокруг ничего не замечает, приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит: «Следующий».

Я потряс головой; чтобы отогнать видение, тихонько слез с тахты и, как был, в одних трусах прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло, на дворе вовсю гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятую пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши за стол, закурил. Давно я не курил. Года два, наверное, а может быть, и три... Всё силу воли доказывал. Да, брат Малянов. Теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Ч-черт, актер ведь я никудышный и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать. Ни к чему ей все это. Это я должен пережить сам, сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет, ни Ирка, никто.

А при чем тут, собственно, помощь? — подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно было избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости, она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она не теоретик и все время жалуется на свою дурость... А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска...

Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: подумаешь, чепуха какая, — и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится даже как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют, как в бубен, но я хоть понимаю — за что, догадываюсь — кто... и вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему,

все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается — не рассказать ей. И вообще. Мне надо выбор делать. (Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а уже выбрал...) И вот если выбирать... Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно — начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое... Интересно, понравился бы Ирке Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий... Телевизор можно было бы наконец купить на радость Бобке, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино... В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться — тоже не сахар... А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? То-то и оно, что не знаю. Между

прочим, она этого, может быть, тоже не знает...

Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медяка, а паспорт — вот он. Я взял черно-зеленую книжицу и рассеянно заглянул на первую страницу. Сам не знаю — зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна. Год рождения — 1939... Что такое? Фотография была Иркина... Нет, не Иркина. Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна.

Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые — то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Это ведьма была там, под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась, распахнула свои глазищи и невнятно проговорила: «Димкин, ты чего? Болит что-нибудь?..» Господи, Ирка! Конечно, Ирка. Что за бред? «Я храпела, да?» — спросила Ирка сонным голосом и заснула снова.

Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул от себя подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил. Да. Вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь. Отныне.

Ледяное животное внутри поворочалось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения — 1933. Ч-черт... Ну, хорошо, а это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно. И паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами — все ведь это не случайно... Или случайно? Слеподыры же, матушка-природа, стихия безмозглая... Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского. Потому что если это на самом деле Гомеостатическое Мироздание сокрушает микрокрамолу, то это так и должно выглядеть... Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, — страшные свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки; задрав хвост, удирает под диван кошка, которой наступили на лапу... Массированность

и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским Ручьем дом обрушился — целились в меня, а попали в дом, а мне и невдомек, на мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об М-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке...

Слушай, я, наверное, так не смогу жить. Трусом я себя никогда не считал, но так вот жить, чтобы ни минуты покоя не было, чтобы от собственной жены шарахаться, принявши ее за ведьму... А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь... Семья, может быть, тоже другая... С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы. Глухие... Глухов... И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий Малянов.

То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете, наверное, можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет немаленькая утрата, если подумать! Ведь я десять лет шел к этому. Даже не десять лет — всю

жизнь. С детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям... М-полости мои — я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше, в следующий век... Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю, если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет — большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация...

Но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет — просто растопчут... Мать моя, мамочка! Шесть часов. Солнце уже вовсю жарит.

И тут, я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол, вытащил свои бумаги и взял ручку. А потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать.

Думать по-настоящему я, конечно, не мог — голова была как ватой набита, веки жгло, — но я старательно и тщательно перебрал черновики,

выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова — так, словно я писал окончательный вариант статьи или отчета.

Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого — подведение итогов, время полюбоваться собой и делом рук своих.

И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка, обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке.

— А? — произнес я и распрямил спину.

Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера. Она была розовая, свежая, ясноглазая и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я — сова, а она — жаворонок. Где-то я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с удовольствием засыпают, так же легко и с

удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерихлюндия на свете не заставит их проваляться, скажем, до полудня.

— Ты что, опять совсем не ложился? — спросила она и, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. — Чего это они там разгалделись?

Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит какой-то необычный галдеж — толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а «скорая помощь» еще в пути.

— Димка! — завопила Ирка. — Ты посмотри! Вот чудеса-то!

У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил...»

19. «...пить кофе. И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов все на свете получается прекрасно. За эти десять дней Одесса успела надоесть ей хуже горькой редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась и возвращаться в Одессу не собирается, тем более что билета сейчас наверняка не достать, а мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, вот она Бобку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу

— прямо сейчас, вот кофе попьет и вернется, — а в отпуск поедем вместе, как когда-то собирались, в марте или в апреле: в Кировск поедем, кататься на горных лыжах.

Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазила всю квартиру в поисках сигарет, не нашла и вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился.

Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то, углы рта у нее печально опустились («...теперь вот и сигаретку не у кого попросить!»), а я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть; что пока я не решил, рассказывать Ирке про все или не рассказывать; пожалуй, не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов, потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно, а точнее говоря — очень даже ясно, потому что вот уже сколько времени

прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых, треволнения, а во-вторых, она всегда все забывает, но лучше все-таки, от греха подальше, эти скользкие темы не затрагивать. Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит.

И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о Снеговом и перешла к более веселым предметам — как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась и теща, — я спросил небрежным голосом:

— Ну а как Лидочка твоя поживает?

Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка вытаращила глаза.

— Какая Лидочка?

— Да эта, твоя... школьная...

— А, Пономарева? А чего это ты ее вдруг вспомнил?

— Да так... — промямлил я. — Вспомнилось как-то. — Не подумал я о таком контрвопросе. — Одесса, броненосец «Потемкин»... Шаланды, полные кефали... Ну вспомнилось просто, и все! Что ты пристала?

Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня,

затем сказала:

— Мы встретились. Она красивая такая стала, от мужиков отбоя нет...

Возникла пауза. Ч-черт, терпеть не могу врать... Ничего себе — пробный шарик получился! Мне же и по лбу. Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и, сказавши фальшивым голосом: «Как там наше дерево?» — отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно, теперь уже окончательно. Н-ну, а как же наше дерево?

Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стояли только Кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная «ПМГ». Все (кроме машины, конечно) смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявши фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах — лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копаться пальцем в вывороченной земле. Я поспешно

отошел от балкона.

Ирка уже была в ванной. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услыхав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов, но, прежде чем я успел додумать это до конца, он снял трубку.

— Ты дома? — спросил я глупо.

— Да как тебе сказать... — ответил Вечеровский.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Дерево видел?

— Да.

— Как ты полагаешь?

— Думаю, что да, — сказал Вечеровский.

Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил:

— По-моему, это я.

— Да?

— Угу. Я тут решил черновики привести в порядок.

— Привел?

— Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить.

Вечеровский помолчал.

— А зачем? — спросил он.

Я замялся.

— Н-не знаю... Захотелось вдруг переписать все начисто... Не знаю. От тоски, наверное. Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь?

— Кажется, нет. Как Ира?

— Щебечет, — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. — Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода.

— Ты ей рассказал?

— Что ты! Конечно, нет.

— А почему, собственно, «конечно»?

Я крякнул.

— Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю — рассказать или нет? И не знаю. Не могу сообразить.

— Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего.

Я хотел ему сказать, что уж это и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал:

— Ну, ладно, я пошел работать. Если что — звони, буду дома.

Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Калям немедленно

пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный. И тут я заснул. Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Каляма на моей спине уже не было, а в дверь звонили. Нашим условным звонком: та — та-та — та-та. Я скатился с кушетки. Голова была ясная, и чувствовал я себя каким-то необычайно боевым. Какой-то был я весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было — одна отчаянная злая решимость.

Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь: он был еще более потный, всклокоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера.

— Что это за дерево? — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь: эти слова он произнес шепотом.

— Можно вслух, — сказал я. — Заходи.

Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею.

Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь.

— Ну? — сказал Вайнгартен.

— Как видишь, — ответил я. — Пошли в комнату.

— Дерево это — твоя работа?

— Моя.

Мы уселись — я за стол, он — в кресло рядом. Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Борьба, значит, продолжается... — сказал он наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить, трам-тарарам, на коленях... Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался? Диван ты двуногий! Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был! А если бы у тебя под задницей? Трам-тарарам, и трам, и тарарам!..

— Ты чего орешь? — сказал я. — Валерьянки тебе дать?

— Водки нет? — спросил он.

— Нет.

— Ну, вина...

— Ничего нет. Что это ты мне притащил?

— Нобелевку свою! — заорал он. — Нобелевку притащил! Да только не тебе, идиоту... У тебя и своих хлопот хватит!.. — Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. — Идиотов нынче мало, — объявил он. — В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо: вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе... Это тебе не девятнадцатый век, отец, — сказал он задушевно. — Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и все, что от него осталось, — это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный тоже, а я не сплю, прощаюсь с пережитками девятнадцатого века в своем сознании. Двадцатый век, старик, — это расчет и никаких эмоций! Эмоции, как известно, — это недостаточность информации, не более того. Гордость, честь, потомки — все это дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис. Я так не могу. Я так не умею, трам-тарарам! Проблема ценностей? Пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, — это

моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится всё к чертовой матери. Остальное — за пределами моей ответственности. Драться? Ради бога. За себя. За семью, за друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество? За достоинство землянина? За галактический престиж? К чертовой матери! Я не дерусь за слова! У меня заботы поважнее! А ты — как хочешь. Но идиотом быть не советую.

Он вскочил и, огромный как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода.

— Вся наша деловая жизнь, — проорал он из кухни, — есть последовательная цепь сделок! Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки! Это знали даже в девятнадцатом веке... — Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. — Вечеровский тебе не посоветует ни черта, — объявил он. — Это не человек, а робот. Причем робот не из двадцать первого века, а из девятнадцатого. Если бы в девятнадцатом веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских... Пожалуйста, можете считать меня человеком низменным. Не возражаю. Но пришить себя не дам! Никому. Ни

за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я полагаю...

Я его не перебивал. Я его, мордатого, четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно — не услышит. Пока Вайнгартен не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен — это у него, наверное, от тяжелого детства.

Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне казалось странным только то, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он, в конце концов, — он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал: Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена в охоте, Вайнгартена — грубого хама, Вайнгартена, излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда: Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на

несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай:

— Тебя что, испугали?

Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку — не только в жестах, но и verbatim тоже.

— Вот тебе — меня испугали, — сказал он, маневрируя дулей у меня перед носом. — Это тебе не девятнадцатый век. Это в девятнадцатом веке пугали. А в двадцатом этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе — выбор! Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом десять нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар не плох. Право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но — лежалый! Девятнадцатого века! В двадцатом веке все равно этой свободы ни у кого нет. Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лаборантах, колбы перетирать. Институт — это

тебе не чечевичная похлебка! Я там заложу десять идей, двадцать идей, а если им одна-две снова не понравятся — что ж, опять поторгуемся! Сила солому ломит, старик. Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить...

Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок.

— Ну, ладно, — сказал я. — А нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился...

— К Вечеровскому, — сказал он.

Я удивился.

— На кой ляд твоя нобелевка Вечеровскому?

— Не знаю. У него спроси.

— Подожди, — сказал я. — Он что, звонил тебе?

— Нет. Я ему.

— Ну?

— Что — ну? Что — ну? — Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. — Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю

журавля в руках.

— Ну?

— Что — ну? Ну... он тогда и говорит, неси, говорит, все материалы ко мне.

Мы помолчали.

— Не понимаю, зачем ему твои материалы, — сказал я.

— Потому что он — Дон Кихот! — рявкнул Вайнгартен. — Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал! Потому что не хлебнул еще горячего до слез!

Я вдруг понял.

— Слушай, Валька, — сказал я. — Не надо. Да ну его к черту, он же с ума сошел! Они же его в землю вколотят по самую маковку! Зачем это надо?

— А что? — жадно спросил Вайнгартен. — А как?

— Да сожги ты ее к черту, свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем... в ванне... А?

— Жалко, — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. — Сил нет, как жалко... Работа ведь — первый класс. Экстра. Люкс.

Я заткнулся. А его вдруг снова вынесло из кресла, он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно, и опять закрутилась его магнитофонная лента. Стыдно — да! Честь страдает — да! Уязв-

лена гордость, особенно когда об этом никому не говоришь. Но ведь если подумать — гордость есть идиотизм и ничего больше. С души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундочки. И про нас они скажут: идиоты! И правильно скажут! Что нам, не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось! И еще тысячу раз придется! И не перед богами — перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно...

Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает — он драпает, капитулирует он. Ох, как он взвился! Здорово я его задел. Но мне было нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение, это я себя тыкал... В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают.

Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба

или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило, я увлекся, и тут снова позвонили в дверь.

Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса — страшная такая штучка: с одной стороны там этакий шипастый набалдашник, а с другой — топорик. Если что — рубану между глаз, и амба... Я человек мирный, ни ссор, ни драк не люблю, не Вайнгартен, но с меня хватит. Хватит с меня.

Я открыл дверь. Это оказался Захар.

— Здрасьте, Митя, извините, ради бога, — произнес он с какой-то искусственной развязностью.

Я невольно посмотрел вниз. Но там никого больше не оказалось. Захар был один.

— Заходите, заходите, — сказал я. — Очень рад.

— Понимаете, решил заглянуть к вам... — все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он. — Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал... Звоню ему весь день — нет. А тут вот собрался к Филипп... э... Палычу, дай, думаю, загляну, может быть, он у вас...

— Филипп Павлович?

— Да нет, Валентин... Вайнгартен.

— Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я.

— Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно?

— Да с час назад...

Лицо у него вдруг на мгновение застыло — он увидел молоток у меня в руке.

— Обед готовите? — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... — Он двинулся было обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл... То есть не забыл в общем-то, а просто не знаю... Филипп Палыч... Какая у него квартира?

Я сказал.

— Ага, ага... А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я... как-то, знаете ли, забыл... за разговором...

Он еще попятился и открыл дверь.

— Понятно, понятно, — сказал я. — А где же ваш мальчик?

— А у меня все кончилось! — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...»

Глава десятая

20. «...подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уже ей совсем нечего делать, раз уже ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером «Иностранной литературы», — пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.

Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого

унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.

Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уж неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.

— Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.

— Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.

Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не

понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.

Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.

— Не прикасайся ко мне, — произнесла она спокойно и страшно.

— Ирка! — жалобно сказал я. — Иришка! Тебе плохо?

— Животное... — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.

...«Скорую помощь»? Не поможет, не поможет, при чем здесь «скорая помощь»... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.

— Теперь все понятно... — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. — И телеграмма эта понятна, и все... Докатились... Кто она?

Я сел и отхлебнул из стакана.

— Кто? — тупо спросил я.

На секунду мне показалось, что она хочет меня

ударить.

— Это надо же, какая благородная скотина, — проговорила она с отвращением. — Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе... Ах, как благородно... У сына в комнате развлекался...

Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. Врача! — металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!

— Ладно, — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. — Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба... Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали... Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?

У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.

— Ирка! — сказал я. — Господи, как ты меня напугала...

Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся.

Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.

И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.

Не знаю, наверное, вначале мой рассказ звучал как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью...

Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном — она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, — и тут оказалось, что за окном — гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в темя двенадцатиэтажника, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвиж-

но, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. И теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да, в общем-то, мне и не хотелось больше разговаривать.

Потом она сказала:

— Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.

Я крепче прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.

— Ты меня прости, — продолжала она, помолчав, — но в голове у меня это никак не укладывается... Нет, я верю тебе, верю... только как-то уж очень страшно все это получается... Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать... более... ну, что ли... попроще что-нибудь, попонятнее...

— Мы искали, — сказал я.

— Нет, я, наверное, не то говорю... Вечеровский, конечно, прав... Не в том прав, что это... как он

говорит... Гомеостатическая Вселенная... он в том прав, что дело-то не в этом. Действительно, какая разница? Если Вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться? В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю... от обалдения...

Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного — на разные лады повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя, как мне страшно за нее, как мне страшно за нас обоих вместе... Но это, конечно, было бессмысленно и даже, наверное, жестоко.

Мне казалось, что, если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. И я знал, что она гордится мною, всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый, однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету, умею веселиться, умею острить, спорить умею... И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит на меня иногда... Просто не знаю, как бы она в

действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, я и любить-то не смогу ее по-настоящему, даже на это не буду способен...

И, словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись:

— А помнишь, мы когда-то с тобой радовались, что все экзамены теперь позади и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один.

— Да, — сказал я, а сам подумал: только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что — двойку.

— Димка, — прошептала она, повернув ко мне лицо. — А ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись... На самом-то деле тебе гордиться надо... и вообще всем вам... Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила!

— Гм... — сказал я, а сам подумал: Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем, а что касается меня, то это дело пока под большим вопросом.

И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла:

— И совсем неважно, какое решение ты при-

мешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие... Ты мне хоть расскажешь, о чем там речь? Или это тоже нельзя?

— Не знаю, — сказал я, а сам подумал: что же это она — утешает меня, или действительно так думает, или сама, бедняжка, напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне — она уже это знает — придется проглотить? Или, может быть, наоборот, толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит...

— Свиньи они, — сказала она тихо. — Только им все равно нас не разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?

— Конечно, — сказал я, а сам подумал: об этом и речь, маленькая. Сейчас — только об этом.

Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик.

— Дождик я привезла, — сказала Ирка. — А я-то думала, мы с тобой в Солнечное закатимся в субботу...

— До субботы еще далеко, — сказал я. — Может, и закатимся...

Все было сказано. Теперь надо было говорить

о Солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Обо всем этом мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера, и чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше, по науке, прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка «Пиковой дамы», и потом мы оба стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки, и, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов, и записку насчет Лидочки, и паспорт Сергеенко И. Ф., смял их и незаметно сунул в помойное ведро.

И мы прекрасно попили чайку — это был настоящий чай, «чай как напиток», — разговаривали о чем угодно, кроме самого главного, а я все думал, о чем сейчас думает Ирка, потому что у нее был такой вид, словно она уже успела забыть весь этот ужас, сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором.

Потом она сказала, что будет сейчас гладить и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей

про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду, и в это время раздался звонок в дверь.

Негромко напевая: «Лучше гор могут быть только горы...» — я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки (она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой). Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь.

Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: «Телеграмма, прошу расписаться...» Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихожей, под яркой пятисотсвечовой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.

Телеграмма была от тещи. «ВЫЛЕТАЕМ С БОБКОЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛУЮ МАМА». И ниже была приклеена полоска: «ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК». Я прочитал телеграмму и

перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: «Мама с Бобкой приезжают завтра...» — и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листки, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом «Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузной материей в Галактике». Перечитал, подумал и густо зачеркнул «Д. Малянов». Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал не глядя: «Я к Вечеровскому. Скоро вернусь».

По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как пле-

щет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел вниз, во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестели рябые от дождя лужи.

Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажами сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положивши рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич...

Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.

— Не ходите туда сейчас, — повторил он. — Не надо.

Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным — то ли грязью, то ли сажей, — смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.

Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.

— Понимаете, — проговорил он наконец, — капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.

— В нашем веке это тоже случалось, — сказал я. — И не так уж редко.

— Да, конечно, — легко согласился он. — Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится... И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими — перед обществом, перед друзьями... А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло... Может быть, потому что мир стал

сложнее? Может быть, потому что теперь, кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения...

Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:

— Не знаю. Может быть.

— Я тоже не знаю, — сказал он. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заноет... Конечно, двадцатый век, девятнадцатый век — разница есть. Но раны остаются ранами. Они заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них уже забыл вовсе, а потом переменится погода, они и заноют. Уж так-то всегда было, во все века.

— Я понимаю, — сказал я. — Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больнее...

— Ради бога! — прошептал он. — Я ведь совсем не к тому... Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую... где уж мне... Вы знаете, я все думаю... вот такие, как мы, — что это такое? То ли мы действительно так

хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, — атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.

Я молчал. Он вялым, расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:

— Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться. И чай вы отлично умеете заваривать...

Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.

— Вы ведь можете лифт вызвать, — сказал я ему в спину.

Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не заскрипела, распахиваясь, дверь. Затем дверь бухнула, и снова стало тихо.

Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать

немедленно.

Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал, снова надавил звонок и не отпускал кнопку до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:

— Кто там?

Почему-то я даже не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивая. Как я. Как все мои знакомые.

— Это я. Открой.

— Подожди, — отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.

Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне не ходить сюда сейчас. «Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить». Откуда это? Что-то страшно знакомое... Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова послышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.

Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.

— Заходи, — сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу...»

Глава одиннадцатая

21. «...Ты все-таки принес, — сказал Вечеровский.

— Бобка, — сказал я и положил свою папку на край стола.

Он кивнул и грязной рукой размазал сажу на грязной щеке.

— Я этого ждал, — сказал он. — Правда, не так быстро.

— Кто у тебя? — спросил я, понизив голос.

— Никого, — ответил он. — Нас двое. Мы и Вселенная. — Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. — Извини, я все-таки умоюсь...

Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стенах. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавлинами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлина на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.

Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок Вайнгартена, а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано на машинке: «США — ЯПОНИЯ. Культурное воздействие. Материалы». И были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами, и на одном было написано корявым старушечьим почерком: «Губарь З. З.», а ниже — печатными буквами: «Феддинги». А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колени.

Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал:

— Дима, иди сюда. Кофе будем пить.

Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояли посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы. Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться. Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм. Без галстука. Отмытое лицо его было необычайно

бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки, прядь мокрых рыжих волос свисала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись, я понял, что брови и ресницы у него сильно опалены. Да, Вечеровскому досталось основательно.

— Для успокоения нервов, — сказал он, разливая коньяк. — Прозит!

Это был «Ахтамар», очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток.

— Спасибо, Дима, — сказал Вечеровский.

— За что? — спросил я.

— Ты не задаешь вопросов, — сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. — Это, наверное, трудно. Или нет?

— Нет, — сказал я. — У меня нет никаких вопросов. Ни к кому. — Я поставил локоть на свою белую папку. — Ответ — есть. Да и то один-единственный... Слушай, ведь они тебя убьют.

Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала.

— Не думаю. Промахнутся.

— Торопиться им некуда. В конце концов по-

падут.

— А ля гер ком а ля гер, — возразил он и поднялся. — Ну вот. Теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить.

Я смотрел ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами.

— Мне нечего обсуждать, — сказал я. — У меня — Бобка.

И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю — вернулись ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непереходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пойдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице... А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попивать чаек, или пивко,

или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах и перемещениях, копить деньжата на «Запорожец» и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым... Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило... Конечно, останется у меня Ирка, и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться. Потому что я буду тем самым папой, который «тоже когда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя...». Да будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурацкой башке эти проклятые М-полости!

Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.

— Я собираюсь уехать отсюда, — сказал он. — Из института, скорее всего, уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.

— А что ты понимаешь в метеорологии? — спросил я тупо, а сам подумал: от *этого* ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут.

— Дурацкое дело не хитрое, — возразил Вечеровский. — Там никакой особой квалификации не требуется.

— Ну и глупо, — сказал я.

— Что именно? — осведомился Вечеровский.

— Глупая затея, — сказал я. Я не глядел на него. — Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького!

— А что ты предлагаешь? — спросил Вечеровский.

— Выброси все это в мусоропровод, — тяжело ворочая языком, сказал я. — И вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот «культурный обмен», и это... — Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. — Все выброси и занимайся своим делом!

Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем надвинул на глаза остатки бровей — уставился в свою чашечку.

— Ты же уникальный специалист, — сказал я. — Ты же первый в Европе.

Вечеровский молчал.

— У тебя есть твоя работа! — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. — Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с нами?

Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и оперся спиной и затылком о стену.

— Значит, ты так и не понял... — проговорил он медленно, и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное самодовольство и удовлетворение. — Моя работа... — Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. — За мою работу они меня лупят почем зря уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а?

— Провались ты, — сказал я и поднялся, чтобы уйти.

— Сядь! — сказал он строго, и я сел.

— Налей в кофе коньяк, — сказал он, и я налил.

— Пей, — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса.

— Пижон, — сказал я. — Есть в тебе что-то от

Вайнгартена.

— Есть, — согласился он. — И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова... Больше всего — от Глухова. — Он осторожно налил себе еще кофе. — Больше всего — от Глухова, — повторил он. — Жажда спокойной жизни, жажда безответственности... Станем травой и кустами, станем водой и цветами... Я тебя, вероятно, раздражаю?

— Да, — сказал я.

Он кивнул.

— Это естественно. Но тут ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против законов природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Этим я и собираюсь заняться.

— Не понимаю, — сказал я.

— Сейчас поймешь. До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование Апокалипсиса, а Архимеда

зарубил пьяный солдат... Но это, разумеется, домыслы... Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров... Может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях... Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать — опять же не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: что, по сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.

— Зачем мне это понимать? — спросил я угрюмо.

— Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. — Он усмехнулся. — Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе...

ну что ж, что ж, тебе придется подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привыкнешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет — роли не играет.

— Еще как играет, — сказал я, чувствуя на лице своем отвратительную кривую усмешку. — Через десять лет я стану ни на что не годен. А через двадцать лет мне будет на все наплевать.

Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали. Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он — никакой не герой. Что мы просто два ученых и нам предложена тема, только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я — нет. Но легче мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми феддингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И может быть, он

установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток... А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею... А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.

— Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно.

— Не обязательно, — сказал он. — И потом, ведь я там буду не один... и не только там... и не только я...

Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения — одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так и только так.

И он ничего не говорил больше, но мне каза-

лось, что он говорит. Торопиться некуда, говорит он. До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться. И еще мне казалось, что он говорит: «Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки...» И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэллсовского марсианина.

И я опустил глаза. Я сидел скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку, и повторял про себя — в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя: “...с тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы...”».

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настежь.

Б. Пастернак

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!

Исса, сын крестьянина

Глава первая. Перец

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы

Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания — тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными

глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана

малый блокнот.

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

— Минуточку!

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он.

— Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству...

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарощинер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарощинер шмыгнул носом.

— А вы не забывайтесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение

к лесу — мне неясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и подумал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть

на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... Не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарощинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарощинер доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсядете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся.

— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарощинер поглядел на часы.

— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то

я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарощинер, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. Пошли?

— Пошли, — сказал Домарощинер. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарощинер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голосом.

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет, — шепотом сказал Домарощинер, озираясь. — Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне, — говорил Домарощинер. — И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права...

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный

контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарощинер уже ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставались еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он.

— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их

там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну, я, например, вообще не пью, — с достоинством сказал Домарощинер. — Так что ко мне это вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. — Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарощинер. — Как вы можете? Вот справка, прошу...

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарощинер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это самая последняя, — сказал он. — А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Де-

ревья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разберипоймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил, — сообщил Домарощинер, облизывая губы. — Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из буты-

лок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал Тузик в повышенном тоне, — и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит... Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

— Х-хорошо, — упавшим голосом произнес Перец. — Я попробую. Только как же это он... машину?

— С менеджером могу поговорить я, — сказал Домарощинер. — Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки, — сказал Тузик, держа на весу стакан с кефиром. — В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефи-

ра, — сказал Домарощинер.

— А я их сам и не видел, — возразил Тузик, поднося стакан к губам. — Но воду из этих озер пить нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет, — сказал Домарощинер. — Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика, — сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

— Подождите, — сказал Перец. — Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат... А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и все.

...Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать — и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу...

— Ты со мной не спорь, — сказал Тузик, рассматривая Домарощинера в упор. — Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо, — сказал Домарощинер. — Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел, — повторил Тузик, обращаясь к Перецу. — Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом своем лесу.

— Если бы погиб, — сказал Домарощинер значительно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем, — сказал Домарощинер, — чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефиру. Тогда Домарощинер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение... Я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы человек посторонний...

— Какое распоряжение?

— Считать его живым, — гулко прошептал Домарощинер и отодвинулся. — Хороший, свежий

кефир сегодня, — произнес он громко.

В столовой поднялся шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарощинер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы беседуем...»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно... Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

— Вообще, — сказал Тузик, — если вы получите три строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи подымут, вещичек собрать не успеете... Ребята у нас как делают? Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — посылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с

приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам вот этому по морде. — Он показал на Домарощинера. — Сразу мне снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? — выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, выпиваю еще полбанки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. Во-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все проступки будут рассматриваться как один и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и кряк-

нул.

— Это верно, — признался он. — Тут я, пожалуй, действительно... того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж... — грустно сказал Перец. — Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

— Так ведь не обязательно же по этой... по морде, — сказал Тузик. — Можно, например, и по этой... по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею, — сказал Перец.

— Тогда плохо, — сказал Тузик. — Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь там в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда? — обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным, — сказал Домарощинер. — Не понимаю я, Перец, почему это вы хотите отсюда уехать. Никто не хочет уехать, а вы хотите.

— У меня всегда так, — сказал Перец. — Я всегда делаю наоборот. И потом, почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим, — заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца. — Скажешь, нет?

— Я не пью, — сказал Домарощинер. — И я не пью по очень простой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет, — сказал Тузик, — так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врюхаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли... Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, а они еще...

...Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое

одновременно. С тем, что оно — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках, — с горечью и со страхом...

— Когда выйдет приказ, — провозгласил Домарощинер, — мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в... э-э... в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись: «ВСТАВАЙ, ВЫХОДИ!» Домарощинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду, — сказал Перец. — Работать пора.

— Пора, — согласился Тузик. — Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.

— Что? — спросил Тузик сонным голосом.

— Завтра в семь я приду.

— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Разъезжаются, подлые, — пробормотал он. — Сколько раз я им говорил: поставьте диван...

— В гараж, — сказал Перец. — К вашей машине.

— А-а... Ну, приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «что нас губит» и «только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец

поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перецу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и полстола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть... — сказал Перец растерянно.

— Помой, помой, — сказал Ким, мотнув головой. — Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем

потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, — сказал Ким. — А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве, — сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами,

увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись на вывеске возле подъезда: «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЛЕСА». Я стоял перед этой вывеской с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображения, бледная немощная ложь. Лес есть, и это

огромное мрачноватое здание занимается его судьбой...

— Ким, — сказал Перец, — неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассеянно.

...Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни...

— Не знаю, — сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. — Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда, — сказал Перец. — Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать, — сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать...

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси, — сказал Ким. — Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать...

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.

— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.

— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь...

— Сейчас, — сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое же это все-таки чудо — лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространение неквалифицирован-

ных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О лесе говорят и думают черт те что...

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»... «Лесные люди»... «Из-за деревьев не видно леса»... «Кто в лес, кто по дрова»... Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное обывателями и утилитаристами...

— Дважды восемь поделить на сорок девять

минус семью семь, — сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос:

— Я делал это как философ по образованию, а вы могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики... Или какая там у вас тема диссертации?

— У меня «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», — сказал Перец. — Боюсь, что...

— Пре-вос-ход-но! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур... Это будет превосходно, мингер Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве ос-

новного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности... Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам... Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо, — сказал Перец. — Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза.

— Вы отлично знаете, Перец: надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже...

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, — сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножить на четыреста тридцать два...

Все равно я уеду, думал Перец, нажимая на клавиши. Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песни, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжко бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фураж-

ках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то, — сказал Ким. — Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась, и Перецу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления, вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз, по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз...

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный

кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким, — сказал он. — Это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка, — заискивающе сказал Стоян. — Я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон, — сказал Ким. — Маньяк.

— В последний разочек, — сказал Стоян. — В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина тоже откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злостью. — А ну-ка повернись!

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь. — Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик, — говорил он. — Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать... В самый разнаипоследнейший. — Он развернул бумагу и показал Перецу букетик ядовито-зеленых лесных цветов. — А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты, — прикрикнул Ким. — Стой смирно! Маньяк, шляпа!

— Маньяк, — с восторгом соглашался Стоян. — Шляпа. Но! В самый разнаипоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все, — сказал Ким. — Убирайся.

Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь, — сказал Стоян. — Немедленно убираюсь. А то ведь, знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что ли...

— Еще чего! — сказал Ким. — Нечего там Перецу делать.

— Как это нечего? — вскричал Стоян. — Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну ладно, ну что поделаешь... А этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну? — сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал...

— Это я все знаю, — перебил его Ким. — Я не понимаю, при чем здесь Перец.

— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты... Не Домарощинера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. — Убирайся работать, и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Всё, — торопливо сказал Стоян. — Всё. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букет на стол и выбежал вон, крикнув в дверях: «И клоака снова заработала...»

Ким взял веник и смел всё осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак, — сказал он. — И Рита эта...

Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью...

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл, и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец, — сказал Ким, — а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор, — задумчиво сказал Ким. — А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело...

— Все равно я завтра уеду, — сказал Перец. — Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал, — продолжал Ким, не слушая. — Очень смело... Может, действительно послать тебя туда — разобраться?

Глава вторая. Кандид

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я ухожу. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Ты уже больше не спишь?

— Нет, — ответил он.

— Давай тогда поговорим, — предложила она. — А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

— Давай.

— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

— Не знаю, — сказал он. — Скоро.

— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра, ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог...

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц

назад было наоборот: справа налево — с грибницей, слева направо — порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра ухожу, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрашивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес, и никому не даю заговорить со мной, это очень важно — никому не дать заговорить с собой, заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит...

— ...И получилось так, — говорила Нава, — что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо

видят, совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего... Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть...

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлюпаньем, понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде

невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много — и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. — Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно. Не дождавшись ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и всё везли на Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, и он меня при них при всех спрашивает. Я ему говорю,

как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут... Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похож. Почему, говорит, при всех нельзя спросить, почему нельзя?

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы позлить.

Старец хихикнул.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допытываешься?

— Кричит, — сообщил старец. — Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожаешь? Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: не желательно, не одобряется,

а поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя — то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное...

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал:

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит бродилом, потемнел и уже закис. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребятишки,

обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Вот тут я мягкой травки постелил для гостей. Уходишь, говорят?

Опять, подумал Кандид, опять все сначала.

— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь.

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает

лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойненько дойдешь и не вспотеешь.

— До Глиняной поляны мы дойдем, — согласился Кандид. — А вот дальше как?

— Куда дальше?

— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны? Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Кандид дослушал и сказал:

— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю.

Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Го-о-орода!.. Вот ты куда нацелился. Помню, помню... Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе Глиняная поляна. Или, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо — пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо. Ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа... Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем...

Кандид дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в

Тростники. — Колченог внимательно слушал и кивал. — А надо мне в Город, — продолжал Кандид. — Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Это ты вчера сказал. И позавчера говорил, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. («Только бы не сбиться, — подумал он. — Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не Тростники, — повторил он вслух. — Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — пойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиную матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая, никто не знает, а ходит она плохо. Но до

Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже и нету. Дупло то поищем, а?

«Сейчас он меня собьет», — подумал Кандид. Он наклонился набок и подкатил к себе горшок.

— Хороший какой у тебя горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки... Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной де-

ревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было бы завтра и выйти... Да... Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их кушать можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запасать, расспросить нужно про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду расспрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил Кандид. — Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отобьешься...

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь: как мы с тобой идти будем, вот чего я боюсь. Ты так все

время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь... Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или даже просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать...

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Кандид. — Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так мы ведь не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею в Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Кандид. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

— Вшестером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

— Хорошо, — сказал Кандид, поднимаясь. — Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомню.

— Заходи, — сказал Колченог. — Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву приводи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну да еще будут, молодая она у тебя...

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихик-

нул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова и переставленная, а это ты понимать должен...

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином... Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле...» Кандид шел быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом носом к носу.

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, по-

спешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать...

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним носом к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, — продолжал Слухач убедительно. — Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал траву на площади побить, потому что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы:

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают все новые... Отодвигается все дальше и дальше на юг... Победного передвижения... Большое разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких... Новые приемы заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового продвижения на... Во всех поселениях... Большие победы... Труд и усилия... Новые отряды подруг... Завтра и навсегда спокойствие и слияние...

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно: «Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже... Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя... Спо-

койствие и слияние — понимать же надо... И у нас, значит, тоже, раз во всех... И новые отряды подруг, понял?..»

Слухач замолчал и опустился на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

— О чем это я? — сказал он. — Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя...

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило по́том, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды,

зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки — за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти,

воняет, жить невозможно, как же теперь не идти — старуха выносить не желает, а сам я на это уже смотреть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вон стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу... Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город, — сказал Кандид.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще и нету, а врет о нем этот старый пень — придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя... Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет...

— Выходим послезавтра, — сказал Кандид.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать

невозможно, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет... Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Послезавтра выходим, — терпеливо повторил Кандид. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

— Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, домой! Домой бегите!

Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетьми висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами

шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза...» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га-га!» Связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал: «Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Драные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу-у! Вы!» Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загугукали и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось

потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились. «Ну, всё, — сказали в цепи, — не устояли, сейчас вывернутся...» Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание. «На площадь ступайте, на площадь... — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь...» Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе что-то не было видно. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Об-

жегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели. Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать закажет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание... А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет...

— Я завтра с утра на Выселки иду, — сказал Кандид. — Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напомни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напомни, а то еще убредет куда-нибудь...

— Напомню, — пообещал Кулак. — Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили

за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся ребятишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившись особенно удобно — подальше от горячих солнечных пятен, — дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках — нет, и ни спокойствия нет, ни слияния, и происходит это оттого, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Мол-

чун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит...

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услыхав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул: «Эй! Не спать!»

— Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем. — Он покосился на старца. Старец довольно кивнул. — Вот это и есть наше общее «нельзя». — Он пригладил волосы и сообщил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись... А лучше нет, ты лучше посиди так, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню... Нет-нет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим...

Кто там с ним рядом сидит, придержите его там хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, тот пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту надо брать к себе: Болтун — он хоть и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уже сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная

Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой деревней все не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то ворам отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А почему же тогда Молчун в Город идет? Молчун в Город идет — значит Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое же может быть Слияние?.. Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет... Так и Одержания уже нет!.. Это кто там кричит, что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытал-

ся начать разговор с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров. Хвост кричал, надсаживаясь:

— Одержание?! А мертвяки почему?! Про мертвяков молчите, потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержание!..

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обессиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что все уже молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда встал взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданым Выселки не постоят, сами увидите... Начинать спор снова ни у кого уже не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

— Так когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь... Не пойдешь — так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Послезавтра выходим, — сказал Кандид. — Пищу ты приготовил?

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпения не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду... Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест и где он живет? Я — человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его потому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и ночью шарит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влазит? Ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылижет и с собой два унесет, а

горшки никогда обратно не возвращает... Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается...

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — из деликатности. Поговорив еще минут пятнадцать о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач — никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек, и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтрему новые запасы, а старика беспощадно гнать, он наконец удалился.

Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножечко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь, не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки... И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много... занятно... На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид... Завтра с

утра на Выселки... парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города не дойти... Он не заметил, что вошел в дом.

Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — везде уже обедают, а у вас пусто... Потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора...

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорил:

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? До Города, говорят, очень, очень далеко, я теперь все про тебя знаю, знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой целый день добираешься и добраться не можешь... Придется мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид

вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони свои вытер травой. Старец опомнился.

— Только вот еды вы на меня взять не забудьте, — сказал он вслед Кандиду. — Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»...

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. И все-таки послезавтра я ухожу, подумал он. Вот бы что мне не забыть: послезавтра. Послезавтра, подумал он. Послезавтра, послезавтра.

Глава третья. Перец

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с выкаченными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо, — тоже шепотом сказал человек.

Да это же комендант, с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на локте. — Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были по-прежнему свободны.

— А вы не озирайтесь, — сказал комендант. — Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны...

Перец понял: коменданту было очень страшно,

и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.

— Давай, давай, — сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Переца подушку. — Белье, говорят...

— Да что же это, — проговорил Перец. — Обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи, — сказал Перец. — Вы не в своем уме. Ну хорошо... Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт, — сказал он наконец. — Ремонт пора делать. Обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо... — Голос его окреп. — Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше немыслимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди...

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час? — спросил он.

— Первый час уже, — сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине. — Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере...

— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

— Ну, в дежурке.

— Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой, — сказал он. — В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите...

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь... Я же все понимаю! Но невозмож-

но, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перецу и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам быть здесь. Очень я вас прошу... — Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца. — Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, — бормотал он. — Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги... А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста...

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это...»

— Можно я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.

— Ни в коем случае! Вы же меня погубите... Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой...

Перец кое-как собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному: «...будет назад проситься. Не пускать! У него... (неясный зловещий шепот) понял? Ты отвечаешь...» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень прошу... Жена... Без никаких эксцессов... последствия... Нельзя...» — и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная.

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было. Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-та-

ки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами... И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого же дня... Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Девяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего... И Ким читал эти доносы и одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать...» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно... Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза...

Перец поднялся, взял чемодан и побрел куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно

терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, в какую-то канаву и совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличен. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к. Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том,

что знают. Ты такой, какой ты есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники, все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые

комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами: верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время, и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться... До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна библиотеки были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет рассохся и отчаянно скрипел, и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги грудами лежали на столах и по углам, и кроме Переца и книг в библиотеке не было ни души.

Перец опустился в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите... Вот ты, как тебя... Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают,

тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера... Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание в лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения. Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тщился построить стадион или санаторий, у него все выходил бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки... Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеная и оправдываясь, но — лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотек, не

было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много... То есть не поэтому, а потому что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже... Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю... Так вот я и говорю, что есть еще книги... Что?..

— Тише, пусть спит...

— Чем спать, лучше бы выпил.

— Да не скрипи ты так... Ой, да это же Перец!

— А что нам Перец, ты знай не падай...

— Неухоженный какой-то, жалкий...

— Я не жалкий, — пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом напротив стояла библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку вытатуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный, — сказала Алевтина, глядя на Переца. — И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет... Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву!.. — сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина. — Никогда раньше не видел?

— Да нет, — сказал Тузик. — Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как кино бывает — двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей ступеньке лестницы лежали ломти здоровенного штруделя, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой ступеньке стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько, — сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно, — загадочно сказал Тузик. — Вот я сейчас Переца разбужу.

— Не отходи от лестницы, — сказала Алевтина.

— Я не сплю, — сказал Перец. — Я уже давно на

вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно, — сказал Тузик. — Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты...

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху. Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел... Какую-то чепуху... Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец, — сказал Тузик. — Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина.

— А как же! — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец. — И за позапрошлый, и за позапозапрошлый... Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше... Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек... — Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец. — А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-

потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю...

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было холодно, сыро, по крайней молодости лет ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома, и там, в темной парадной, прижал ее к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут, — сказал Тузик. — Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают, — сказала Алевтина. — Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебросил несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Завтра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закусочной, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймешь, врет он или говорит правду...

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, погля-

дел на Алевтинины ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!..»). Дочка политического заключенного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что ее все равно сожгут). Жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю-мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убегать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («...Я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной...»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей,

— она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины... девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...

— Так что никакой я не развратник, — заключил он. — Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент...

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много

добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо, — сказал он и отнял от нее руки. — Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так? — сказала она. — Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке...

— Спасибо, — сказал Перец. — Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой... — Она медленно заворачивала еду в газету. — Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел... Но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился... Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в га-

раж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокойтесь...

— Значит, будем прощаться... А то, может, пойдемте все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине... Проспать боюсь. Тузик ведь ждать не станет.

Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал? — спросила она.

— Нет, — сказал Перец. — Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то... И за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя. За всех. Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки, — сказала Алевтина. — А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично. Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо, — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону. Перец зачем-то помахал ей вслед рукой.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими

лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки Маус. Хорошо, подумал Перец, уютно. Надо было сразу сюда идти. Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все Управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой... Нет, об этом не надо. Потому что днем мешает болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышимый, и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охладевшей сексуальности...

Перец лег, скорчившись, и подсунул под голову скомканный плащ. Микки Маус тихонько по-

качивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах, какой хорошенький!», а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перецу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадется под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его раскрытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врезается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо...

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. Побриться бы надо, подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя

везет. В крайнем случае притворись спящим...

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло, почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услыхал, как он распоряжается: «Ну, пошевеливайся, давай домкрат». — «А он где?» — спросил незнакомый механик. «...! — спокойно сказал менеджер. — Под сиденьем посмотри». — «Откуда же мне знать, — раздраженно сказал механик. — Я же вас предупреждал, что я официант...» Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась и появилось хмурое расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а потом запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко.

— Н-нет, — сказал Перец. — Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это? — спросил он.

— Нет, — сказал Перец. — Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие? — спросил он.

— Н-ну... Такая железная палка... Они разные бывают. У них такая подвижная ручка...

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если эту повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это? — спросил он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала», — и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузовик начал покрякивать и вздрагивать.

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покатят по главной улице Управления, и никто не будет на них смот-

реть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестящее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи...

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое заднее колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи справа!» — пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте, — сказал Перец. — Что это вы...

— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекращая работы. — Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Заело,

дрянь проклятая... Одно вот хорошо снялось, а второе заело...

— Как заело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю, — сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ. — Просто приржавело, наверное, немножко. Ну, я его сейчас, быстро... А потом мы с вами шахматишки расставим. Как вы полагаете?

— Шахматишки? — сказал Перец. — А где Тузик?

— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так... — тихо сказал Перец. — Просто я предполагал... — Он открыл дверь и спрыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь, — сказал менеджер. — Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть, — сказал Перец. — Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять... Надо же, как заело! А, чтоб тебя... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка мы лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел в свой кабинет.

Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть? — спросил он.

— Да я как-то даже не знаю, — сказал Перец.

В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер — бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами, — решил наконец менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажавши кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну

партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому штруцелю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Перца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отрабатывал поражение, и Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполым голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение директора к сотрудникам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Перца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. Нельзя же так, подумал Перец, нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю, может быть, в этом вся беда, может быть, на самом деле все правильно, но я не знаю, что к чему, и поэтому все время оказываюсь лишним.

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздают, а он как всегда останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шарахнулся от заступившего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и

почти сразу он услыхал за спиной револьверный выстрел, спрыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась. Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой Домарощинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец жадно схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «...Управление реально может распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным...»

Снова шорох и потрескивания. «...Противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаруживаются по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не способно созидать, не разрушая авторитета и неблагодарности...» Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «...Оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, чего мы, собственно, хотим, а нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет

и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать, и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация...»

В трубке послышался звук как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарощинер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не понимаю.

— И не странно, — сказал Домарощинер ледяным тоном. — Вы взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это — не моя. А где тогда моя?

Домарощинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незнакомых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянущийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадях, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать трубку у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка? — кричал Перец. — Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Перец.

— Есть, — сказал один из механиков. — Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?

— А ничего не слышно, чего слушать-то.

— Почему не слышно?

— А мы провода перерезали.

Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но, в

конце концов, я просто читал в одной книге... А вы сами не слышите созвучия? Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пятьдесят тысяч франков, и это — в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином...» — «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток...» — «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог заснуть: непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь... Здравствуйте, Перец! А говорят, вы уехали... Молодец, что остались...» — «Нашли наконец вора, помните, вещи все пропадали? Так это оказался дискобол из парка, знаете, статуя у фонтана. У него еще на ноге написано неприлично...» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до получки, до завтра то есть...» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел...»

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседе-

са», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать, — сказал Ким. — Какой-то болван ходит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать.

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перецу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Перец вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать, — сказал Ким. — Надо было на работу вовремя приходить.

— Я же не знал, — сказал Перец. — Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват, — сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь, — сказал Перец. — Ты знаешь, — продолжал он, — иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных, но вот я сейчас пытаюсь вспомнить — и ничего...

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а... Правильно, она сейчас рожает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать... Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь... Подряд вообще никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что...

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадают — слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет, — сказал Перец. — То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет

только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует электронных приспособлений... Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, — метод спирали.

— Спасибо, — сказал Перец. — А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?.. Ну... О чем? Ну, что он... сказал?

— Кому?

— Кому? Ну, тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись.

— Нет, я не сержусь, — сказал Перец. — Я только хотел бы узнать... Он говорил что-то о лесе, о свободе воли... Я давеча камешки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Перец рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно сильный шахматист, а он просто любитель... И потом, он играет как-то странно...

— Это неважно. Я бы на твоем месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься последнее время... Доносы на тебя пишут... Знаешь что, завтра я устрою тебе свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он. Стивенсон-заде...

— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит.

Перец вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Господи, — сказал он. — Хоть бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый...

— Домарощинер говорил, что он настоящий великан.

— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорил, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой еще Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал.

Ким желчно засмеялся.

— Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорит, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него личным секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертацию.

— И ни разу его не видел?

— Ну естественно! Ты воображаешь, это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно, — сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал. — Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты там услышишь, я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Перец.

— Одинаковые, Перчик, — сказал Ким. — Уве-

ряю тебя, одинаковые.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Перец.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил трубку, бешено набрал номер и рявкнул:

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца! Что? Ма-ал-чать! Вы не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в лес поедете в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так... Так... Что? Так... Правильно. Это другой разговор. И белье самое лучшее... Это уж ваше дело, хоть на улице... Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство... Ну, естественно... Большое спасибо. До свидания.

Он положил трубку.

— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может... И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так решил. Иди, иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора...

Перец, пошатываясь, вышел на улицу, постоял немного, щурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсовой руке прифонтанный вор-дискобол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «ДЕВОЧКИ, БОЙТЕСЬ СИФИЛИСА».

Глава четвертая. Кандид

Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота, из ржавой пахучей воды торчали сгнившие черные ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала все, кроме звуков и запахов. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу

выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила, что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто и не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся... Просто я честно тебе скажу, я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем делать... Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у того их и нет...

— А ну вернись домой, — сказал Кандид. — Откуда это ты взяла, что я ухожу? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома...

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что его даже этот твой старик не найдет...

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая разница? Пусть девчонка идет. Тоже мне жена, детей она не хочет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем, очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала

так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что разбудила ее какая-то вредная муха и что, когда она вчера засыпала, он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал...

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у него в мозгу, он шагал и тупо, многословно думал о том, почему он ни о чем не может думать, наверное, это от бесконечных прививок, которыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтовней, а может, еще от чего-нибудь... Может быть, это сказывается весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосился, поломал винты и камнем рухнул в болота... Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше и не оправился... А если б не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной, так что это еще хорошо, что

меня выбросило... Его вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра...

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала:

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала подталкивать меня тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, и мамы уж больше мне видеть не привелось...

— Нава, — сказал Кандид, — опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала.

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись. — Ты какой-то странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... — Она вдруг оживилась. — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи

ты мне, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел...

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки, дорога под ногами становилась то мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно вывернуты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не

понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не умеют. Кулак все грозится, но он тоже не умеет, только руками размахивает... И на Выселках так тоже не умеют... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят, редко, но ходят. Давай лучше вернемся... И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видела, что ли?

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится опасной... В Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему ведет через Выселки...

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают от греха назад, в деревню. Он на-

гнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Кандид, — иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать, — сказал Кандид. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.

— А ты?

— Я мужчина, — сказал Кандид, — мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе говорю: вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь к дереву прирастать... Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — не очень уверенно сказал Кандид. — Вранье это все...

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, быстро и

шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и молчи до самых Выселок. Пошли.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про Колченога, как она с ним тут ходила и он ей сделал дудку... Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — бормотала она, — я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня...

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние

люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не сделаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы мы вас на сучки да на палочки, вот и весь был бы у нас с вами разговор... Куда направляетесь? На Выселки, я понимаю? Это можно, это пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалей, ей с нами лучше будет...

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, я к ним не хочу, это же воры...

Воры засмеялись — без всякой злобы, привычно.

— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид.

— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут же кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя дочка, подругой славной станет или еще какой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный...

— Она же еще девочка, — сказал Кандид, — зачем вам ее обижать?

Вожак удивился:

— Почему же обязательно обижать? Не век же она девочкой будет, придет время — станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной...

— Это он все врет, — сказала Нава, — ты ему, Молчун, не верь, ты что-нибудь делай скорее, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану... Смотри, какие они дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего...

Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он просительно, — возьмите нас обоих.

Воры не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кандида с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, папаша, говоришь ты как-то не

так, как все, неизвестно, что ты за человек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь.

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, лежавшего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял дубину над головой.

— Эй-эй! — закричал вожак.

Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единственным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шатаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крякая и притопывая, пока

Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил.

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно рассматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.

— Дурак ты, папаша, — сказал вожак укоризненно. — Разве же так можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся... Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое...

Больше ждать Кандид не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо, вожак гукал и взревывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревни, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспощадных.

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впереди, твердо ударяя в землю бо-

сыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу, — замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты вот что, — сказал один из воров заботливо. — Ты там держись, ты там не кричи, а держись покрепче, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собой поперек груди, с разбегу налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед глазами у него все плы-

ло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-то сунулся бородатым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото.

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса: «Что же вы, руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упустили мы девчонку, пропадет девчонка теперь...» — «Да обезумел же человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он мне порвал, а ты мне ее порвал...» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле; догонять нужно, а не разговоры разговаривать... Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размахнулся...» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — «Тонет! И верно, тонет... Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!»

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего Семиглазого. Слышались бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили. И опять все наврали, подумал Кандид. Болото вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать...

Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она. — Что ты стоишь? Пошли скорей... Или, может, ты еще хочешь подраться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я думаю, одолеют, потому что ты ведь один, а их... раз... два, три... четыре...

— А куда идти? — спросил Кандид. — На Выселки мы попадем?

— Попадем, наверное, — сказала Нава. — Я не знаю, почему нам на Выселки не попасть...

— Тогда иди вперед, — сказал Кандид. Он уже

немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в чащу, в зеленое марево зарослей.

— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как, — говорила она на бегу. — Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел на всех как рыба, потом тебя мне отдали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего...

Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался. Воры были недалеко.

— А с Колченогом мы сюда ходили, — продолжала Нава, — когда у Кулака воры жену увели, Колченогову дочку. Он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпался мусор и насекомые, иногда какие-то тяжелые бесформенные

массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости.

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть... — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название мне Колченог говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... Или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще тебя мне не отдали... А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то ты так скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Кандид перешел на второе дыхание, бежать ста-

ло легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев, мертвяк понес галопом, он был раскален, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно.

— Давай... отдохнем... — просипел Кандид.

— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава. — Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подальше, это мох опасный. Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем воры отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо...

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяже-

стью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут, и про мох врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если они нас догонят? — услыхал он словно сквозь вату голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годный стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, что бы там они ни врали, это был лес, это-то он помнил хорошо, этого он не забывал никогда, даже когда забывал все остальное.

— Вот у тебя даже и палки теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо... Тяжелая...

Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко, слышно было, как они пыхтят и топают

в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости — ворам тоже было тяжко.

— Пошли дальше, — сказал Кандид.

Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — деловито говорила Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь, ты не думай, что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как присосется. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте спускайтесь, чего же вы?

Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясины идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали — в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пиявок, даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и наперебой закричали снова; понять было трудно.

— Назад! — кричали они, кажется. — Наза-ад!.. Не тро-онем!.. Пропадете, дураки-и-и!..

Не так просто, подумал Кандид со злорадством, сами вы дураки, так я вам и поверил. Хватит с меня — верить... Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-им!.. — ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кандид и сразу стал думать, что теперь надо бы отойти подальше, а потом сесть отдохнуть и поискать на себе пиявок и клещей.

Глава пятая. Перец

Перец явился в приемную директора точно в десять часов утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка: «НЕ КУРИТЬ, НЕ СОРИТЬ, НЕ ШУМЕТЬ», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с подъятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «ВЫХОД», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под

надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы, — сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Переца. — Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю.

Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и задушенным голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем, — сказала Беатриса горько. — Стоит нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойницами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно, — продолжала Беатриса, — что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жесткости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю, — сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела

список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнея на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «ВЫХОДА НЕТ». Несколько секунд в приемной стояла болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы.

— Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и позолоченных пуговиц... Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья... Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы.

К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями, человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины... Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю, — сказал тоскливо моншер Брандскугель.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала:

— Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?» — огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!» — а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перецом оказалась коричневая папка, и Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания; все смотрели на желтую дверь.

Что же я ему скажу? — подумал Перец. Скажу,

что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово. А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще, я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен... Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю... Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем, километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни...

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к моншеру Брандскугелю. — Который час?

Моншер Брандскугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандскугель колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова огляделся и, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной. Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секретарша. — Ваша очередь.

— Рассуждает... — проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать... — громко сказали

слева. — Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка, — сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться...

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, возвысив голос. — Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — вот вы, там... Да, да, я вам говорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

— Да, — сказал Перец. — Да, я иду.

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскугель, загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным ладным человеком лет тридцати пяти, в превосходно сидящем дорогом костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст,

не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перецу свежее лицо спортсмена.

— Д-да... Я... — промямлил Перец.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перец, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенции. А как вы, мосье Перец, относитесь к голубям?

Перец замялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перец совладал с собою и соврал:

— Очень люблю, мосье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И снова на лице мосье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого

ожидания.

— Изумительно, — сказал Перец. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо! — сказал мосье Ахти. — Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перец.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестественен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодей, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением! Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, еще в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой.

— У Пикассо есть странные картины, которых я не понимаю, — сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Как

можно чаще. И только на оригиналы. Никаких репродукций. Никаких копий... Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника.

— В чем же она заключается?

— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил директор. — Что вы видите на этой картине? Формально — получеловека-полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы бы поняли, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не человеко-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время-движение! Вектор! Стрелу времени, как

сказал бы Эддингтон...

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо.

Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены.

Мосье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили, — произнес он новым, каким-то казенным голосом. — Ваше имя?

— Что?

— Имя. Ваше имя.

— Пе... Перец.

— Год рождения?

— Тридцатый...

— Точнее!

— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.

— Что вы здесь делаете?

— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза.

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.

— Ваше мнение о лесе. Кратко.

— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.

— Ваше мнение об Управлении?

— Тут много хороших людей, но...

— Достаточно.

Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную кварту!..» — пропел он спертым голосом. — А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандскугеля, монше-ра моего, — продолжал он, прижимая Переца к груди. — Он такие истории излагает — никакой закуски не надо... Пошли?

— Собственно, можно, — сказал Перец. — Но я ведь...

— Ну чего там — ты?

— Я, мосье Ахти...

— Брось! Какой я тебе мосье? Камрад — понял? Генацвале!

— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас...

— Пр-р-роси! Ничего не пожалею! Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно, камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора...

Ахти отпустил Переца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец, — сказал он. — Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перецом низенькую дверцу в глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мосье Ахти несколько поторопился захлопнуть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша была точной копией первой секретарши, но читала она книгу

под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут и профессор Какаду, тяжко страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «ТИХО!». Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса улыбнулась ему несколько настороженно, но в общем приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала:

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган... и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды... Да, подумал он, самое тяжелое позади...

Его внимание привлекли быстрые скребущие

звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса.

— Я не знаю, — желчно сказал Перец.

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, — продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай... Господи! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками...

Секретарша отложила книгу и строго сказала:

— Не отвлекайтесь.

Беатриса испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть, — сказал Перец, вскакивая.

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да.

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но...

— Ну, как хотите, — сердито рявкнул бритый. — Мое дело сказать.

Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда вы ломитесь? Вот же дверь, написано «ВЫХОД», а вы куда?

Твердые руки направили Переца к надписи «ВЫХОД». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь

закройте!» Опять не то...

Перец, скользя по паркету, пересек зал.

Запах кондитерской, небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда...

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его, — сказал продавцу хилый старик из очереди. — Это здесь есть один такой остряк, только очередь задерживает... Работайте, не обращайте внимания.

— Да я не острю, — сказал Перец. — У меня машина сейчас уйдет...

— Да, это не тот, — сказал справедливый старик. — Тот всегда спрашивает, где уборная. Где у вас, вы говорите, машина, сударь?

— На улице...

— На какой улице? — спросил продавец. — Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет, — сказал проницательный старик. — Это

все тот же. Он просто программу переменил. Не обращайте на него внимания...

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящиков. Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно.

— Проходите, — сказал голос.

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу, — сказал он.

— Сейчас привыкнете, — пообещал голос. — Ну, идите же, что вы встали?

Переца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь, — сказал голос.

В пальцах Переца оказался карандаш. Теперь он видел в темноте смутно белеющий лист бумаги.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, провели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо, — раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа. Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посередине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец

подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перецу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланили, засмеялись, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан, — сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. Еду, думал он. Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы...

Сотрудники, сбившись к кабине, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так

пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу... Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарощинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предлагает...

— Кто бы говорил, но не Домарощинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация...

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалование получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я? — растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается... Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял, — сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Переца бумаг нет!

— Ну, это не важно. У него, вероятно, пропуск...

— Нет у меня пропуска, — сказал Перец. — Ничего нет. Только чемодан и вот плащ... Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел...

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил

по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застывшее грозовое кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят, — сказал кто-то.

— Ну, в конце концов, на дороге никаких объектов нет...

— А Домарощинер?

— Ну что ж Домарощинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает. А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше. А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропускном пункте, так он там до сих пор и сидит. Анкеты заполняет...

— Как же ты это, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотруд-

ника Переца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарем?

— Домарощинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарощинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретаря?

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что же... Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Воздержался? Гм... Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно... Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы преодолели в промежуток между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, бэ — наземным транспортом, цэ — воздуш-

ным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то треск. Оборачиваюсь и вижу: стенка одного ящика, огромного, с хороший дом, выдавливается и распахивается как ворота. И из ящика выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами понимаете почему. Но зрелище... Постоял он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся, и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: «Дай все-таки посмотрю». Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта гвоздями *изнутри* приколо-

чена! А наружу торчат острия блестящие, в палец длиной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот этак... осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят нам когда-нибудь Варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа... Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерникам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину *видел*, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет...

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров — пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец... Н-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки, — сказал Перец и вытер со

лба пот. — И броневики.

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики... Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно, — сказал Перец. — Это было очень давно.

— Точнее.

— А вы? — сказал Перец. — Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой... А теперь прошу вас.

— Не могу, — сказал Перец. — Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак, — прошептали у него над ухом. — Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно, — покорно сказал Перец. — В возрасте десяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий. — Можете ведь, если захотите! А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Перемежающаяся хромота.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк, — сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас, может быть, не болезнь ног. А у меня — именно ног. Промочил ноги, и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена, — сказал Перец. — С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист, — сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, гос-

пода?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя, — говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председательствующему. — Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых. А во-вторых — и в главных, — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех этих вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина... Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи... Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных мате-

риалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли... Диспуты, обучение во сне, стереокино... Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря. — Вырезать по дереву, писать стихи... Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье.

— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь...

— Не интересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме математики, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй... День проработаешь, до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое...

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей...

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием... Перец вот...

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной распивочной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное

расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений, — возразил товарищ секретаря. — Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции...

— Ну, знаешь, потенции — это дело темное. Я-то, вообще, с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, проявил ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнают только через двести лет... Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернется к нам черное лицо досуга...

— Ребята, — сказал кто-то, — а пожрать-то мы

с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут...

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!

— Ничего, потерпим, вон уже шлагбаум...

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!» Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изоляторов, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал шест с прибитыми к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ!», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ!». Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом отде-

лился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас, — сказал он сипло. — За деньгами?

— Точно так, — заискивающе сказал бывший председательствующий.

— Хорошее дело, доброе, — сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов. — Ох, сколько же вас, — сказал он с упреком. — А руки? Руки как, чистые?

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько, — сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Сколько везешь? Ага... Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу... Здорово, Вольдемар! Все ездишь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение. Ну-ну, ты не лайся, давай показывай... В порядке удостоверение, а то бы я тебя... Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой... Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже перепишу... Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами

пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешанные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а может быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ощупывание; он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступле-

ния, желтое, зеленое, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него мутило.

Глава шестая. Перец

Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока. До поры до времени...

— Ох, и хороша же эта баба — Рита, — сказал бывший шофер Тузик Перецу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл. — Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин... Внимательный

мужчина.

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им навстречу из-за руля.

— Ну, как она у вас тут? — спросил Стоян.

— Дышит, — сказал Квентин, внимательно разглядывая Переца. — Что, деньги привезли?

— Это Перец, — сказал Стоян. — Я вам рассказывал.

Рита и Квентин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматривать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчины, как Квентин.

— Здравствуйте, Перец, — сказал Квентин, продолжая жалко улыбаться. — Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?

— Я и сейчас не вижу, — сказал Перец. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны между собой.

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.

— Да вы не туда смотрите, — сказал Квентин. — Прямо смотрите, прямо! Неужели не видите?

И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной

картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул.

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарождался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой — живой, активной, пухнущей пузырями примитивной плотью, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющейся клейкой пеной... И сразу же, словно включились невидимые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: клокотание, плеск, всхлипывания, бульканье, протяжные болотные стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера — и только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора, но

сам он не стал надевать респиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши...

— Воняет тут у вас, — говорил Тузик с отвращением. — Как в покойницкой...

А Квентин говорил Стояну:

— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад...

А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких подвижных ноздрей.

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, и протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее...

— Перчик, — сказал Стоян. — Не выпучивайся так, глаза выскочат.

Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.

— А зачем ты мотоцикл взял? — спросил Квентин.

— На случай, если застрянем. Они ползут по

тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим — по траве, а мотоцикл будет идти сзади. Если завязнем, Тузик смотается на мотоцикле и вызовет тягач.

— Обязательно завязнете, — сказал Квентин.

— Конечно, завязнем, — сказал Тузик. — Глупая это у вас затея, я вам сразу сказал.

— Ты помалкивай, — сказал ему Стоян. — Твое дело маленькое... Скоро выход? — спросил он у Квентина.

Квентин посмотрел на часы.

— Так... — сказал он. — Она щенится сейчас каждые восемьдесят семь минут. Значит, осталось... осталось... Да ничего не осталось, вон она, уже начала.

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в

заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи...

— Тут же кругом трясина, — говорил Тузик. — Так врюхаемся, что никакой тягач не вытащит — все тросы лопнут.

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину.

— Рита устала.

— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим...

Квентин колебался.

— Ты как, Риточка? — спросил он.

— Да, я пойду домой, — сказала Рита.

— Вот и хорошо, — сказал Квентин. — А мы съездим посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян?

Рита бросила окурок и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Перецу тихонько:

— Разрешите мне... Пробраться...

Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку. «Стой! — закричал Тузик, приседая. — Куда?» Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку,

дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.

— Сволочь неуклюжая, — сказал Стоян Тузику. — Что же ты сделал?

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл кружило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым появлением его становилось все меньше, металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка расползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появлялся.

— Сглодала, — сказал Тузик с идиотским восторгом.

— Сволочь неуклюжая, — повторил Стоян. — Ты у меня за это заплатишь. Ты у меня всю жизнь за это платить будешь.

— Ну и ладно, — сказал Тузик. — Ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сто-

рону, — сказал он Перецу. — Вот он и вырвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тарахтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был... Так я пойду, — сказал он Стояну. — Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду.

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выражением, что Перец невольно отстранился.

— А чего? — сказал Тузик. — Куда хочу, туда и смотрю.

Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.

— А ну-ка, пустите меня, — сказал Квентин Перецу. — Я с ним сейчас поговорю.

— Ты куда, ты куда? — забормотал Стоян. — Квентин, ты опомнись...

— Нет, чего там — опомнись, я же давно вижу, чего он добивается!

— Слушай, не будь ребенком... Ну, прекрати! Ну, опомнись!..

— Пусти, говорят тебе, пусти руку!..

Они шумно возились рядом с Перецом, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина

за рукав и за полу куртки, а Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с Тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибал Переца пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него был полуоткрыт, глаза масляные, ласковые.

— И чего она в брюках ходит, — сказал он Перецу. — Манера теперь у них появилась — в брюках ходить...

— Не защищай его! — заорал в машине Квентин. — Никакой он не половой неврастеник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам!

— Вот раньше были такие юбки, — сказал Тузик мечтательно. — Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, возьму и расстегну...

Если бы это было в парке... Если бы это было в гостинице, или в библиотеке, или в актовом зале... Это и бывало — и в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима «Что необходимо знать каждому работнику Управления о методах математической статистики». А теперь лес видел все это и слышал все это:

похотливое сальце, облившее Тузиковы глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, и мучительное бормотание Стояна — что-то о работе, об ответственности, о глупости, — и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло... И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли или брезгливо морщился.

— ...! — сказал Тузик с наслаждением.

И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.

— Нельзя так, — сказал Перец твердо. — Нельзя это здесь. Нельзя.

— Так я и не возражаю, — сказал Тузик, пожимая плечами. — Я ведь только к тому, что мне здесь делать больше нечего, мотоцикла-то нет, сами видите... Что ж мне теперь здесь делать?

Квентин громко осведомился:

— По морде?

— Ну да, — с досадой сказал Тузик. — По скуле попал, по самой косточке... Хорошо, что не в глаз.

— Нет, в самом деле, по морде?

— Да, — сказал Перец твердо. — Потому что здесь так нельзя.

— Тогда поехали, — сказал Квентин, откидываясь на сиденье.

— Туз, — сказал Стоян, — полезай в машину. Если завязнем, будешь помогать выталкивать.

— У меня брюки новые, — возразил Тузик. — Давайте я лучше за баранку сяду.

Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали.

Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми — по пышному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением. «Сцепление сожжете», — сказал Тузик, а потом обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он мужчиной и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это безразлично... «Тебе по морде уже дали?» — спрашивал Квентин. «Нет, ты мне скажи, только не соври, дали тебе уже по морде или нет?» — спрашивал он время от времени, прерывая Тузика. «Нет, — отвечал Тузик, — нет, ты подожди, ты меня выслушай

сначала...»

Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На детей леса. А может быть, на слуг леса. А может быть, на экскременты леса... Они медленно и неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими, ни одна соринка не прилипала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой, привычной дороге. Их было сорок три.

...Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я наконец вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице, в своем голом номере с тремя необитаемыми койками, поздним вечером, когда не спится, когда все тихо и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь, в лесу, я мог бы придумать:

и русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана, — все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в Управлении, я могу придумать и представить себе, я мог бы оставаться у себя дома и придумать все это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слушая симфоджазы и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это ничего не значит. Увидеть и не понять — это все равно что придумать. Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе... Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен — тоской по пониманию.

Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло, оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею волнами двигались словно бы тени.

«Давайте поймаем одного, — предложил Квентин. — Это ведь совсем просто, закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию». — «Не стоит», — сказал Стоян. «А почему? — сказал Квентин. — Все равно когда-нибудь придется ловить». —

«Страшно как-то, — сказал Стоян. — Во-первых, не дай бог, он сдохнет, придется писать докладную Домарощинеру...» — «Мы их варили, — сообщил вдруг Тузик. — Мне не понравилось, а ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру; по мне, что кошка, что кролик — один черт. Брезгую...» — «Я заметил одну вещь, — сказал Квентин. — Число щенков — всегда простое число: тринадцать, сорок три, сорок семь...» — «Ерунда, — возразил Стоян. — Я встречал в лесу группы по шесть, по двенадцать...» — «Так это в лесу, — сказал Квентин, — они же потом расходятся в разные стороны группами. А щенится клоака всегда простым числом, можешь проверить по журналу, у меня все выводки записаны...» — «А еще однажды, — сказал Тузик, — мы с ребятами местную девчонку поймали, вот смеху-то было!..» — «Ну что ж, пиши статью», — сказал Стоян. «Уже написал, — сказал Квентин. — Это у меня будет пятнадцатая...» — «А у меня семнадцать, — сказал Стоян, — и одна в печати. А кого ты в соавторы взял?» — «Еще не знаю, — сказал Квентин. — Ким рекомендует менеджера, говорит, что сейчас транспорт — это главное, а Рита советует коменданта...» — «Только не коменданта», — сказал Стоян. «Почему?» — спросил Квентин. «Не бери

коменданта, — повторил Стоян. — Я тебе говорить ничего не буду, но имей в виду». — «Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял, — сказал Тузик. — Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили». — «Говорят, готовится приказ, — сказал Стоян. — У кого меньше пятнадцати статей, все пройдут спецобработку...» — «Да ну? — сказал Квентин. — Дрянь дело, знаю я эти спецобработки, от них волосы перестают расти и изо рта целый год пахнет...»

Домой, подумал Перец. Надо скорее ехать домой. Теперь мне уже здесь совсем нечего делать. Потом он увидел, как строй щенков нарушился. Перец сосчитал: тридцать два щенка пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево и вниз, где между деревьями вдруг открылось озеро — неподвижная темная вода, совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и смутные очертания скалы Управления на горизонте. Одиннадцать щенков уверенно направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли мас-

лянистые круги.

— Тонут, — сказал Квентин с удивлением. — Топятся.

Стоян достал карту и расстелил ее на капоте.

— Так и есть, — сказал он. — Не отмечено у нас это озеро. Деревня здесь отмечена, а не озеро... Вот написано: «Дерев. абориг. семнадцать дробь одиннадцать».

— Так это всегда так, — сказал Тузик. — Кто же в этом лесу по карте ездит? Во-первых, карты все враные, а во-вторых, и не нужны они тут. Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река, сегодня болото, а завтра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обнаружится склад.

— Неохота мне что-то дальше ехать, — сказал Стоян, потягиваясь. — Может, хватит на сегодня?

— Конечно, хватит, — сказал Квентин. — Перецу еще жалованье получить надо. Пошли в машину.

— Бинокль бы, — сказал вдруг Тузик, жадно всматриваясь из-под ладони в озеро. — Баба там, по-моему, купается.

Квентин остановился.

— Где?

— Голая, — сказал Тузик. — Ей-богу, голая. Совсем без ничего.

Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину.

— Да где ты видишь? — спросил Стоян.

— А вон, на том берегу...

— Ничего там нет, — сказал Квентин хрипло. Он стоял на подножке и обшаривал в бинокль противоположный берег. Руки его тряслись. — Брехун проклятый... Опять по морде захотел... Нет там ничего! — повторил он, передавая бинокль Стояну.

— Ну как это нет, — сказал Тузик. — Я вам не очкарик какой-нибудь, у меня глаз — ватерпас...

— Подожди, подожди, не рви, — сказал ему Стоян. — Что за привычка рвать из рук...

— Ничего там нет, — бормотал Квентин. — Вранье все это. Мало ли кто что болтает...

— Это я знаю — что, — сказал Тузик. — Это русалка. Точно вам говорю.

Перец встрепенулся.

— Дайте мне бинокль, — сказал он быстро.

— Ничего не видать, — сказал Стоян, протягивая ему бинокль.

— Нашли кому верить, — бормотал Квентин, постепенно успокаиваясь.

— Ей-богу, была, — сказал Тузик. — Должно быть, нырнула. Сейчас вынырнет...

Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий, заросший лесом берег, да силуэт скалы над зубчатой кромкой деревьев.

— А какая она была? — спросил он.

Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она была. Он рассказывал очень аппетитно и с большим азартом, но это было совсем не то, что хотел Перец.

— Да, конечно... — сказал он. — Да... Да.

Может быть, она вышла встречать щенков, думал он, трясясь на заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно двигаются Тузиковы уши — Тузик что-то жевал. Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и ступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеленые сумерки и поплыла навстречу щенкам, и сейчас уже встретила их на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то, и завяжется еще один узел событий в лесу, и, может быть, за много миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то: закипят между деревьями клубы лилового тумана, который совсем не туман, или заработает на мирной

поляне еще одна клоака, или пестрые аборигены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы никогда больше не вернуться... И все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движение сложного механизма, и все будет странно и, следовательно, бессмысленно для нас, во всяком случае, для тех из нас, кто еще никак не может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму. И он ощутил значительность каждого события, каждого явления вокруг: и то, что щенков в выводке не могло быть сорок два или сорок пять, и то, что ствол вот этого дерева порос именно красным мхом, и то, что над тропинкой не видно неба из-за нависших ветвей...

Вездеход трясло, Стоян ехал очень медленно, и Перец еще издали через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и выцвела, это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой доске, прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями: «ЗДЕСЬ ДВА ГОДА НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ УТОНУЛ РЯДОВОЙ ЛЕСОПРОХОДЕЦ ГУСТАВ. ЗДЕСЬ

ЕМУ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК». Вездеход, переваливаясь с боку на бок, миновал столб.

...Что же это ты, Густав, подумал Перец. Как это тебя угораздило тут утонуть. Здоровый ты, наверное, был парень, Густав, была у тебя обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, а татуировкой ты был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже колен, а на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной драке. И лесопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое, просто так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где сейчас Управление, положенный тебе срок, и бежать тебе было некуда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не думал, а думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и против тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходимости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато через десять лет тебе поставят памятник и, может быть, назовут твоим именем какое-нибудь кафе. Кафе будет называться «У Густава», и шофер Тузик будет там пить кефир и гладить

растрепанных девчонок из местной капеллы...

У Тузика, кажется, две судимости, и почему-то совсем не за то, за что следовало бы. Первый раз он попал в колонию за кражу почтовых наборов соответствующего предприятия, а второй раз — за нарушение паспортного режима. А вот Стоян — чист. Он не пьет ни кефира, ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его двадцатая статья, он предложит Алевтине руку и сердце и будет отвергнут, несмотря на свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский нос, потому что Алевтина не терпит чистоплюев, подозревая в них (не без основания) до непонятности утонченных развратников. Стоян живет в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и никогда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от спецобработки... Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как место, где можно укрыться.

Потом он немного пугает их, а потом они вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как в любом другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до старости... Вот Квентин, по слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без присмотра свою Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда никому не говорит — почему... Вот я и до Риты дошел... Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим... На биостанции все известно... Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне, бросают бутылки в озера — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в бильярд, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах,

а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще...

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ничего не понял, я ничего не нашел из того, что хотел найти, но теперь я точно знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, лес ничуть не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время...

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоян сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и снова кефир, и опять кефир, и еще, мо-

жет быть, по стаканчику? И так каждый вечер, много-много вечеров подряд...

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал:

— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь.

Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку.

— Вот здесь — сумму прописью, — сказал кассир. — Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Получайте...

Он стал отсчитывать бумажки.

— А где же остальные? — спросил Перец.

— Не торопитесь... Остальные здесь, в конверте.

— Нет, я имею в виду...

— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили?

— Я хотел узнать...

— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет?

— Да.

— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию?

— Да.

— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в Управлении до семи.

— Я хотел только спросить, — торопливо сказал Перец, — где все остальные люди... Ким, грузовик... Ведь меня обещали отвезти... на Материк...

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я закрою окошко.

— Я не займу много места, — сказал Перец.

— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть.

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное, захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, а другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь грязное стекло, затем охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене вин-

товке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас.

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан.

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины.

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю, видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.

В лесу кричали страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко сказал: «Ну и духота здесь у тебя». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. Пешком, думал Перец. Надо пешком. Двадцать километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон...

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Они остановились посреди двора, и Перец услыхал, как охранник бормочет: «На вот, на... Да ты не жри, дура, ты нюхай... Это же тебе не

колбаса, это плащ, его нюхать надо... Ну? Шерше, говорят тебе...» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — сказал охранник с досадой. — Тебе только блох искать... Пшла!» Они растворились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перецу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжко вздохнул и положил тяжелую голову Перецу на колени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиола. Волкодав молча шарахнулся и ускакал прочь.

Радиола неистовствовала, на много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиолы. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, широко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, свирепея на глазах, а потом плюнул,

нырнул обратно в кабину, снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную, как комната, и пока он пристраивал чемодан, пока усаживался и искал сигареты, Вольдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но только когда радиола вдруг замолчала, Перец наконец услышал его голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался черными словами.

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, словно к его лицу прижали маску с эфиром.

Глава седьмая. Кандид

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Деревня была треугольная, и большая поляна, на которой она стояла, тоже была треугольная — обширная глиняная проплешина без единого куста, без единой травинки, словно выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев.

— Не нравится мне эта деревня, — заявила Нава. — Здесь, наверное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил Кандид. — Может быть, это Глиняная поляна?

— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут... А здесь смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятишек, хотя ребя-

тишки, может быть, уже спать легли... И почему это тут людей не видно, Молчун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится...

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят, и очень хочется под крышу. И поесть что-нибудь. И ночь наступает... Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава устала, висит на руке и не отпускает.

— Ладно, — сказал он нерешительно. — Давай не пойдем.

— «Не пойдем, не пойдем...» — сказала Нава. — А когда мне есть хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра ничего не ела... И воры твои эти... От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой туда спустимся, поедим, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. Ночь сегодня теплая будет, без дождя... Пойдем, что ты стоишь?

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с

землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белой стены.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Кандид. — А утром нам нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло. — Это вы молодцы, хорошо сделали... Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось... — Он еле выговаривал слова, словно засыпал. — А работать нужно. Очень нужно работать... Очень...

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид.

— У нас сейчас... — Человек произнес несколько слов, которые показались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда их раньше не слыхал. — Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик... — И он опять заговорил непонятно, странно.

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку, стараясь хоть рассмотреть его получше. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое... — сказал человек.

Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито. — Ты поняла, что он там бормочет?

— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом спросила Нава. — У него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету... — Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он — как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. Все в этом доме было непривычное, не было постелей, не было запахов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети тут не кричат, и на улице

никого нет.

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Странно он как-то говорил, — сказал Кандид. — Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь... А когда, где — не помню...

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, потому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоящему.

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестели.

— Спит, — сказал Кандид, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит, — сказала Нава, — когда он смотрит?

Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Кандид. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала.

Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и почти в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные потные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раскатисто бурчало в животах, они не просыпались, но каждый раз, когда Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами.

Совсем стемнело, в просветы между ветвями проглядывало пепельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко похоже на декорации в хорошем театре. Но он чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жестком утоптанном

полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал ей Кандид. — Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонно.

— Я говорю: не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, все люди уже лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим...

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услыхал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стену, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь... Ну, всего одну ночь... И дорогу спросить... Днем-то они не спят... В крайнем случае — на болото, воры ушли... А если и не ушли... Как там ребята на Выселках?.. Неужели опять послезав-

тра?.. Нет уж, завтра... Завтра...

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители — им просто незачем так стоять — и как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Этингоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этингоф, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не вернулся и был отдан в приказ как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное

безбородое лицо, решительно ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и, когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болезненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, потому что низко над деревней висело лиловое светящееся небо, все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем ненастоящими, а наискосок на другой стороне улицы возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было. Кандид тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пустота. «Карл, — бормотал он, шатаясь, — Карл, вернись!» Он повторил эти слова несколько раз, а потом в

отчаянии громко выкрикнул их, но никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза, и почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, может быть потому, что больше кричать было негде. «Где Нава? — закричал он. — Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит. Ведь плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда, но он знал также, что для *них* это никакой не подвиг, а совершенно естественная, нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках

дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут.

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз он уловил полузнакомое слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас...» И еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины, и мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный

человек, потому что он знал, что такое «надо», потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, вскинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше, продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая

трава, сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения оттого, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слыхала раньше такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи, — сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. Хиазма, вспомнил он. И сразу заснул.

Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказ Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на Материк. Но он подумал, что это ему снится.

Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб левой руки,

а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном полураскрытом кулачке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно.

— Что это такое, Молчун? — сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь... Или это,

может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все какое сухое, — может быть, оно здесь выросло.

— А почему — страшная? — спросил Кандид.

— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки... Ты попробуй, попробуй возьми, тогда и будешь знать, почему страшная... Я сама не знаю, почему страшная...

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его холодил, и, осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Кандид.

— Да нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких... такого... Я даже не знаю, как это назвать. Наверное, это все-таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный... А может быть, мы спим еще с тобой, Молчун? — Она вдруг запнулась и посмотрела на Кандида. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же, там еще человек был

без лица, и он все думал, что я — мальчик... А мы искали, где поспать... Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он мне залез в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун, я совсем его тогда не боялась, даже наоборот... Он мне даже был для чего-то нужен...

— Все это был сон, — решительно сказал Кандид. У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила Нава, заглядывая ему в лицо. — Куда это ты смотришь?

Кандид отстранил ее.

— Это был сон, — строго повторил он. — Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.

— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Нава. — Что-то я должна была сделать... — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, Молчун, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты его поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает... Хорошо бы сверху камень на

него положить потяжелее... Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. — Она потянула носом воздух. — Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу.

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую груду ягод и несколько крупных грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее... А пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться, мне там сразу

не понравилось, правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходить не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай крошенку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она понимала, а я вот не понимала...

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых местах. Очень хорошая дорога, говорил Колченог с сожалением, самая прямая дорога до Города, только не добраться нам до нее через трясину-то, вот беда... Врал.

Врал хромой. И по трясине ходил, и в Городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться...

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они поели.

— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это что с тобой никогда не договоришься по-человечески... И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда быстрее попасть в Город.

— Почему — в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки!

— Пойдем уж прямо в Город, — сказал Кандид. — Не могу я больше.

— Ну хорошо, — сказала Нава. — Хорошо, пойдем в Город, это даже лучше, чего мы не видели

на этих Выселках? Пойдем в Город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню... Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась...

— Я бы тоже, — сказал он. — Но придется. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел, да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня, — по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теплого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, навстречу тихой странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте.

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только ты не думай, — заявила она, — я с этими людьми разговаривать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если

он мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю почему...

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула.

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности воды, может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, подумалось ему, это макет, он стоял, всеми забытый и запылившийся, а потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало...

Плавно прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой

словно пронесся легкий вздох, по ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и безжизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин.

— Я знаю, как это называется, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид поглядел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна. — Это называется Одержание, — сказала она. — Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жили в домах, могут остаться и жить в озере, теперь тут всегда будет озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого никто не знает... Может быть, искупаемся? — предложила она.

— Нет, — сказал Кандид. — Я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем.

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машинка в лабиринте... Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принюхивается... А потом в маленький

бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принюхиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы... и машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто, когда мы ошибаемся, необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть, — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, даже философствовать могу...

— Вот она, твоя тропа, — сердито сказала Нава. — Иди, пожалуйста.

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг сухо, неприятно... Ничего, пусть посердится. Пока сердится — молчит, и на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Странная какая-то тропа, словно она не протоп-

тана, а выкопана...

Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась по склону холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бессвязным мыслям, и скорее даже не мыслям, а представлениям.

...Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным (а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, если подумать, зачем ему рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбки наловить, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой... Но вот зачем он тогда все время про Город спрашивал? Не-ет, не

в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется...

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в Город, Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел... Один вот тоже, шерсть на носу, уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали...

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне? Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь-ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала:

— И еще жил в этой нашей деревне один муж-

чина, которого звали Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал, почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену... Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали... Еще он все спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет... А тот знай все твердит: почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему, говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержа-

ние произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает: а почему же у нас Одержание не происходит так долго? Да что тебе это Одержание, спрашивает Кулак, что ты без него — соскучился? Не отстает Обида-Мученик. Измотал он Кулака, закричал Кулак громко на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старосте жаловаться, староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали... И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и наконец не выдержал: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и больше уже не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали созревшие дурман-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку,

но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями, — и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало — бредить.

— ...Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили, вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось. Много он чего подобрал, а потом, рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет и как... Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал — вырастет. Но ничего у него не выросло, не взошло даже, и опять он стал ходить по деревне и спрашивать: почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже и не взошла... Он и к тебе много приставал, жить тебе не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то, вроде как

тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за Тростники ходили — и Кулак, и Хвост, и сам староста даже ходил, — надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли... Тогда меня к тебе и приставили. Выхаживай, говорят, как можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — ровное, без моха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда...

— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это... Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем и посмотрим... — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило с плесенью... Вон они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи, — сказал Кандид, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему еще не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек, и слизни были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них.

Скоро они оказались совсем близко — белые, блестящие, и Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочи-

ну, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок, но Кандид поймал ее за одежду.

— Так они же такие потешные! — сказала Нава. — И так ползут, будто люди идут по тропинке... И куда это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи, — сказал Кандид. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, а я большой

и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их, и теперь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, обо мне не помнят. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы, или залетит безмозглая бабочка. Или муха станет биться в стекло... А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами... Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и... как это сказать... жалостно... жалко... Как будет правильно...

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну хорошо, думал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может быть, подумал он спокойно. Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться о стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось *это*, уже не бился о стекло. А странно будет,

когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции...

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону.

— Не пойдем туда, — сказала Нава, — это вверх, а я пить хочу.

Тропа становилась все у́же, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, чего-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды...

— Но ведь вода там есть? — спросил Кандид. — Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь...

— Вода есть, — неохотно признала Нава. — Но теплая. Плохая вода. Нечистая... Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слыхать, так ты шумишь, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше даже посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую, ватную тишину, царившую здесь. Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лукавой деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна. Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр... Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно...

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела рядом и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя мне, может быть, тоже

привиделось...

— Пойдем посмотрим, — сказал Кандид.

Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплая, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые тела, запрокинутые лица, — люди не плавали, люди лежали на воде, как на пляже. Кандида передернуло. «Уйдем отсюда», — прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ничего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились... Очень это страшно, Молчун, — сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется... А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваива-

лась, и остановились.

— Теперь вверх? — спросила Нава.

— Да, — сказал Кандид. — Теперь вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?

— Да, — сказал Кандид.

— Вот это самое страшное, вот это я никак не могу понять. А может быть... — Нава посмотрела на Кандида. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят... Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю, — сказал Кандид.

Глава восьмая. Кандид

Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремля-

лись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпа́лись самые невероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие не то звери, не то насекомые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией... Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гиппоцет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес,

оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

...Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и есть Город, может быть, это они и называют Городом. Да, наверное, это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность... Я ждал чего-нибудь в этом роде... Ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно не способен их связать... Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос: почему из тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности... Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне помогли преодолеть тысячу километров леса.

Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти... У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немного приободрился: получалось вполне связно. Начнем с самого начала. Все продумаем спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди... А почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне. Я его даже два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства...

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

...Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то... Высокая температура... Да нет, ерунда... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков.

Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. «Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим», — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь я пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю... Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, про мертвяков, Великое Разрыхление Почвы, озера с утопленниками... Оказывается, все это обман, всё опять переврали, никому нельзя верить... Я надеялся, что в Городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об Управлении. Даже Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? Да и не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах: они были слишком слабы, они

не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать... Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома... Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево и если это будет подходящий сезон, только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию... Биостанцию?.. Би-о-стан-ци-ю... Он забыл, что такое биостанция.

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы.

Кандид равнодушно растер их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы — значит, все это вранье, значит, ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел...

Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился. Мертвяков даже гиппоцеты боятся, подумал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?.. Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи — ревут. Осы ревут...

— Мама!.. — прошептала вдруг Нава. — Мама идет...

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему

показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар их тел.

Трое, подумал он. Трое... Хватило бы и одного. Он смотрел на мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь. — Уходите! Мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие — без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я. Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха?.. Остановись, говорил он себе, остановись же! Сколько можно пятиться?

Он не мог остановиться. Там же Нава, думал он. И эти три дуры. Толстые, сонные, равнодушные дуры... И Нава... А какое мне до них дело, думал он. Колченог бы уже давно удрал на своей ноге, а Кулак и подавно. А я должен остановиться. Несправедливо. Но я *должен* остановиться! А ну, остановись!.. Он не мог остановиться, и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и ненавидел себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще пятясь, оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холм. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, вора... А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно хватать и тащить куда-то, куда приказано, и из-под ног их, как дым жертвенного

огня, поднимались столбы пара.

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло после предсмертного напряжения.

— Бегите, — сказал он еще издали. — Бегите, пока не поздно, что же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал машинально бормотать: — Мертвяки здесь, бегите, я задержу...

Они не обратили на него внимания. Не то чтобы они не слышали или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо, — но он ничего не значил для них, словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.

— Почему вы не бежите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили.

— Ай-яй-яй, — говорила беременная женщина, смеясь и качая головой. — И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать? — спросила она девушку.

— И я нет. Милая моя, — сказала она Навиной матери, — и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался потом?

— Неправда, — сказала девушка. — Он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...

— Как лилия, — подхватила беременная женщина. — От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки... А ты успела сказать «ах»?

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбнулась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди.

— Где уж вам, — сказала мать Навы с деланным пренебрежением. — Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные...

— Ничего, — сразу сказала беременная. — Откуда нам это знать? Поэтому мы тебя и спрашиваем... Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула.

— Вот-вот, — сказала беременная. — Плод до-

вольно сладок, хотя и плохо вымыт...

— Ничего, мы его отмоем, — сказала мать Навы. — Ты не знаешь, Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?

— Корень был горек, — сказала беременная девушке. — Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слушай, милая, ведь он тебе снится?

— Не остроумно, — сказала мать Навы. — И тошнотворно...

— Разве мы острим? — удивилась беременная женщина. — Мы просто интересуемся.

— Ты так увлекательно рассказываешь, — сказала девушка, блестя зубами. — Расскажи нам еще что-нибудь...

Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что она задета, и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере, — сказала мать Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздражением.

— О нет, — сказала та. — Но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь, — она похлопала себя ладонью по животу, — родится в озере. Вот и вся разница.

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг Нава. — Сама на себя посмотри, на что ты похожа, а потом привязывайся! А то я скажу мужу, он тебя как палкой огреет по толстой заднице, чтобы не привязывалась!..

Женщины, все трое, расхохотались.

— Молчун! — завопила Нава. — Что они надо мной смеются?

Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — с удивлением, беременная — равнодушно, а девушка — непонятно как, но, кажется, с интересом.

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы.

— Это мой муж, — сказала Нава. — Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас...

— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная женщина. — Не выдумывай, девочка.

— Сама не выдумывай, — сейчас же сказала Нава. — Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю.

А то лезет, как старик, без спросу, без разрешения...

— Ты что, — сказала беременная женщина Кандиду, — ты что, действительно муж?

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом. Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней.

— Да нет, конечно, — сказал он. — Какая она мне жена. Она мне дочь... — Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее любит и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает.

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками.

— Я так и знала, — простонала она. — Это не ее муж... Это вон ее муж! — Она указала на мать Навы. — Это... ее... муж! Ох, не могу!

На лице беременной появилось веселое изумление, и она стала демонстративно внимательно оглядывать Кандида с ног до головы.

— Ай-яй-яй... — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала:

— Перестаньте! Надоело, наконец! Уходи отсюда, — сказала она Кандиду. — Иди, иди, чего

ждешь? В лес иди!..

— Кто бы мог подумать, — тихонько пропела беременная, — что корень любви может оказаться столь горек... столь грязен... волосат... — Она перехватила яростный взгляд матери Навы и махнула на нее рукой. — Все, все, — сказала она. — Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача...

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать. — Или мы будем заниматься болтовней?

— Я иду, не сердись, — сказала девушка. — Сейчас как раз начнется исход.

Она кивнула, и снова улыбнулась Кандиду, и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Паучий бассейн еще не очистили, — сказала беременная женщина озабоченно. — Вечно у нас неразбериха со строителями... Как же нам быть?

— Ничего, — сказала мать Навы. — Пройдемся до долины.

— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести почти взрослого человека до

самой долины, когда у нас есть свой бассейн.

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась.

— Ты бы села, — сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами.

Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал: мертвяка больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.

— Скоро уже, — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги. — Скорее бы...

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала смотреть ей в глаза.

— Выросла, — сказала она. — Одичала. Рада?

— Ну еще бы, — сказала Нава неуверенно. — Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела. А это Молчун, мама... — И Нава принялась говорить.

Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное,

просто незнакомое ему еще, но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, думал он. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Он посмотрел на мокрые волосы женщин. Значит... И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, он что-то спрашивает.

Мать сказала Наве:

— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу... Что ты говоришь? — спросила она беременную женщину.

— Этот козлик, — сказала та. — Он чего-то хочет.

Мать Навы посмотрела на Кандида.

— Что он может хотеть? — сказала она. — Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непонятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают.

— Козлик, — сказала беременная женщина.

— Бедный козлик хочет травки. Бе-е-е! А ты знаешь, — обратилась она к Навиной матери, — это ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых.

— Мама, — сказала Нава, — что ты на него так нехорошо смотришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он еще не обиделся, я бы на его месте давно обиделась...

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая что-то внушала Наве, и как шевелятся губы беременной женщины, которая обращалась к нему, и выражение лица у нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих.

— ...только очень уж грязненький, — говорила беременная женщина. — И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смотреть на холм.

Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело и то и дело валились с ног, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их, подталкивала, и они один за другим поднимались с четверенек, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес.

...Хозяева, твердил Кандид про себя. Хозяева. Не верю. А что делать? Он посмотрел на Наву. Нава спала. Ее мать сидела на траве, а она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку.

— Какие-то они все слабые, — сказала беременная женщина. — Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются... С такими работниками Одержание не закончить.

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слухача. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я здесь стою, думал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева... Он не мог вспомнить. «Стою и все, — сказал он со злостью вслух. — Не гонят больше, вот и стою. Как мертвяк». Беременная женщина мельком глянула на

него и отвернулась.

Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «...Очевидно, не хватает... Запомни, девочка... Слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка... Надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» — «...холм... сухость и пыль... — говорила девушка, — ...лес останавливается... этого я еще не знаю... А вы мне рассказывали совсем по-другому...» — «...а ты попробуй сама, — говорила мать Навы, — ...это сразу заметно... Попробуй, попробуй!»

Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то напряженным. Рукоед покачивался на

неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ладони в коленки. Рукоед затрясся и вдруг упал, распластав лапы, словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины засмеялись. Мать Навы сказала: «Да перестань ты, почему ты нам не веришь?» Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись, он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону: «Дрянь какая...»

— Чистить надо, чистить, — сказала беременная женщина, поднимаясь. — Займись, откладывать

не стоит. Ты все поняла?

Девушка кивнула.

— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.

Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.

— Славная подруга, — сказала беременная женщина. — Молодец.

— Управлять она будет, — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. — Характер у нее есть. Ну что же, надо идти...

Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла над ним и делала что хотела. Такая милая, такая нежная, ласковая... Даже пальцем не притронулась... К этому тоже надо привыкнуть? Да, подумал он. Надо... Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут, спящую, в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться

вслед за ними, догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же только робот, слуга. А я молодец, подумал он вдруг, ведь это я сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это не важно, важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил — сам... У меня мозг, понятно? — сказал он беззвучно, глядя в спины женщин. Нечего вам особенно... Я тоже кое-что могу.

Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло, они смеялись. Они шли по лесу и смеялись. Словно шли по деревенской улице на посиделки. А вокруг был лес, а под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава, в такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась... Беременная женщина мельком оглянулась, увидела Кандида и рассеянно ска-

зала ему:

— Ты еще здесь? В лес иди, в лес... Зачем за нами идешь?

Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать... Нет, не то... Нава! — вдруг вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит к хозяевам. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожаю Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы... Опять все переврали, все перепутали... Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти так же давно, как биостанция... Био-станция... Он едва плелся; если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно раскачиваясь, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он.

На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик... — Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы. — Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев!

— Они гниют там заживо, — сказала мать Навы задумчиво, — они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте... А в общем-то, пусть идет, для Разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно... А может быть, он защищен? Ты защищен? — спросила она Кандида.

— Я не понимаю, — сказал Кандид упавшим голосом.

— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?

— В этом мире все возможно, — сказала мать Навы. — Я слышала о таких вещах.

— Это болтовня, — сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида. — А ты знаешь, — сказала она, — пожалуй, от него было бы больше пользы здесь... Помнишь, что вчера говорили Воспитательницы?

— А-а, — сказала мать Навы. — Пожалуй... Пусть... Пусть остается.

— Да, да, оставайся, — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. — Ты оставайся, Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая... Наверное, это от жары...

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловатое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись, потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун?

— Он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж...

Обе женщины поморщились.

— Пойдем, пойдем, — сказала мать Навы. — Ты пока еще ничего не понимаешь... Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, они ошибка... Да пойдем же! Ну хорошо, потом придешь к нему... если захочешь.

Нава сопротивлялась, наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид, — что они расстаются навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди! Слышишь? Жди!..

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную жен-

щину:

— Что вы с нею сделаете?

Она все еще внимательно разглядывала его.

— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она. — Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже... Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так...

— А что вам нужно? — спросил Кандид.

— Что нам нужно... Мужья нам, во всяком случае, не нужны. — Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. — Не нужны, не нужны, успокойся... Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов... — Она говорила, не думая; вернее, она думала о чем-то другом. — На что же ты еще годен?.. Скажи мне, козлик, что ты умеешь?

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властностью, что-то важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами — такими же равнодушными и властными.

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная.

— Что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Кандид.

— Может быть, ты умеешь управлять?

— Умел когда-то, — сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым Скалам, а ты ко мне привязываешься... Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким грязным глупым козликом.

— Умел когда-то... — повторила она. — Прикажи этому дереву лечь!

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда убей это дерево... Тоже не можешь? Ты вообще можешь делать живое мертвым?

— Убивать?

— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?

— Я не понимаю, — сказал Кандид.

— Не понимаешь... Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, если ты даже этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь

делать?

— Не умею.

— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал в лес? Просто жрал и поганил женщин?

— Я изучал лес, — сказал Кандид.

Она строго посмотрела на него.

— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все равно что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, то так и скажи.

— Я действительно изучал лес, — сказал Кандид. — Я изучал... — Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом.

— Ты опять лжешь, — терпеливо сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Кандид. — Нужны только... — Он опять замялся. Микроскоп... Линзы... Приборы... Это не передать. Это не перевести. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных.

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина. — Я вижу, вы там впали в распутство

с вашими мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина... Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях?

— Может быть, — сказал Кандид. — Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде... Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут...

— А на Белых Скалах они другие, — саркастически сказала женщина. — Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты... Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда...

— Я пойду, — сказал Кандид устало. — Я пойду, прощай.

— Нет, погоди... Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце концов, он пришел сам. Такие случаи

бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным... Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? — сказала она. — Отдам-ка я тебя Воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи... К Воспитательницам его, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и неторопливо, вперевалку ушла в тростники.

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений: призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни

травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и, когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, потянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

Глава девятая. Перец

Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую — он никак не мог

понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать, на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Всем сотрудникам...» Прожектора перестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув поперек что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что

они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло, как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для ловли бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк на

его башне открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перецу: «Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение...

— Бумаги ваши попрошу, — сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.

— Что? — сказал Перец.

— Документики. Приготовили?

Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди на облезлой металлической цепочке.

— Какие бумаги? Какие документы? Зачем?

— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в руке в развернутом виде, как в музее...

Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:

— Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много... — Он вернул удостоверение.

— Что происходит? — спросил Перец.

— Что полагается, то и происходит, — сказал старик, внезапно посуровев. — Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять дробь Пегас. То есть побег.

— Какой побег? Откуда?

— Какой полагается по положению, такой и побег, — сказал старик, начиная спускаться по лестнице. — Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.

— Хорошо, — сказал Перец. — Спасибо.

— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара. — Я тебе покажу — документики! Во, понюхай! Понял? Ну и катись отсюда, если понял...

Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно. Но к чемодану я больше не прикос-

нусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.

— Черт меня дернул, — сказал Вольдемар. — Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматишки сгоняю партию... Только это я нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили... Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо... Я — «е-4», он — «цэ-6»... Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось... У вас сигаретки нет, пан Перец?

Перец дал ему сигарету.

— А что за побег? — спросил он. — И куда мы едем?

— Побег самый обыкновенный, — сказал Вольдемар, закуривая. — Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ всем ловить. Вон, ловят...

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.

— Каждый год такая петрушка, — говорил Вольдемар. — У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу — и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как... А

кто поумней, тот просто бегает и кричит что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого...

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец.

— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой кавардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посмо́трите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж наверняка... Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилось — спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное... Ну и я там был. Баня же, думаю... Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают...

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева,

там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.

— Я только не понимаю, — сказал Перец. — Как же мы будем ее ловить, мы ведь даже не знаем, что она такое... Маленькая она или большая, темная или светлая...

— А это вы скоро увидите, — пообещал Вольдемар. — Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место... Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево... Вон склад техники, а нам, значит, надо правее...

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на равнине.

...Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатушке. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся

в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем раньше она только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...

— А!.. — сказал Вольдемар с удовлетворением. — Вот она, милая. Вот она, родимая...

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услыхал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.

— Вот это по-нашему, — сказал Вольдемар. — Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь. — Тут еще кто-то есть, — сообщил он и заорал: — Эй, друг! Как дела?

— Порядок! — донеслось снаружи.

— Поймал?

— Насморк поймал! — донеслось снаружи. — Унд пять головастиков.

Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в

кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны.

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь, — гостеприимно сказал он. — Пока утро наступит, пока тягач доползет...

— Спасибо, — покорно сказал Перец.

— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар.

— Нет-нет, — сказал Перец. — Пожалуйста...

Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:

Тоске моей не вижу я предела,
Один брожу безумно и устало,
Скажи, зачем ко мне ты охладела,
Зачем любовь так грубо растоптала?

Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.

...Теперь с другим ты радуешься жизни,
А я один, безумный и усталый.

Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.

— Эй, друг! — донеслось снаружи. — Закуски нет?

— А что? — закричал Вольдемар.

— Имеется кефир!

— Я не один!

— Валите все! На всех хватит! Запаслись — знали, на что идем!

Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.

— А что? — восхищенно сказал он. — Пошли? Кефиру выпьем, может быть, в теннис сыграем... А?

— Я не играю в теннис, — сказал Перец.

Вольдемар крикнул:

— Сейчас идем! Только лодку надуем!

Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, царапанье ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готово, господин Перец! Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности

жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.

...В старом ржавом бронеавтомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлюпала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все были в ночном белье и чесали пятерней волосатые груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубахе, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел, а иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался...», и его с гоготом подсаживали обратно...

— Нет, — сказал Перец, — спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо... да и зарядки я еще не делал.

— А, — сказал Вольдемар с уважением, — тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы, как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем... Мандолину бы мне только.

Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть

и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневику, загремел кулаком по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнишней позеленевшей

колбасой...

Броневик вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчива!..» Броневик снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.

Напущу я на вас неотвязные лозы, подумал Перец, и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут...

...Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны лилового тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах разверзались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставали на бетонных взлетных площадках перед битком

набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемешку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все были бы только испуганы и приняли бы уничтожение как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик, как паук, бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы...

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укрытие!» И кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-койкам!» И раздались ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.

Перец перелез в кузов и долго шел к заднему

борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотрицания. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал авто-

биографии в трех экземплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк, и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отва-

ливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода попортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?», и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И представив себе все это, он, не останавливаясь,

свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, и не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, в тепле, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.

Хорошо бы здесь остаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы — испорченные машины или плохо отлаженные.

...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий-Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушечкой... Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... Девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... Они плачут... плачут!.. над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому

что я... Потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...

Я тоже этого не хочу, подумал Перец. Но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ей шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках...

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то наверху добродушный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда

даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный тонкий голос. — Мне все надоело. Всегда одно и то же: железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки!

— Взяла бы да переменила место, — проскрипел издали какой-то сварливый старик.

— Легко сказать — перемени место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо, — сказал рассудительный бас. — А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получить новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...

— Отставить! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами...

Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять — какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, — проворчал Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб.

Однообразная работа — это тоже работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, — я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но если я и прибежала сюда, к

вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей... — Она всхлипнула.

— Н-ну... — пробасил Винни Пух. — В общем-то, да... Конечно... Только... Гм...

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый. — Девочка права... Настоящей работы нет...

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито проскрипел старик. — Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным карие-

сом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал... Я кончаю проектирование вертолета, и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — проскрипел старик. (Гнусный такой тряпичный старикашка, не то гоблин, не то астролог, в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...

— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой — я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. Ясно? Повторите!

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь...

— Они несомненно существуют, глупая вы истеричка! — проскрипел Астролог. — У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни... или средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад...

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. — Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешают беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае,

стоит кому-нибудь дать ха-ароший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему, собственно, и нет? — сейчас же взъелся Астролог. — Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не испрашивая у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бесшумно, переменил позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно

больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело...

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. — Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку возле деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник, но Астролог не слушал его.

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах,

обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рваную рану на животе...

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. — Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна, если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала.

— Ч-что? — спросил Винни Пух растерянно.

— Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить!

Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мягким голосом произнес Астролог. — Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный ожог третьей степени...

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! Какая печаль!..

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически...

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеренный и скучный. — Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— Доминантный в данном контексте означает превалирующий, — пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и

спросил: «Ну?»

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся, — загомонили машины.

— В таком случае, принимая существование связи как аксиому, либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и они мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», — проскрипел вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила, — пропищала кукла

Жанна. — Так приятно: новые цифры...» — «И что это у меня питание барахлит? — проворчал Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» — «Ничего у меня нет», — отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь даже думать боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он по-

мчался из последних сил, не чувствуя под собою земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замершие лица, но он все старался не отстать от длинноногого человека номер 14, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь, Перец... Можно дышать ртом... Глубже, глубже, но не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание, приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пущу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой,

как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «ФИНИШ», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «ГЛ. СУДЬЯ» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме, — бубнил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

— ...Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше заняться спортом.

— То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, вы заблуждаетесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...

— А чья это затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!..

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он

представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силятся понять, какая существует связь между ними и деятельностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источниками терпения, уже готово иссякнуть...

В коттедже Кима было темно, плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал сарай, и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках и с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Пе-

рец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:

— Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю, — сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

В самом деле, почему? — подумал он. Наверное, потому, что мне было все равно.

— Мне было все равно, — сказал он.

— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздь — белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду, и как сначала это очень больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. «Буду сегодня

спать в ванне, — подумал он. — А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды».

— Иди сюда, — позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости — и, прихрамывая, пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высыпа́ла в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах...

Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбить воду и мыло,

и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?

— Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не ваш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно ваш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина. — Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать, — сказала она. — Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что — лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договориться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, по-

этому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянешь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу.

— Милый, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечешься, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истеричную куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала, видимо, смотрела в окно.

— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...

Глава десятая. Перец

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ледяное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие бездонную глубину, — и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые болота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев.

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управления здесь не чувствуется, вокруг дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то пташка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно

далеко, и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее не было вовсе.

Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

Во всяком случае, подумал Перец, я каждое утро смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить кефир — наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине, есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираться директорским полотенцем, запахиваться в директорский халат и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за

жалованьем и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес — издали, и кидать в него камушки — тоже издали, и когда-нибудь как-нибудь что-нибудь произойдет...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарощинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и ясно было, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он способен.

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился, прижимая папку к бедру. — Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо.

— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, — сообщил Домарощинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — ноль баллов. — Он неслышно приблизился, держа руки по швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубль-вэ сегодня равно шестнадцати...

— Какое дубль-вэ? — спросил Перец, поднимаясь.

— Число пятен, — быстро сказал Домарощинер. Глаза его забегали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с... — Он замолчал, пристально глядя Перецу в лицо.

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения, — быстро сказал Домарощинер. — Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность... гм... ветер и... О противостояниях тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо?

Домарощинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют... так сказать, немедленного... вашего личного... — Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — Прикажете доложить?

— Знаете что... — сказал Перец угрожающе.

— Да-да? — сказал Домарощинер. Не выпуская папки, он стал поспешно шарить по карманам словно бы ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия.

Дурак и дурак, подумал Перец, стараясь взять себя в руки. Что с него взять?

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? Глупо и нисколько не остроумно.

— Да-да, — сказал Домарощинер. Изогнувшись, придерживая папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте. — Одну секунду... Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарощинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатого июня... Время: семь сорок пять... Место: над обрывом...» Но это — предварительно... Это черновик...

— Слушайте, Домарощинер, — сказал Перец с раздражением. — Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? Хватит, надоело! (Домарощинер строчил.) И шутка эта ваша глупая, и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек... Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тьфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел

он, — что вы везде крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие... Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели...

Он выпрямился и увидел, что Домарощинер стоит по стойке смирно, и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу... — пробормотал Домарощинер, всхлипывая.

— Чего не можете?

— Зарядку... Печень у меня... Справка... И умываться.

— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не можете и не надо, я просто так сказал... Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите вы меня, ради бога, неприятно же это... Я против вас ничего не имею, но поймите...

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы на его щеках мгновенно высохли. — Никогда больше!

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарощинер ломился следом. Паяц старый, подумал Перец. Юродивый...

— Весьма срочно, — бормотал Домарощинер,

тяжело дыша. — Только крайняя необходимость... Ваше личное внимание...

Перец оглянулся.

— Какого черта! — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удушья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом.

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденея от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же!

Домарощинер помотал головой и что-то промычал. Перец расстегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка. Всякое уже, кажется, бывало, лихорадочно думал он, но это

уж совсем... Это они уже сговорились... Бежать, бежать надо! Только как бежать? Он вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова оказался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижимал к груди.

— Не сюда изволите... — прохрипел он. — Умоляю... в кабинет... невыносимо срочно... притом интересы субординации...

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, заглох, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строиться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул...

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда Перец побежал к зданию Управления. Ким, думал он лихорадочно, Ким не позволит... Неужели и

Ким?.. Запрусь в уборной... Пусть попробуют... Ногами буду бить... Теперь все равно...

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двусветные залы, мимо охранников в парадной форме при орденах, по вощеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света тупик, к гигантской кожаной двери с табличкой «ДИРЕКТОР». Дальше бежать было некуда.

Домарощинер догнал его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие

чужого существования.

— Здравствуйте, — сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполинской картине, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. Сейчас умрет человек, подумал Перец. Но Домарощинер не умер.

— Необычайно срочно... — просипел он, задыхаясь. — Без визы директора невозможно... личной... никогда бы не осмелился...

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас... — просипел Домарощинер. — Без вашей визы... отнюдь...

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных

телефонов, а справа тома в тисненных золотом переплетах, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза Домарощинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... Так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну хорошо, пусть будет так...»

— Не трясите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарощинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги, и он прочитал слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, и Домарощинер был уже около дверей и пятился, наклонив корпус и держа руки по швам, — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарощинер замер. — Вы можете убить человека? — спросил Перец.

Домарощинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарощинер.

— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову.

Домарощинера не стало. Перец откашлялся и потер щеки.

— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и прочитал то, что было записано на сегодняшний день. Почерк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгруппами 9.30. Осмотр ноги 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пилящих комбайнов искоренения... Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль... И еще этот склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление — вид сверху — и по-

нял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое... Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два филателистических зубцемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал второй, шаря рукой под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень странный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею костыль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьерой небольшой аквариум, в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный ка-

пельмейстерский бунчук с конскими хвостами...

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком и двое мальчиков в кадетской форме). Был там парабеллум, хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе еще была кипа папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказался черновой проект приказа о наложении взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение Музея истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Перец. — Подумать только, музей не посещает... Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся... Кефироман, бабник отвратительный, резинщик... Впрочем, все шо-

феры резинщики... Нет, это надо прекратить: кефир, шахматишки в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь стохастические процессы... Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги...

Слушай, Перец, подумал он, а может быть, вся эта карусель для того и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара в механики. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь... и дополнительные специальности приобретают... В общем-то нет в этом никакой

логики, бардак это сплошной, а не логика... Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искореняют, лес превращают в парк. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю...

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика... Но здесь же тысячи людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной... Он вспомнил потного и жалкого Домарощинера и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут... этому... мосье Ахти... Резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем. Люди, подумал он. Люди, и людишки, и человечишки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смейтесь... Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать с особенной страстью: улицы-де который год не метены,

шофера Тузика будут ругать за систематическое непосещение бани, а в перерывах будут бегать в латрину над обрывом... Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса...» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.». И еще... «Группа Научной охраны л.». Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению... Ну вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают наверху, внизу им во всяком случае делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это вонючее засыплют... Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то... Вообще-то лес охра-

нять следует. Только вот... Он припомнил лица известных ему охранников и в сомнении пожевал губами. Н-да... Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Распущу — и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!..

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнущие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, неровно, словно спотыкаясь, но больше ничего не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплетаясь ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто

повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него... Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова... Научить людей любить лес, уважать его, ценить, жить его жизнью... Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян... Рита... Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина... В конце концов, и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят... Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано следующее:

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно рас-

тет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и иные внепроизводственные препоны.

§ 2. Однако наряду с достигнутыми достижениями вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявления всякого рода случайностей незакономерными и противоречащими идеалу организованности, а прикосновенность к случайностям (пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за собой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение служебной и производствен-

ной дисциплины.

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитика), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения № 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192 п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97.

ПРИМЕЧАНИЕ. Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитности) не является как таковой оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение, либо взыскание, в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана .... месяца .... дня .... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: *Директор Управления* (.....)».

Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На следующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника группы Научной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» «за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная при-

косновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с. г.». Сотрудника Х. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком Х. Тойти...

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалованья — посмертно — на собаковода вооруженной охраны Г. де Монморанси, «беспечно позволившего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы об единовременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-то катушки...

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь, тоскливо подумал Перец, этак я совсем пропаду...

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Ваш завтрак, — сказала она деликатным голосом.

— Закройте дверь и идите сюда, — сказал Перец.

Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перецу.

— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь. — Доволен ты теперь?

— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Переца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принести? Прежний директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь Уложение... При чем здесь Уложение! Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарощинер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился... Кстати, пусик, — сказала она озабоченно, — Домарощинер там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать

будет...

— Да плевал я на Домарощинера! — сказал Перец. — Ты мне объясни, что я...

— На Домарощинера плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь... — Она надавила Перецу на нос, как на кнопку. — У Домарощинера есть два блокнотика. В один блокнотик он записывает, кто что сказал — для директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву... этот бред я подписывать не буду.

— Как это — не будешь?

— А вот так. У меня рука не подымется — такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас...

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, — добавил он. — В чем я

сомневаюсь.

— Ух ты, мой маленький, — сказала Алевтина и поцеловала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Переца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт, и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно?

— Нет, — сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше... Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а

должно следовать оптической оси теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих... Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще... Это же азбука. Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она же увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно...

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания и приказы... Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как — зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотришь. Все это я тебе покажу. Все это ты

прочитаешь своими близоруконькими глазками. Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было директивы — если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директив? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать... Хотя лучше, конечно, не вникай.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставочку Перецу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько...

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого

подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, *действительно* необходимых в этом бедламе...

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи... Да все, что угодно... Елки-палки... Ну хоть...

Алевтина достала блокнотик.

— Ну хотя бы... Ну хотя бы приказ, — с необычайной язвительностью сказал Перец, — сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются... Сегодня же! Ответственный — Домарощинер... Ей-богу, от этого было бы больше пользы...

— Одну минуту, — сказала Алевтина. — Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер... — Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением. — А что! — сказала она. — Правильно! Это даже прогрессивнее... Миленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий...

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перецом тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье... Кофе в термосе, горячий, не обожгись... Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди, — сказал ошеломленный Перец. — Подожди...

— Ты у меня умненький, — сказала Алевтина нежно. — Ты у меня молодец. Только с Домарощинером будь поласковее.

— Подожди, — сказал Перец. — Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям, Перец устремился за нею с криком: «Не сходи с ума!» — но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально, — тихо сказал он, тесня Переца к столу, — это блестяще. Это наверняка войдет в историю...

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

Глава одиннадцатая. Кандид

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево нагруженные, слева направо порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старец, — совсем у тебя нечего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил же я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно помрет, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть

какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут... Так если ты спрятал, то доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже... А то Навы теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило... Вот у кого еды всегда было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, скверная, потому его, наверное, деревом и убило... Говорил я ему: нельзя такую еду есть...

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!». И

он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные...

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, — это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Успешное передвижение... Обширные места покоя... Новые отряды подруг... Спокойствие и слияние...

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что

способен думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержание, и понимали, о каких успехах идет речь; и, наверное, тогда *они* были в этом заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а мужики не больше чем козлы... Это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки... и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер... и возникли первые отряды подруг... А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожали просто потому, что *они* об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие ба-

бы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды... и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея...

Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения... Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуний. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом... Гибель, фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель деревни — это не гибель, а Одержание... Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно

созревшего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего бедную курочку...

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины, да, например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть

на носу, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю к Хвостовой вдове пойти ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно, шерсть на носу... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы там с тобой баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что там бабы, а я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь... Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на

носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро управимся...

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид.

— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак. — Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерегу, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался, шерсть на носу...

— Ладно, — сказал Кандид, — я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили.

...Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно... И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно занятно ты рассказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает, обратно уже не возвраща-

ется... И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься — это просто смотреть страшно...

Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь *всегда* был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему... Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман... А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить — Одержание». И уйдут строить новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься... Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было... В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи — и такие злаки произрастают... Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь где — Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше — в Муравейники, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках, как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники... Охота, видишь, было ей посмотреть дупло, где я ногу повредил... А я ей говорю, что не помню я, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был...

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый

ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря был ты лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и сгинувшего где-то в лесу... Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные... У кого нога поломана, у кого что... Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуна полоумным считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девчонку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внимательно. Говори что хочешь, думай что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно, так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудаковой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего у них там останавливаться, а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная поляна...

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские

ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю. Но идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца... А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на

сторону этого прогресса, и Колченог и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся... А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники... Идеалы... Великие цели... Естественные законы природы... И ради этого уничтожается половина населения? Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах ихнего прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — а мне, наверное, не удастся, — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу вот не приходит в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились, — сказал он. — После-

завтра выходим.

— А как же, — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричало хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог встрепенулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, Молчун, давай не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА

Время действия: наши дни, поздняя весна.

Место действия: крупный город, областной центр на юге нашей страны.

Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран: все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресла для гостей, полосатый диван — красивы и уютны, пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе: пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками.

Два часа дня. За окном — серое дождливое небо.

Феликс — у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы.

— Наталья Петровна? — говорит он в трубку. — Здравствуй, Наташенька! Это я, Феликс... Ага, много лет, много зим... Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?.. До какого часу? Ага... Это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести, есть у меня к тебе некое маленькое дельце... Хорошо? Ну, до встречи...

Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берёт из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, «Фанты» и подсолнечного масла.

Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается.

Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков, сосед и шапочный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит:

— Феликс! Сам господь тебя послал мне, Феликс!..

Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним.

— Что с тобой, Костя? Что случилось?

Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице, испачканный рот вяло распущен.

— Спасай, Феликс! — сипит он. — Помираю! На коленях тебя молю... Только на тебя сейчас и надежда... Зойки нет, никого рядом нет...

— Слушаю, Костя, слушаю! — говорит Феликс. — Что надо сделать, говори...

— В институт! Поезжай в институт... Институт на Богородском шоссе — знаешь?.. Найди Мартынюка... Мартынюк Иван Давыдович... Запомни! Его там все знают... Председатель месткома... Скажи ему, что я отравился, ботулизм у меня... Помираю!.. Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю — у него есть... Пусть даст!

— Хорошо, хорошо! Мартынюк Иван Давыдович, две капли... А чего именно две капли? Он знает?

На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка.

— Скажи: мафуссалин! Он поймет...

Тут из Костиной квартиры выходит врач и на-

пускается на санитаров:

— В чем дело? Чего стоите? А ну, давайте быстро! Быстро, я говорю!

Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит:

— Феликс! Я за тебя молиться буду!..

— Еду, еду! — кричит ему вслед Феликс. — Сейчас же еду!

Врач, воткнув незажженную «беломорину» в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его:

— Неужели и вправду ботулизм?

Врач неопределенно пожимает плечами:

— Отравление. Сделаем анализы, станет ясно.

— Мартынюк Иван Давыдович, — произносит Феликс вслух и, когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: — Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома... Мафуссалин...

Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину.

— А как вы полагаете, — спрашивает Феликс, — мафуссалин этот и от ботулизма поможет?

— Как вы сказали?

— Мафуссалин, по-моему... — произносит Феликс смущенно.

— Впервые слышу, — сухо говорит врач.

— Какое-нибудь новое средство, — предполагает Феликс.

Врач не возражает.

— Может быть, даже наиновейшее, — говорит Феликс. — Это, знаете ли, из того института, что на Богородском... Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете?

— Во Вторую городскую.

— А, это совсем рядом...

У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси.

Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгают, и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти

Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожненько ставит авоську в уголок.

На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиною к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо:

— В местком! В местком!

— Ивана Давыдовича можно? — осведомляется Феликс.

Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные, близко посаженные глаза.

— Я сказал — в местком! С пяти до семи! А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно?

— Я от Кости Курдюкова... От Константина Ильича.

Предместкома Мартынюк словно бы налетает с

разбегу на стену.

— От... Константина Ильича? А что такое?

— Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафуссалина...

— Чего-чего?

— Мафуссалина... Я так понял, что это какое-то новое лекарство... Или я неправильно запомнил? Ма-фус-са-лин...

Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь.

— А кто вы, собственно, такой? — спрашивает он неприветливо.

— Я его сосед.

— В каком это смысле? У него же квартира...

— И у меня квартира. Живем дверь в дверь.

— Понятно. Кто вы такой — вот что я хочу понять.

— Феликс Снегирев. Феликс Александрович...

— Мне это имя ничего не говорит.

Феликс взвивается.

— А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит! Однако я вот через весь город к вам сюда перся...

— Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть

что-нибудь...

— Конечно, нет! Зачем он вам? Вы что — милиция?

Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса.

— Ладно, — произносит он наконец. — Я сам этим займусь. Идите... Стойте! В какой он больнице?

— Во Второй городской.

— Чтоб его там... Действительно другой конец города. Ну ладно, идите. Я займусь.

— Благодарю вас, — ядовито говорит Феликс. — Вы меня просто разодолжили!

Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной.

Внутренне клокоча, Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську.

Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает: за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое,

пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.

Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую кепку-каскетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки...

В зале дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями.

— ...С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечас-

но пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось! Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума — нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы — на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей — нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок! А что в результате? Сами видите, что в результате...

Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку.

— «Были ли вы за границей?»

Смех в зале. Возглас: «Как в анкете!»

— Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией... Так. А что здесь? Гм... «Кто, по-вашему, больше боится смерти: смертные или бессмертные?»

В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит:

— Странный вопрос. Я на эту тему как-то не

думал... Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти!

И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура.

— А что думают о смерти бессмертные? — пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура.

Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст, он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать — он не знает, а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться:

— Поживем, знаете ли, увидим... Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить...

Клетчатого уже не видно в зале, Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку.

Покинув дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумав-

шись.

Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается врассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит. И видит он: с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще-бесшумно катится гигантский МАЗ-самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет.

Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки.

— Где шофер?

— В гастроном пошел, разгильдяй!

— На тормоз! На тормоз надо ставить!

— Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит?

— Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил!

— Спасибо скажи, что сам жив остался...

— Шофер! Эй, шофер! Куда завалился-то?

— Убирай свою телегу!

Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.

Потряхивая головой, чтобы избавиться от пе-

режитого потрясения, Феликс направляется на Курсы иностранных языков к знакомой своей, Наташе, до которой у него некое маленькое дельце.

По коридорам Курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке.

Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит.

В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна, она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл.

Перед ним сидит строго одетая загадочная дама. Прекрасная Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит:

— Ну, мать, нет слов!.. Сколько же мы это не ви-

делись? — Он хлопает себя ладонью по лбу. — Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин, в самом деле! Как я мог позволить?

— Гуд ивнинг, май дарлинг, — довольно прохладно отзывается Наташа. — Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки?

— Говори! — страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. — Говори еще! Все, что тебе хочется!

— Что это с тобой сегодня?

— Не знаю. Меня чуть не задавили. Но главное — я увидел тебя!

— А кого ты ожидал здесь увидеть?

— Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму! Прекрасную ведьму! Русалку!

— Златоуст, — говорит она ядовито, но с улыбкой. Ей приятно.

— Сегодня ты, конечно, занята, — произносит он деловито.

— А если нет?

— Тогда я веду тебя в «Кавказский»! Я угощаю тебя сациви! Я угощаю тебя хачапури! Мы будем пить коньяк и «Твиши»! И Павел Павлович лично присмотрит за всем...

— Ну, естественно, — говорит она. — Сдадим твои бутылки и гульнем. На все на три на двадцать.

Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшний вечер у него занят.

— Наточка, — говорит он. — А завтра? В «Поплавок», а? На плес, а? Как в старые добрые времена!..

— Сегодня в «Кавказский», завтра в «Поплавок»... А послезавтра?

— Увы! — честно говорит он. — Сегодня не выйдет. Я забыл.

— И завтра не выйдет, — говорит она. — И послезавтра.

— Но почему?

— Потому что ушел кораблик. Видишь парус?

— Ты прекрасна, — произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. — Я был слепец. У тебя даже кожа светится.

— Старый ты козел, — отзывается она почти ласково. — Отдай руку.

— Но один-то поцелуй — можно? — воркует он, тщась дотянуться губами.

— Бог подаст, — говорит она, вырывая руку. — Перестань кривляться. И вообще уходи. Сейчас ко мне придут.

— Эхе-хе! — Он поднимается. — Не везет мне сегодня. Ну, а как ты вообще-то?

— Да как все. И вообще, и в частности.

— По-дурацки у нас с тобой получилось...

— Наоборот! Самым прекрасным образом.

— По-деловому, ты хочешь сказать?

— Да. По-деловому.

— А чего же тут прекрасного?

— Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс, чтобы не было никаких последствий. Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь...

Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается.

— Слушай, Наталья, — говорит он. — У меня же к тебе огромная просьба!

— Так бы и говорил с самого начала...

— Да нет, клянусь, я как тебя увидел — все из головы вылетело... Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня... собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов...

— Ну, знаю я его. Лысый такой, из Гортранса... Очень тупой...

— Святые слова! Лысый, тупой и из Гортранса. И еще у него гипертония и зять-пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших Курсов. Вот так нужна, у него от этого командировка зависит

за бугор... Сделай ему зачет, ради Христа. Ты его уже два раза проваливала...

— Три.

— Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит? Он говорит, что ты его невзлюбила... А за что? Он жалкий, невредный человечек... Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал?

— Он мне надоел, — произносит Наташа со странным выражением.

— Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны... Отсвечивать здесь у тебя не будет... Пожалей!

— Хорошо, я подумаю.

— Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю...

— Пусть он ко мне зайдет завтра в это время.

— Не зайдет! — произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем. — Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»!

— Только не в зубах, пожалуйста, — очень серьезно возражает Наташа.

Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает,

смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу:

— Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам.

Друг отзывается с мрачноватым юмором:

— А мои по четыре не возьмешь?

Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь.

Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре.

Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается — с лязгом и дребезгом.

Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса.

Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Сгущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник

величиной с голову ребенка.

— Странные у вас тут дела происходят... — произносит Феликс в пространство.

Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.

В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице.

— Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! — рокочет он. — Дела? Заботы? Труды?

— Труды, вашество, труды, — невнимательно отзывается Феликс. — А равномерно и заботы... А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только...

— Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего — беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну. Анатолий Сократович вас уже ждут...

— Спасибо, Пал Палыч, вижу... Кстати, мне бы

с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А?

— Сделаем.

В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный лязг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку.

— Шляпа, дырявые руки, — с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.

Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более — нужного человека.

— Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего, — произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты. — Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала...

Феликс трясет головой.

— Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял... Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так, с

бухты-барахты... Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше — за две... Ты сам подумай: разве это мыслимо — за ночь статью написать?

— Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю... Печатаю все, что ты пишешь... Но оперативности у тебя нет!

— Так я же не газетчик! Я — писатель!

— Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо вырабатывать! Возьми, к примеру, этого... Курдюкова Котьку... Знаю, поэт посредственный и даже неважный... Но если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» — будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится — и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева...» Или еще что-нибудь в этом роде.

Феликс спохватывается.

— Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там...

— Где? — кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.

В вестибюле ресторана Феликс звонит на квар-

тиру Курдюкова.

— Зоечка, это я, Феликс... Ну, как там Костя вообще?

— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала... Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли...

— Обязательно. А как же... А как он вообще?

— Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтоб вы пришли. Только об этом и говорит.

— Да? Н-ну... Завтра, наверное. Ближе к вечеру...

— Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович — скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же.

— Сегодня? Хм... — мямлит Феликс. — Сегодня-то я никак... Тут у меня Анатолий Сократыч сидит.

Зоя не слушает его.

— А если не позвонит, говорит, — продолжает она, — то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди. Что-то у него к вам очень важное, Феликс... И важное, и срочное...

— Ах, черт, как неудобно получается!..

— Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой... Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на

десять минут!

— Ну ладно, ну хорошо, что ж делать...

Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.

Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу из жестяной тарелки. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а больше никого нет — все ушли на телевизор смотреть футбол.

Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так яро к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватает его за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать, и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова:

— Старик! Ты себе представить не можешь, что тут со мной было! Это же десять кругов ада, клянусь тебе всем святым! Сначала меня рвало, потом меня судороги били, потом меня несло, да как! Стены содрогались! Тридцать три струи, не считая мелких брызг! Страшное дело! Но и

они тоже времени не теряли... Представляешь, понабежали со всех сторон, с трубками, с наконечниками, с клистирами наперевес, все в белом, жуткое зрелище, шестеро меня держат, шестеро промывают, шестеро в очереди стоят...

Он все оглядывается и, наступая на ноги, теснит Феликса к дверям.

— Да что ты все пихаешься? — спрашивает Феликс, уже оказавшись в коридоре.

— Давай, старик, пойдем присядем... Вон там у них скамеечка под пальмой...

Они усаживаются на скамеечку под пальмой. В коридоре пусто и тихо, только вдали дежурная сестра позвякивает пузырьками да доносятся приглушенные взрывы эмоций футбольных болельщиков.

— Потом, представляешь, кислород! — с энтузиазмом продолжает Курдюков. — Сюда — трубку, в нос — две... Ну, думаю, все, врезаю дуба. Однако нет! Проходит час, проходит другой, прихожу в себя, и ничего!

— Не понадобилось, значит, — благодушно вставляет Феликс.

— Что именно? — быстро спрашивает Курдюков.

— Ну, этот твой... мафусаил... мафуссалин... Зря,

значит, я хлопотал.

— Что ты! Они мне, понимаешь, сразу клизму, промывание желудка под давлением, представляешь? Такой кислород засадили, вредители! Только тут я понял, какая это страшная была пытка, когда в тебя сзади воду накачивают... У меня, понимаешь, глаза на лоб, я им говорю: ребята, срочно зовите окулиста...

И тут Курдюков вдруг обрывает себя и спрашивает шепотом:

— Ты что так смотришь?

— Как? — удивляется Феликс. — Как я смотрю?

— Да нет, никак... — уклоняется Курдюков. — Я вижу, отец, ты малость вдетый нынче, а? Поддал, старик, а?

— Не без того, — соглашается Феликс и, не удержавшись, добавляет: — Если бы не ты, я и сейчас бы еще продолжал с удовольствием.

— Ничего! — с легкомысленным жестом объявляет Курдюков. — Завтра или послезавтра они меня отсюда выкинут, и мы с тобой тогда продолжим. Без балды. Я тебе знаешь какого коньячку выставлю? Называется «Ахтамар», прямо с Кавказа... Это, знаешь, у них такая легенда была: любила девушка одного, а родители были против, а сама она жила в замке на острове...

— Слушай, Костя, — прерывает его Феликс стеснительно, — знаю я эту легенду. Ты меня извини, ради бога, но мне сегодня еще работать всю ночь. Сократыч статью заказал...

— Да-да, конечно! — вскрикивает Курдюков. — Конечно, иди! Что тут тебе со мной? Навестил, и спасибо тебе большое.

Он встает. И Феликс тоже встает — в растерянности и недоумении. Некоторое время они молчат, глядя друг другу в глаза. Потом Курдюков вдруг снова спрашивает полушепотом:

— Ты чего?

— Да ничего. Пойду сейчас.

— Конечно, иди... Спасибо тебе... Не забуду, вот увидишь...

— Ты мне больше ничего не хочешь сказать? — спрашивает Феликс.

— Насчет чего? — произносит Курдюков совсем уже тихо.

— А я не знаю — насчет чего! — взрывается Феликс. — Я не знаю, зачем ты меня выдернул из-за стола... Ни поесть толком не дал, ни выпить... Сократыч обиделся... Мне говорят: срочное дело, необходимо сегодня же, немедленно. Какое дело? Что тебе необходимо?

— Кто говорил, что срочное дело?

— Жена твоя говорила! Зоя!

— Да нет! — объявляет Курдюков и снова делает легкомысленный жест. — Да чепуха это все, перепутала она! Совсем не про тебя речь шла, и было это не так уж срочно... А она говорила — сегодня? Вот дурища! Нет, Феликс, она просто не поняла с перепугу. Ну, напугалась же баба...

Феликс машет рукой.

— Ладно. Господь с вами обоими. Не поняла так не поняла. Выздоровел — и слава богу. А я тогда пошел домой.

Феликс направляется к выходу, а Курдюков семенит рядом, забегая то справа, то слева, то хватая его за локоть, то сжимая его плечо.

— Ну, ты ж не обиделся, я надеюсь... — бормочет он. — Ну, дура же, молодая еще... Не понимает ничего... Ты, главное, знай: я тебе благодарен так, что если ты меня попросишь... о чем бы ты меня ни попросил... Ты знаешь, какого я страху здесь натерпелся? Не дай бог тебе отравиться, Снегирев, ей-богу... Ну, ты не сердишься, да? Ну скажи, не сердишься?

А на пустой лестничной площадке, рядом с телефоном-автоматом, происходит нечто совсем уж несообразное. Курдюков вдруг обрывает свою бессвязицу, судорожно вцепляется Феликсу в

грудь, прижимает его к стене и, брызгаясь, шипит ему в лицо:

— Ты запомни, Снегирев! Не было ничего, понял? Забудь!

— Постой, да ты что? — бормочет Феликс, пытаясь отодрать от себя его руки.

— Не было ничего! — шипит Курдюков. — Не было! Хорошенько запомни! Не было!

— Да пошел ты к черту! Обалдел, что ли? — гаркает Феликс в полный голос. Ему удается наконец оторвать от себя Курдюкова, и, с трудом удерживая его на расстоянии, он произносит: — Да опомнись ты, чучело гороховое! Что это тебя разбирает?

Курдюков трясется, брызгается и все повторяет:

— Не было ничего, понял? Не было!.. Ничего не было!

Потом он обмякает и принимается плаксиво объяснять:

— Накладка у меня получилась, Снегирев... Накладка у меня вышла! Институт же секретный, номерной... Не положено мне ничего про него знать... А тебе уж и подавно не положено! Не нашего это ума дело, Феликс! Я вот тебе ляпнул, а они уже пришли и замечание мне сделали...

Прямо хоть из больницы не выходи!

Феликс отпускает его. Курдюков, морщась, принимается растирать свои покрасневшие запястья и все бубнит со слезой одно и то же:

— Накладка это... А мне уже влетело... И еще влетит, если ты болтать будешь... Загубишь ты меня своей болтовней! Секретный же! Не положено нам с тобой знать!

— Ну хорошо, хорошо, — говорит Феликс, с трудом сохраняя спокойствие. — Секретный. Хорошо. Ну чего ты дергаешься? Сам посуди, ну какое мне до всего этого дело? Не положено, так не положено... Надо, чтобы я забыл, — считай, что я все забыл... Не было и не было, что я — спорю? Что за манера, в самом деле?

Без всякой жалости он отодвигает Курдюкова с дороги и принимается спускаться по лестнице с наивозможной для себя поспешностью. Он уже в самом низу, когда Курдюков, перегнувшись через перила, шипит ему вслед на всю больницу:

— О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!

Феликс только сплевывает в сторону.

Дома, в тесноватой своей прихожей, Феликс зажигает свет, кладет на столик объемистый сверток (с едой от Павла Павловича), устало стя-

гивает с головы берет, а затем снимает плащ и принимается аккуратно напяливать его на деревянные плечики.

И тут он обнаруживает нечто ужасное.

В том месте, которое приходится как раз на левую почку, плащ проткнут длинным шилом с деревянной рукояткой.

Несколько секунд Феликс оцепенело смотрит на эту округлую деревянную рукоятку, затем осторожно вешает плечики с плащом на вешалку и, придерживая полу, двумя пальцами извлекает шило.

Электрический блик жутко играет на тонком стальном жале.

И Феликс отчетливо вспоминает:

искаженную физиономию Курдюкова и его шипящий вопль: «О себе подумай, Снегирев! Серьезно тебе говорю! О себе!»;

стеклянный лязг и дребезг и булыжник в куче битого стекла на авоське;

испуганные крики и вопли разбегающейся очереди и тупую страшную морду МАЗа, накатывающуюся на него, как судьба...

и вновь бормотанье Курдюкова: «Не дай бог тебе отравиться, Снегирев...»

Слишком много для одного дня.

Феликс, не выпуская шила из пальцев, накидывает на дверь цепочку и произносит вслух:

— Вот, значит, какие дела...

Глубокая ночь, дождь. В свете уличных фонарей блестит мокрая листва, блестит брусчатка мостовой, блестят плиты тротуара. Дома погружены во тьму, лишь кое-где горят одинокие прямоугольники окон.

У подъезда десятиэтажного дома останавливается легковой автомобиль. Гаснут фары. Из машины выбираются под дождь четыре неясные фигуры, останавливаются и задирают головы.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Вон три окна светятся. Спальня, кабинет, кухня... Седьмой этаж.

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Странно... Почему у него везде свет? Может, у него гости?

ДРУГОЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС. Никак нет. Один он. Никого у него нет.

Кабинет Феликса залит светом. Горит настольная лампа, горит торшер над журнальным столиком с телефоном, горит трехрожковая люстра, горят оба бра над полосатым диваном напротив книжной стенки.

Феликс в застиранной роскошной пижаме работает за письменным столом. Пишущая машинка

по ночному времени отодвинута в сторону, Феликс пишет от руки. Заполненная окурками пепельница придавливает стопу исписанных страниц. На углу стола — пустая турка с перекипевшим через край кофе и испачканная кофейная чашечка. Страшное шило лежит тут же, в деревянном ящичке с каталожными карточками.

Звонок в дверь.

Феликс смотрит на часы. Пять минут третьего ночи.

Феликс глотает всухую. Ему страшно.

Он поднимается, идет в прихожую и останавливается перед входной дверью.

— Кто там? — *произносит он сипло.*

— Открой, Феликс, это я, — *отзывается негромко женский голос.*

— Наташенька? — *с удивлением и радостью говорит Феликс.*

Он торопливо снимает цепочку и распахивает дверь.

Но на пороге вовсе не Наташа. Давешний мужчина в клетчатом. Под пристальным взглядом его светлых выпуклых глаз Феликс отступает на шаг.

Все происходит очень быстро. Клетчатый неуловимым движением оттесняет его, про-

никает в прихожую, крепко ухватывает его за запястья и сразу же прижимает спиной к двери в туалет.

А с лестничной площадки быстро и бесшумно входят в квартиру один за другим:

огромный, плечистый Иван Давыдович в черном плаще до щиколоток, в руке — маленький саквояж, войдя, он только коротко взглядывает на Феликса и проходит в кабинет;

стройная и очаровательная Наталья Петровна с сумочкой на длинном ремешке через плечо, нежно улыбается Феликсу и картинно делает ручкой, как бы говоря: «А вот и я!»;

и высокий смуглый Павел Павлович в распахнутом сером пальто, под которым виден все тот же черный фрачный костюм с той же гвоздикой в петлице, с длинным зонтиком-тростью под мышкой, войдя, он приподнимает шляпу и, сверкнув лысиной, приветствует Феликса легким поклоном.

ФЕЛИКС (*обалдело*). Пал Палыч?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Он самый, душа моя, он самый...

ФЕЛИКС. Что случилось?

Павел Павлович ответить не успевает. Из ка-

бинета раздается властный голос:

— Давайте его сюда!

Клетчатый ведет Феликса в кабинет. Иван Давыдович сидит в кресле у стола. Плащ его небрежно брошен на диван, саквояж поставлен у ноги.

ФЕЛИКС. Что, собственно, происходит? В чем дело?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Тихо, прошу вас.

КЛЕТЧАТЫЙ. Куда его?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вот сюда... Сядьте, пожалуйста, на свое место, Феликс Александрович.

ФЕЛИКС. Я сяду, но я хотел бы все-таки знать, что происходит...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Спрашивать буду я. А вы садитесь и отвечайте на вопросы.

ФЕЛИКС. Какие вопросы? Ночь на дворе...

Слегка подталкиваемый Клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему очень и очень страшно.

Хотя, казалось бы, чего бояться? Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в

кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу. Вот только Клетчатый... Он остался в дверях — скрестивши ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету. Руки его в черных кожаных перчатках.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Сегодня в половине третьего вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом?

ФЕЛИКС. А кто вы, собственно, такие? Почему я должен...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Потому что. Вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых?.. Ну, вот хотя бы это... (*Он берет двумя пальцами страшное шило за кончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса.*) Два сантиметра правее — и конец! Поэтому я буду спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились?

Феликс молчит. Он сломлен.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Итак, куда вы отправились от меня? Только не лгать!

ФЕЛИКС. В дом культуры. Железнодорожников.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Зачем?

ФЕЛИКС. Я там выступал. Перед читателями... Вот гражданин может подтвердить. Он меня видел.

КЛЕТЧАТЫЙ. Правильно. Не врет.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Кто была та полная женщина в очках?

ФЕЛИКС. Какая женщина?.. А, в очках. Это Марья Леонидовна! Она завбиблиотекой.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Что вы ей рассказывали?

ФЕЛИКС. Я? Ей?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы. Ей.

КЛЕТЧАТЫЙ. Рассказывал, рассказывал! Минут двадцать у нее в кабинете просидел...

ФЕЛИКС. Что значит — просидел? Ну, просидел... Она мне путевку заверяла... Договаривались о следующем выступлении... Она меня просила в район выехать... И ничего я ей не рассказывал! Что за подозрения? Скорее уж это она мне рассказывала...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Итак, она заверила вам путевку. Куда вы отправились дальше?

ФЕЛИКС. На Курсы! Наташа, скажи ему!

НАТАША. Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет.

ФЕЛИКС. Да я и так рассказываю все, как бы-

ло...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Кого еще из знакомых вы встретили на Курсах?

ФЕЛИКС. Ну, кого... (*Он очень старается.*) Этого... ну, Валентина, инженера, из филиала, не знаю, как его фамилия... Потом этого, как его... Ну, такой мордастенький...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. И о чем вы с ними говорили?

ФЕЛИКС. Ни о чем я с ними не говорил. Я сразу прошел к Наташе... к Наталье Петровне...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Потом вы оказались в ресторане. Зачем?

ФЕЛИКС. Как это — зачем? Поесть! Я же целый день не ел... Между прочим, из-за этого вашего Курдюкова!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. А почему вас там дожидался Романюк?

ФЕЛИКС. Он заказал мне статью. О морально-нравственном потенциале. О смысле жизни современного человека... Вот я ее пишу, вот она!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. А зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова?

ФЕЛИКС. Про Курдюкова?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Да! Про Курдюкова!

ФЕЛИКС. Ничего я ему не рассказывал про Кур-

дюкова! С какой стати?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ну как же не рассказывали? Только и слышно было: Курдюков, Курдюков...

Произнеся эти слова, Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит: «Эхе-хе...» и направляется к двери на кухню.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*раздраженно*). Павел... э... Павлович! Я не понимаю, неужели вы не можете десять минут подождать?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*приостановившись на мгновение в дверях*). А зачем, собственно, ждать? (*Издевательским тоном.*) Курдюков, Курдюков...

Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится лязг посуды.

ФЕЛИКС (*нервно кричит ему вслед*). Не было этого! Может быть, и упоминали мы его один или два раза... С какой стати? (*Ивану Давыдовичу.*) А если бы даже я ему и рассказал? Что тут такого?..

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова.

ФЕЛИКС. Да не рассказывал я! Скорее это уж Романюк мне о нем рассказывал! Как Курдюков

свои стишки пишет, и все такое... А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился и я еду к нему в больницу... И все. И больше ничего.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. А о том, что Курдюков послал вас ко мне?

ФЕЛИКС. Да господи! Да конечно — нет! Да ни единого слова!

Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*вкрадчиво*). То есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, а о чем нельзя?

Феликс молчит. Глаза его растерянно бегают.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Феликс Александрович, будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добровольно и честно расскажете нам: с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным.

ФЕЛИКС. Да господи! Да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста. С кем я го-

ворил... Да ни с кем я не говорил! Только с одним Романюком и говорил... Да, конечно! С женой Курдюкова говорил, с Зоей!.. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу, и я поехал... И все. Все! Больше ни с кем!

На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук, в одной руке он держит шипящую сковородку, в другой — деревянную подставку для нее.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Прошу прощения. Не обращайте внимания... Я у вас, Феликс Александрович, давешнюю ветчину там слегка... Вы уж не обессудьте...

ФЕЛИКС (*растерянно*). Да ради бога... Конечно!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*раздраженно*). Давайте не будем отвлекаться! Продолжайте, Феликс Александрович!

Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик и, нависнувши над нею своим большим благородным носом, извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время водит

над ним указательным пальцем, произносит как бы в нерешительности: «Гм!» и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку.

КЛЕТЧАТЫЙ (*бормочет*). Смотреть страшно...

Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу — на каждый желток по капле.

НАТАША. Какой странный запах... Вы уверены, что это съедобно?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Это, душа моя, «ухэ-тхо»... в буквальном переводе — «желчь водяного». Этому составу, деточка, восемь веков...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*стучит пальцем по столешнице*). Довольно, довольно! Феликс Александрович, продолжайте! О чем вы говорили с Романюком?

ФЕЛИКС (*с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича*). О чем я говорил с Романюком?.. Он попросил меня написать статью. Срочно. Сегодня же... Вот эту. (*Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей.*)

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. А о чем вы договорились с Курдюковым в больнице?

ФЕЛИКС. С Курдюковым? В больнице? Н-ну... Ни о чем определенном мы не договаривались...

Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разопьем... Его ведь не сегодня-завтра выпишут...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. И все?

ФЕЛИКС. И все...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. И ради этого вы поперли на ночь глядя через весь город в больницу?

ФЕЛИКС. Н-ну... Это же почти рядом... И потом, просил же человек...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Курдюков — ваш хороший друг?

ФЕЛИКС. Что вы! Мы просто соседи! Раскланиваемся... Я ему — отвертку, он мне пылесос...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже вполне неплохо, вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания?

ФЕЛИКС. Д-да...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем, вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой, — и ради чего?

ФЕЛИКС. Откуда я знал? Откуда мне было знать?

Ведь мне его жена баки забила: срочно, немедленно!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. О чем вы сговорились с Курдюковым в больнице?

ФЕЛИКС. Ей-богу, ни о чем!

Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот, раскуривая очередную сигарету, отрицательно мотает головой.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*Клетчатому*). Вы полагаете?..

КЛЕТЧАТЫЙ. Врет.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*с упреком*). Феликс Александрович, ведь я же предупреждал вас...

ФЕЛИКС (*трусливо*). В чем, собственно, дело?

КЛЕТЧАТЫЙ. Брешет он, сучий потрох! Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение! Он же по ступенькам ссыпался — весь красный был, как помидор!

ФЕЛИКС. Так я и не скрываю! Я и был злой! Я бы ему врезал, если бы не больница!

КЛЕТЧАТЫЙ (*уверенно*). Врет. Врет. Я же вижу: где правда, там правда, а здесь — врет!..

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*негромко*). А всего-то и надо было вам, Ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице, вот вы бы все и услышали, а мы бы

здесь не гадали...

КЛЕТЧАТЫЙ (*смиренно*). Виноват, ваше сиятельство. Однако были некоторые причины... А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова: «О себе подумай, Снегирев! О себе!» Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. О чем вы сговорились с Курдюковым?

ФЕЛИКС. Да ни о чем мы не сговаривались! Ей-богу же — ни о чем!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. О чем вы сговорились с Курдюковым?

ФЕЛИКС. Господи! Да что вы ко мне пристали, в самом деле? Нечего мне вам добавить!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. О чем вы сговорились с Курдюковым?

ФЕЛИКС. Наташа! Да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, чтобы отстали!

Клетчатый коротко и очень страшно гогочет.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует.

Вопрос только — какой ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно.

Он берет саквояж, ставит его на стол, раскрывает, извлекает из него автоклавчик и, звякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекций.

Феликс наблюдает эти манипуляции, покрываясь испариной.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже...

Тем временем Клетчатый скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой.

КЛЕТЧАТЫЙ (*шепотом*). Тихо! Сидеть!

ФЕЛИКС (*с отчаянием*). С-слушайте! Какого дьявола? Наташа! Пал Палыч!

Наташа сидит на диване, уютно поджавши под себя ноги. Она подпиливает пилкой ноготки.

НАТАША (*ласково-наставительно*). Феликс, милый, надо рассказать. Надо все рассказать, все до последнего.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Да уж, Феликс Александрович, вы уж пожалуйста! Зачем вам лишние неприятности?

ФЕЛИКС (*он сломлен, дрожащим голосом*). Да-да, не надо...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Отвечать будете?

ФЕЛИКС. Да-да, обязательно...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. О чем вы сговорились с Курдюковым?

Феликс не успевает ответить (да он и не знает, что отвечать). Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков. Он в мокром пальто не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштанники, на ногах — мокрые растоптанные тапки.

— Ага! — *с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска.* — Взяли гада? Хорошо! Молодцы. Но как же это вы без меня? Непорядок, непорядок, не по уставу! Апеллирую к вам, Магистр! Не по уставу... Итак? Кто ему рассказал про Эликсир?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*вскакивая*). Он знает про Эликсир?

НАТАША (*тоже подскочив*). То есть как это?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Что-что-что?

КЛЕТЧАТЫЙ. А что я вам говорил?

КУРДЮКОВ. Хе! Он не только про Эликсир знает! Он мне намекал, что ему и про Источник известно! Он мне уже и Крапивкин Яр называл, сукин сын!

Все взоры устремляются на Феликса.

ФЕЛИКС (*бормочет, запинаясь*). Ты что, Курдюков? Какой еще Эликсир? Крапивкин Яр — знаю, а Эликсир... Какой Эликсир?

КУРДЮКОВ (*наклоняется к нему, уперев руки в боки*). А Крапивкин Яр, значит, знаешь?

ФЕЛИКС. З-знаю... Кто ж его не знает?

КУРДЮКОВ. Ладно, ладно! «Кто ж его не знает...» А что ты мне про Крапивкин Яр намекал давеча? Помнишь?

ФЕЛИКС. Про Крапивкин Яр? Когда?

КУРДЮКОВ. А сегодня! В больнице! «Вот поправишься, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин Яр...» У меня глаза на лоб полезли! Откуда? Как узнал? «Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить...»

Ложечку ему! А?

ФЕЛИКС (*орет в отчаянии*). Какую ложечку? Да ты что — опять консервами обожрался? Что ты мелешь?

Слышны глухие удары в потолок. Все притихают.

ФЕЛИКС (*понизив голос*). Послушайте, ночь на дворе, мы же людям спать не даем! Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили!

КУРДЮКОВ (*сдавленным шепотом*). Ты что — про Крапивкин Яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина! И про ложечку Эликсира не говорил?

ФЕЛИКС. Да ничего подобного я тебе не говорил! Дурак ты консервный, заблеванный!

КУРДЮКОВ. Не отпирайся! И про Крапивкин Яр говорил, и про Эликсир говорил, и про Источник намекал... Я тебе предупреждал давеча? «Молчи! Ни единого слова! Никому!» Говорил я тебе это или нет?

ФЕЛИКС. Ну, говорил! Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь...

КУРДЮКОВ. А! Признаешь! Правильно! А раз признаешь, то не надо запираться! Не надо! Честно признайся: кто тебе рассказал? Наташка? В

постельке небось рассказала? Расслабилась?

Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской: Наташа надвигается на него неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами.

НАТАША (*яростно шипит*). Ах ты, паскуда противная, душа гадкая, грязная, ты что же это хочешь сказать, пасть твоя черная, немытая?

КУРДЮКОВ (*визжит*). Я ничего не хочу сказать! Магистр, это гипотеза! Защитите меня!

Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит: «Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал. Обожрался тухлятиной, вообразил, что подыхает, и со страху все разболтал первому же встречному...»

КУРДЮКОВ. Вранье! Первый был доктор из «Скорой помощи»! А потом санитары! А уж только потом...

НАТАША. И ты им всем разболтал, гнида?

КУРДЮКОВ. Никому! Ничего! Он уже и так все знал!

Клетчатый, оставивши Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем.

КУРДЮКОВ. Магистр! Не велите ему! Я все расскажу! Я только попросил его съездить к вам... Назвал вас, виноват... Страшно мне было очень... Но он и так уже все знал! Улыбнулся этак зловеще и говорит: «Как же, знаю, знаю Магистра»...

ФЕЛИКС (*потрясая кулаками*). Что ты несешь? Опомнись!

КУРДЮКОВ. «Поеду, говорит, так и быть, поеду, но вечерком мы еще с тобой поговорим!» Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали, я лежал пластом...

ФЕЛИКС. Товарищи, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня надо, но он все врет...

КУРДЮКОВ. А вечером он уже больше не скрывался! Поймите меня правильно, я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речей в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность...

ФЕЛИКС. Врет.

КУРДЮКОВ. Чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене! Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертные...

ФЕЛИКС (*монотонно*). Врет.

КУРДЮКОВ (*заунывно, словно бы пародируя*). «В Крапивкином Яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере Эликсира Источник, точащий капли бессмертия в каменный стакан...»

ФЕЛИКС. Впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел.

КУРДЮКОВ (*воздевши палец*). «Лишь пять ложек Эликсира набирается за три года, и пятерых они делают бессмертными...»

ФЕЛИКС. Он же из больницы сбежал, вы же видите...

КУРДЮКОВ (*обычным голосом*). Он вас назвал, Магистр. И Наташечку. И вас, Князь. «А пятого, говорит, я до сих пор не знаю...»

Все смотрят на Феликса.

ФЕЛИКС (*пытаясь держать себя в руках*). Для меня все это — сплошная галиматья. Горячечный бред. Ничего этого я не знаю, не понимаю и говорить об этом просто не мог.

Все молчат. И в этой тишине раздается вдруг пронзительный звонок в дверь. Все застывают.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*глядя на Феликса*). М-м?

ФЕЛИКС (*несколько ободрившись*). Я думаю, это сосед сверху. Я думаю, вы слишком тут все орете.

Снова звонок в дверь — длинный, яростный.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Идите и извинитесь. Никаких лишних слов. И вообще ничего лишнего. Ротмистр, проследите.

Сопровождаемый Клетчатым, Феликс выходит в прихожую. Наружная дверь, оказывается, наполовину раскрыта, и на пороге маячит фигура в полосатой пижаме.

— Я, гражданин Снегирев, жаловаться на вас буду, — *объявляет фигура.* — Полчетвертого ночи!

ФЕЛИКС. Сергей Сергеич, простите, ради бога. Мы тут увлеклись, переборщили... Правильно, Ротмистров?

КЛЕТЧАТЫЙ. Переборщили. Правильно. Больше не повторится, я сам прослежу.

ФЕЛИКС. Простите, Христа ради, Сергей Сергеич! С меня полбанки, а?

СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ (*плачуще*). Мне, Феликс Александрович, вставать в шесть утра! А вы тут, понимаете, произведения свои читать затеяли, да еще не просто читать, а на три голоса, с выражением... Сил же никаких нет!

ФЕЛИКС. А что, все слышно?

СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ. Да вот как над ухом прямо!

ФЕЛИКС (*Клетчатому*). Вот видите? Говорил же я вам, что пора уже расходиться...

КЛЕТЧАТЫЙ. Все! Все. Сергей Сергеич, все. С него полбанки и с меня тоже полбанки. И полная тишина. Как в могиле. Правильно я говорю, Феликс Александрович? Как в могиле!

— И-иэх! — *произносит Сергей Сергеич горестно и удаляется, шлепая тапочками.*

Феликс пытается запереть дверь, но тут выясняется, что замок сломан.

ФЕЛИКС (*с отчаянием*). Ну что за сволочь! Вы поглядите только, он же мне замок сломал!

КЛЕТЧАТЫЙ (*с жадным любопытством*). Кто? Сергей Сергеич? А зачем?

ФЕЛИКС. Да при чем здесь Сергей Сергеич? Курдюков этот ваш, псих полоумный! И что вы все свалились на мою голову? Забирайте вы его и уходите к чертовой матери, не то я милицию вызову!..

КЛЕТЧАТЫЙ. Тихо! Эт-то еще что такое? А ну-ка, проходите и — тихо!

Едва Феликс вступает в кабинет, как на него сзади наскакивает Курдюков. Он обхватывает Фе-

ликса левой рукой за лицо, чтобы зажать рот, а правой с силой бьет стамеской в спину снизу вверх. Стамеска тупая, рука у Курдюкова соскальзывает, и никакого смертоубийства не получается. Феликс лягает Курдюкова ногой, тот отлетает на Ивана Давыдовича, и оба они вместе с креслом рушатся на пол. Пока они барахтаются, лягаясь и размахивая кулаками, Клетчатый хватает Феликса за руки и прижимает его к стене.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*насмешливо*). Развоевались!..

НАТАША (*она уже возлежит на диване в позе мадам Рекамье*). Шляпа. И всегда он был шляпой, сколько я его помню...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Но соображает быстро, согласитесь...

Иван Давыдович наконец поднимается, брезгливо вытирая ладони о бока, а Курдюков остается на полу — лежит, скорчившись, обхватив руками голову.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Господа, так все-таки нельзя. Так мы весь дом разбудим. Я попрошу, господа...

Клетчатый отпускает Феликса, и тот прини-

мается ощупывать ушибленную спину.

ФЕЛИКС (*дрожащим голосом*). Слушайте, а может, вообще хватит на сегодня? Может, вы завтра зайдете? Ведь, ей-богу, дождемся, что кто-нибудь милицию вызовет. А так — завтра...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Сядьте. Сядьте, я вам говорю! И молчите. (*Курдюкову.*) А вы вставайте. Хватит валяться, вставайте!

НАТАША. Пусть валяется.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*поднимая кресло и усаживаясь*). Хорошо, не возражаю. Пусть валяется.

КЛЕТЧАТЫЙ. А может, вы его... того?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Да нет. Притворяется... Перепугался. Ладно, пусть пока лежит... Вот что, господа. Ситуация переменилась. Я бы сказал, она усложнилась.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Тогда самое время сварить кофе.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Нет, Князь. Кофе не надо. Нельзя.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Нельзя выпить по чашке кофе? Просто кофе?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Просто?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Да! Просто кофе! Крепкий сладкий кофе по-венски.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Хорошо. Сварите. Вы поня-

ли, что ситуация осложнилась?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ну, естественно!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Тогда займитесь.

Павел Павлович умело и аккуратно собирает на поднос турку и чашечку со стола Феликса и уносит все это на кухню.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Я, господа, прошу вас основательно усвоить, что сегодня нам ничего здесь делать нельзя. (*Он принимается собирать обратно в саквояж свои медицинские причиндалы.*) Если мы оставим здесь труп, милиция разыщет нас очень быстро. Это понятно?

КЛЕТЧАТЫЙ. Виноват, герр Магистр, не совсем понятно. Нам же не обязательно оставлять труп здесь! Можно выкинуть его в окно... Седьмой этаж... Вдребезги! Самоубийство!

Иван Давыдович закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и некоторое время молчит, сдерживаясь. Потом он говорит: «Пять минут назад сюда приходил человек. Вы заметили это, Ротмистр?»

КЛЕТЧАТЫЙ. Так точно, заметил. Сергей Сергеевич. Это из верхней квартиры.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы обратили внимание,

что он вас тоже заметил, Ротмистр?

КЛЕТЧАТЫЙ. Так точно.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Он запомнил вас, понимаете? Ваш клетчатый пиджак, ваше кепи, ваши усики... Он вас опишет, и вас найдут. Самое большее — через неделю.

КУРДЮКОВ (*из угла, куда он незаметно переполз*). А по-моему, ничего страшного. Ротмистр уедет куда-нибудь, отсидится годик...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вас, Басаврюк, спросят: откуда вы обрели в эту самую ночь такой великолепный синяк под глазом?

КУРДЮКОВ. У меня алиби! Я в настоящий момент в больнице!

Пауза. Из кухни доносится гудение кофемолки.

НАТАША (*решительно*). Нет, господа, я тоже против. Все знают, что мы с Феликсом дружили, вчера он ко мне заходил, ночью меня не было дома... Зачем мне это надо? Затаскают по следователям. Я вообще против того, чтобы Феликса трогать. Его надо принять.

КУРДЮКОВ (*выскакивает из угла, как черт из коробочки*). Это за чей же счет? Сука! Шлюха ты беспардонная!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Да тише вы, Басаврюк!

Сколько можно повторять? Ти-ше! Извольте не забывать, что это по вашей вине все мы сидим здесь и не знаем, на что решиться. Так что советую вам вести себя особенно тихо... Молчите! Ни слова более! Сядьте!

КЛЕТЧАТЫЙ. В самом деле, сударь! Труса отпраздновали, а теперь все время мешаете...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Я, господа, просто не вижу иного пути, кроме как поставить Феликса Александровича перед выбором...

И тут Феликс взрывается. Он изо всей силы грохает ладонью по столу и голосом, сдавленным от страха и ненависти, объявляет: «Убирайтесь к чертовой матери! Все до одного! Сейчас же! Сию же минуту! Чтобы ноги вашей здесь не было!..»

В дверях кухни появляется встревоженное лицо Павла Павловича, Клетчатый, хищно присев, делает движение к Феликсу.

ФЕЛИКС (*Клетчатому*). Давай, давай, сволочь, иди! Ты, может, меня и изуродуешь, бандюга, протокольная морда, ну и я здесь тоже все разнесу! Я здесь вам такой звон устрою, что не только дом — весь квартал сбежится! Иди, иди! Я вот сейчас для начала окно высажу вместе с рамой...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*резко*). Прекратите исте-

рику!

ФЕЛИКС (*бешено*). А вы заткнитесь, председатель месткома! Заткнитесь и выметайтесь отсюда, и заберите с собой всю вашу банду! Немедленно! Слышите?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*очень спокойно*). Вашу дочь зовут Лиза...

ФЕЛИКС. А вам какое дело?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вашу дочь зовут Лиза, ваших внуков зовут Фома и Антон, и живут они все на Малой Тупиковой, шестнадцать. Правильно?

Феликс молчит.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Я надеюсь, вы понимаете, на что я намекаю? Книжки читаете?

ФЕЛИКС (*угрюмо*). По-моему, вы все ненормальные...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Этот вопрос мы сейчас обсуждать не будем. Если вам удобнее считать нас ненормальными — пожалуйста. В известном смысле вы, может быть, и правы...

ФЕЛИКС. Что вам от меня надо — вот чего я никак не пойму!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Сейчас поймете. Судьбе угодно было, чтобы вы проникли в нашу тайну...

ФЕЛИКС. Никаких тайн не знаю и знать не

хочу.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Пустое, пустое. Следствие закончено. Не об этом вам надлежит думать. Вам предстоит сейчас сделать выбор: умереть или стать бессмертным.

Феликс молчит. На лице его тупая покорность.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы готовы сделать такой выбор?

Феликс медленно качает головой.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Почему?

ФЕЛИКС (*морщась*). Почему? Да потому что нет у меня никакого выбора... Если я выберу смерть, вы меня выкинете в окно... А если я выберу это ваше бессмертие... я вообще не знаю, какую гадость вы мне тогда сделаете. Чего от вас еще ждать?

НАТАША. Святая дева! До чего же глупы эти современные мужчины! Я, помнится, моментально поняла, о чем идет речь...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Не забывайте, мадам, это было пятьсот лет назад...

НАТАША. Четыреста семьдесят три!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Да-да, конечно... Вспомните, тогда ведь все это было в порядке вещей:

бессмертие, философский камень, полеты на метле... Вам ничего не стоило тогда поверить по первому слову! А вы представьте себе, что пишете заметку для газеты «Кузница кадров», а тут к вам приходят и предлагают бессмертие...

КУРДЮКОВ (*из угла*). Да врет он все. Ваньку он перед вами валяет. Давным-давно он уже все порешил и выбрал...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Перестаньте, Басаврюк, вы уже надоели. Все это теперь несущественно. На самом деле даже интереснее, если Феликс Александрович действительно ничего не понимает. (*Некоторое время он пристально, изучающе смотрит Феликсу в лицо, а потом начинает с выражением, словно читая по тексту, говорить.*) Недалеко от города, в Крапивкином Яру, есть карстовая пещера, мало кому здесь известная. В самой глубине ее, в гроте, совсем уж никому не известном, свисает со свода одинокий сталактит весьма необычного красного цвета. С него в каменное углубление — кап-кап-кап! — капает Эликсир Жизни. Пять ложечек в три года. Этот Эликсир не спасает ни от яда, ни от пули, ни от меча. Но он спасает от старости. Говоря современным языком, это некий гормональный регулятор необычайной мощности. Одной ложечки в три го-

да достаточно, чтобы воспрепятствовать любым процессам старения в человеческом организме. Любым! Организм не стареет! Совсем не стареет. Вот вам сейчас пятьдесят лет. Начнете пить Эликсир, и вам всегда будет пятьдесят лет. Всегда. Вечно. Понимаете? По чайной ложке в три года, и вам навсегда останется пятьдесят лет.

Феликс пожимает плечами. Не то чтобы он поверил всему этому, но трезвая, разумная речь Ивана Давыдовича, а в особенности применяемые им научные термины производят на него успокаивающее действие.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Беда, однако же, в том, что ложечек всего пять. А значит, и бессмертных может быть только пять. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Или нет?

ФЕЛИКС. Шестой лишний?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Истинно так.

ФЕЛИКС (*оживляясь*). Но ведь я, кажется, и не претендую...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. То есть вам угодно выбрать смерть?

ФЕЛИКС. Почему — смерть? Меня это вообще не касается! Вы идите своей дорогой, а я — своей... Обходились же мы друг без друга до сих пор!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Я вижу, вы пока еще не поняли ситуации. Эликсира хватает только на пятерых. Надо ли объяснять, что желающих нашлось бы гораздо больше! Если бы сведения распространились, у нас бы просто отняли Источник, и мы бы перестали быть бессмертными. Понимаете? Мы все были бы давным-давно мертвы, если бы не сумели до сих пор — на протяжении веков! — сохранить тайну. Вы эту тайну узнали, и теперь уж одно из двух: или вы присоединяетесь к нам, или, извините, мы будем вынуждены вас уничтожить.

ФЕЛИКС. Глупости какие... Что же, по-вашему, я побегу сейчас везде рассказывать эту вашу тайну? Что я, по-вашему, идиот? Меня же немедленно посадят в психушку!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Может быть. И даже наверное. Но согласитесь, уже через неделю сотни и сотни дураков выйдут на склоны Крапивкина Яра с мотыгами и лопатами... Люди так легковерны, люди так жаждут чуда! Нет, рисковать мы не станем. Видите ли, у нас есть опыт. Мы можем быть спокойны лишь тогда, когда тайну знают только пятеро.

ФЕЛИКС. Но я же никому не скажу! Ну зачем это мне, сами подумайте! Ну поверьте вы мне, ради

бога! Дочерью своей клянусь!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Не надо. Это бессмысленно.

ФЕЛИКС. Но вы же должны понимать: у меня дочь, внуки, как же я в таких условиях могу проговориться? Это же не в моих интересах!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы прекрасно знаете, вы же писатель, что люди сплошь да рядом поступают именно против своих интересов.

В кабинете появляется Павел Павлович с подносом, на котором дымятся шесть чашечек кофе.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. А вот и кофеек! Выпьем по чашечке кофе, и все проблемы разрешатся сами собой! Прошу! (*Наташе.*) Прошу, деточка... Ротмистр! Магистр, прошу вас... Вам приглянулась эта чашечка? Пожалуйста!.. Феликс Александрович! Я вижу, они вас совсем разволновали, хлебните черной бодрости, успокойтесь... Басаврюк, дружище, старый боевой конь, что же ты забился в угол? Чашечку кофе — и все пройдет!

Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и, очень довольный, усаживается в кресло.

Феликс жадно, обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашечку на стол и озира-

ется.

Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает «черную бодрость». Иван же Давыдович, хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет: держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков у себя в углу уже совсем было нацелился отхлебнуть и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает.

Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятьем швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку.

ФЕЛИКС (*вздрогнув от неожиданности*). Скотина! Что ты делаешь?

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*хладнокровно*). Что, муха попала? У вас, Феликс Александрович, полно мух на кухне...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Князь! Ведь я же вас просил! Ну куда мы теперь денем труп!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*ерничает*). Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа!

Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно медленно выливает кофе на пол. Ротмистр, звучно крякнув, ставит свою чашку на пол и осторожно задвигает ногой под диван.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ну, господа, на вас не угодишь... Такой прекрасный кофе удался... Не правда ли, Феликс Александрович?

КУРДЮКОВ (*остервенело*). Гад ядовитый! Евнух византийский! Отравитель! За что? Что я тебе сделал? Убью!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Басаврюк! Если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот!

КУРДЮКОВ (*страстным шепотом*). Но он же отравить меня хотел! За что?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Да почему вы решили, что именно вас?

КУРДЮКОВ. Да потому что я сманил у него этого треклятого повара! Помните, у него был повар, Жерар Декотиль? Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит!

Иван Давыдович смотрит на Павла Павловича.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*благодушно*). Да я и думать об этом забыл!.. Хотя повар был и на самом деле замечательный... Уникальный был повар...

Феликс наконец осознает происходящее. Он медленно поднимается на ноги. Смотрит на свою чашку. Лицо его искажается.

ФЕЛИКС (*с трудом*). Так это что — вы меня отравили? Павел Павлович!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ну-ну, Феликс Александрович! Что за мысли?

ФЕЛИКС (*не слушая*). Пустите, пустите! Меня тошнит, пустите!

Он выбирается из-за стола и, оттолкнув Клетчатого, устремляется в уборную.

Он сидит на краю ванны, весь мокрый, и вытирается полотенцем, тупо глядя перед собой, а Клетчатый, стоя в дверях, благодушно разглагольствует: «Напрасно беспокоитесь, Феликс Александрович. Это он, конечно, целился не в вас. Если бы он целился в вас, вы бы уже сейчас у нас тут похолодели... А вот в кого он целился — это вопрос! Конечно, у нас здесь теперь один лишний, но вот кого *он* считает лишним?..»

ФЕЛИКС (*бормочет*). Зверье... Ну и зверье... Прямо вурдалаки какие-то...

КЛЕТЧАТЫЙ. А как же? А что прикажете делать? У меня, правда, опыта соответствующего нет пока. Не знаю, как это у них раньше проделы-

валось. Я ведь при Источнике всего полтораста лет состою.

Феликс, вытираясь полотенцем, смотрит на него с ужасом и изумлением, как на редкостное и страшное животное.

КЛЕТЧАТЫЙ. Сам-то я восемьсот второго года рождения. Самый здесь молодой, хе-хе... Из молодых, да ранний, как говорится... Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное — характер. Я не люблю, знаете ли, чтобы со мной шутили, и никто со мной шутить не рискует. Ко мне сам Магистр, знаете ли... хе-хе... не говоря уже о всех прочих... Быстрота и натиск прежде всего, я так полагаю. Извольте, к примеру, сравнить ваше нынешнее поведение с тем, как я себя вел при аналогичном, так сказать, выборе... Я тогда в этих краях по жандармской части служил и занимался преимущественно контрабандистами. И удалось мне выследить одну загадочную пятерку... Пещерка у них, вижу, в Крапивкином Яру, осторожное поведение... Ну, думаю, тут можно попользоваться. Выбрал одного из них, который показался мне пожиже, и взял. Лично. А взявши, обработал. Обрабатывать я уже умел хорошо, начальство не жаловалось. Ну-с, вот он мне все и

выложил... Заметьте, Феликс Александрович: то, что вам нынче на блюдечке преподнесли по ходу обстоятельств, мне досталось в поте лица... Всю ночь, помню, как каторжный... Однако, в отличие от вас, я быстро разобрался, что к чему. Там, где место только пятерым, там шестому не место. А значит — камень ему на шею, а сам — в дамках...

ФЕЛИКС. Так вот почему этот идиот на меня кинулся... со стамеской со своей... как ненормальный...

КЛЕТЧАТЫЙ. Не знаю, не знаю, Феликс Александрович... Думаю, понормальнее он нас с вами, как говорится... Да и то сказать: вот у кого опыт. С одна тысяча двести восемьдесят второго годика! Такое время при Источнике удержаться — это надобно уметь!

ФЕЛИКС. Костя? С тысяча двести? Да он же просто рифмоплет грошовый!

КЛЕТЧАТЫЙ. Ну, это как вам будет удобнее... Облегчились? Тогда пойдемте.

Они возвращаются в кабинет. В кабинете молчание. Наташа вдумчиво, с каким-то даже сладострастием обрабатывает помадой губы. Павел Павлович озабоченно колдует со своими серебристыми трубочками над ломтиками ветчины, разложенными на дольках белого пухлого

калача. Иван Давыдович читает рукопись Феликса, брови у него изумленно задраны. Курдюков же, заложив руки за спину, как хищник в клетке, кружит в тесном пространстве между дверью и окном. Битое лицо его искривлено так, что видны зубы. Увидев Феликса, он пятится к стене и прижимается к ней лопатками.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*взглянув на Феликса*). Ну? Всё в порядке? Мнительность, голубчик, мнительность! Нельзя так волноваться из-за каждого пустяка...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*бодро*). Так! Давайте заканчивать. Ротмистр, пожалуйста, приглядывайте за обоими. Вы, Басаврюк, стойте где стоите и не смейте кричать. Иначе я тут же, немедленно объявлю, что я против вас. Феликс Александрович, вы — сюда. И руки на стол, пожалуйста. Итак... С вашего позволения, я буду сразу переводить на русский... М-м-м... «В соответствии с основным... э-э-э... установлением... а именно, с параграфом его четырнадцатым... э-э... трактующим о важностях...» Проклятье! Как бы это... Князь, подскажите, как это будет лучше — «ахэллан»...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. «Наизначительнейшее наисамейшее важное».

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Чудовищно неуклюже!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Да пропустите вы всю эту белиберду, Магистр! Кому это сейчас нужно? Давайте суть, и своими словами!..

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы не возражаете, Феликс Александрович?

ФЕЛИКС. Я вам только одно скажу. Если ко мне кто-нибудь из вас приблизится...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Феликс Александрович! Совсем не об этом сейчас речь... Хорошо, я самую суть. Случай чрезвычайный, присутствуют все пятеро, каждый имеет один голос. Очередность высказываний произвольная либо по жребию, если кто-нибудь потребует. Прошу.

КУРДЮКОВ (*свистящим шепотом*). Я протестую!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. В чем дело?

КУРДЮКОВ. Он же не выбрал! Он же должен сначала выбрать!

НАТАША (*глядясь в зеркальце*). Ты полагаешь, котик, что он выберет смерть?

Все, кроме Курдюкова и Феликса, улыбаются.

КУРДЮКОВ. Я ничего не полагаю! Я полагаю, что должен быть порядок! Мы его должны спросить, а он должен нам ответить!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Ну, хорошо. Принято. Фе-

ликс Александрович, официально осведомляемся у вас, что вам угодно выбрать: смерть или бессмертие?

Белый как простыня, Феликс откидывается на спинку стула и в тоске хрустит пальцами.

ФЕЛИКС. Объясните хоть, что все это значит? Я не понимаю!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*с досадой*). Все вы прекрасно понимаете! Ну, хорошо... Если вы выбираете смерть, то вы умрете, и тогда голосовать нам, естественно, не будет надобности. Если же вы выберете бессмертие, тогда вы становитесь соискателем, и дальнейшая ситуация подлежит нашему обсуждению.

Пауза.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*с некоторым раздражением*). Неужели нельзя обойтись без этих драматических пауз?

НАТАША (*тоже с раздражением*). Действительно, Феликс! Тянешь кота за хвост...

ФЕЛИКС. Я вообще не хочу выбирать.

КУРДЮКОВ (*хлопнув себя по коленям*). Ну, вот и прекрасно! И голосовать нечего!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*с ошарашенным видом*).

Нет, позвольте...

НАТАША. Феликс, ты доиграешься! Здесь тебе не редколлегия!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Феликс Александрович, это что? Шутка? Извольте объясниться...

КУРДЮКОВ. А чего объясняться? Чего тут объясняться-то? Он же этот... гуманист! Тут и объясняться нечего! Бессмертия он не хочет, не нужно ему бессмертие, а отпустить его нельзя... Так чего же тут объясняться?

НАТАША (*взявшись за голову*). Ой, да перестань ты тарахтеть!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вы, Феликс Александрович, неудачное время выбрали для того, чтобы оригинальничать...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Вот именно. Объяснитесь!

КУРДЮКОВ. А чего тут объяс...

Иван Давыдович обращает на него свой мрачный взор, и Курдюков замолкает на полуслове.

ФЕЛИКС. Я в эту игру играть не намерен.

НАТАША (*нежно*). Это же не игра, дурачок! Никак ты свой рационализм преодолеть не можешь. Убьют тебя — и все. Потому что это не игра. Это кусочек твоей жизни. Может быть, последний.

КУРДЮКОВ. А что она вмешивается? Что она

лезет? Где это видано, чтобы уговаривали?

НАТАША (*указывает пальцем на Феликса*). Я — за него.

КУРДЮКОВ. Не по правилам!

НАТАША. Пусть он тебя удавит, а я ему помогу.

Курдюков хватается за лицо руками и с тоненьким писком съезжает по стене на пол.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Магистр, а может быть, Феликс Александрович просто плохо себе представляет конкретную процедуру? Может быть, нам следует ввести его в подробности?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Может быть. Попробуем. Итак, Феликс Александрович, когда вы выбрали бессмертие, вы тотчас становитесь соискателем. В этом случае мы утверждаем вашу кандидатуру простым большинством голосов, и тогда вам с господином Курдюковым останется решить вопрос между собой. Это может быть поединок, это может быть жребий, как вы договоритесь. Мы же, со своей стороны, сосредоточиваем свои усилия на том, чтобы ваше... э-э... соревнование... не вызвало нежелательных осложнений. Обеспечение алиби... избавление от мертвого тела... необходимые лжесвидетельства... и так далее. Теперь процедура вам ясна?

ФЕЛИКС (*решительно*). Делайте что хотите. В «шестой лишний» я с вами играть не буду.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*потрясенный*). Вы отказываетесь от шанса на бессмертие?

Феликс молчит.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*с восхищением*). Господа! Да он же любопытная фигура! Вот уж никогда бы не подумал! Писателишка, бумагомарака!.. Вы знаете, господа, я, пожалуй, тоже за него. Я — консерватор, господа, я не поклонник новшеств, но такой поворот событий! Или я ничего не понимаю, или теперь уже новые времена наступили наконец... Хомо новус?

КУРДЮКОВ (*скулит*). Да какой там хомо новус! Что вам, глаза позалепило? Продаст же он вас! Продаст! Для виду сейчас согласится, а завтра уже продаст! Да посмотрите вы на него! Ну зачем ему бессмертие? Он же гуманист, у него же принципы! У него же внуков двое! Как он от них откажется? Феликс, ну скажи ты им, ну зачем тебе бессмертие, если у тебя руки будут в крови? Ведь тебе зарезать меня придется, Феликс! Как ты своей Лизке в глаза-то посмотришь?

НАТАША (*насмешливо*). А что это он вмешивается? Что он лезет? Где это видано, чтоб

отговаривали?

КУРДЮКОВ (*не слушая*). Феликс! Ты меня послушай, я ведь тебя знаю, тебе же это не понравится. Ведь бессмертие — это и не жизнь, если хочешь, это совсем иное существование! Ведь я же знаю, что ты больше всего ценишь... Тебе дружбу подавай; тебе любовь подавай... А ведь ничего этого не будет! Откуда? Всю жизнь скрываться, от дочери скрываться, от внуков... Они же постареют, а ты нет! От властей скрываться, Феликс! Лет десять на одном месте — больше нельзя. И так веками, век за веком! (*Зловеще.*) А потом ты станешь такой, как мы. Ты станешь такой, как я! Ты очень меня любишь, Феликс? Посмотри, посмотри повнимательнее, я — твое зеркало.

Все слушают, всем очень интересно.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*блеет одобрительно*). Неплохо, очень неплохо изложено. Я бы еще добавил из Шмальгаузена: «Природа отняла у нас бессмертие, давши взамен любовь». Но ведь и наоборот, господа! И наоборот!

КУРДЮКОВ (*не слушая*). Это же нужен особый талант, Феликс, — получать удовольствие от бессмертия! Это тебе не рюмку водки выпить, не повестуху настрочить...

ФЕЛИКС. Что ты меня уговариваешь? Ты своих вон динозавров уговаривай, чтобы они от меня отстали! Мне твое бессмертие даром не нужно...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Позвольте, позвольте! Не увлекаетесь ли вы, Феликс Александрович? Как-никак бессмертие есть заветнейшая мечта рода человеческого! Величайшие из великих по пояс в крови не постеснялись бы пройти за бессмертием!.. Не гордыня ли вас обуревает, Феликс Александрович? Или вы все еще не верите?

ФЕЛИКС. Во-первых, я действительно вам не верю...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Но это же, простите, глупо. Нельзя же в своем рационализме доходить до глупости!

ФЕЛИКС. А во-вторых, вы мне предлагаете не бессмертие. Вы мне предлагаете совершить убийство.

КУРДЮКОВ (*страстно*). Убийство, Феликс! Убийство!

ФЕЛИКС. Величайшее из великих — ладно. Знаю я, кого вы имеете в виду. Чингисхан, Тамерлан... Вы мне их в пример не ставьте, я этих маньяков с детства ненавижу...

КУРДЮКОВ (*подхалимски*). Живодеры, садисты...

ФЕЛИКС. Молчи! Ты мне никогда особенно не нравился, чего там... а сейчас вообще омерзителен. Такой ты подонок оказался, Костя, просто подлец... Но убить! Да нет, чушь какая-то... Несерьезно.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. А вы что же, друг мой, хотите получить бессмертие даром? Забавно! Много ли вы в своей жизни получили даром? Очередь в кооператив получить — и то весь в грязи изваляешься... А тут все-таки бессмертие!

ФЕЛИКС. Даром я ничего не получил, это верно. Но и в грязи никогда не валялся...

КУРДЮКОВ. Ой ли?

ФЕЛИКС. Да уж задниц не лизал, как некоторые! Я работал! Работал и зарабатывал!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ну, вот и поработайте еще разок...

ФЕЛИКС (*угрюмо*). Это не работа.

КЛЕТЧАТЫЙ и *НАТАША* (*в один голос*). Почему это не работа?

Павел Павлович ухмыляется. Феликс оглядывает их всех по очереди.

ФЕЛИКС. Господи! Подумать только — Пушкин умер, а эти бессмертны! Коперник умер. Галилей умер...

КУРДЮКОВ (*остервенело*). Вот он! Вот он! Моралист вонючий в натуральную величину! Неужели вы и теперь не понимаете, с кем имеете дело?

НАТАША. Да-а, Феликс... Я, конечно, не Галилей, но Афродитой, помнится, ты меня называл, и не раз...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*поучительно*). Что жизнь, что бессмертие — и то и другое нам дарует Фатум. Только жизнь дается нам — грехами родителей — бесплатно, а за бессмертие надобно платить! Так что мне кажется, господа, вопрос решен. Феликс Александрович погорячится-погорячится, да потом и поймет, что жизнь дается человеку один раз, и коль скоро возникла возможность растянуть ее на неопределенный срок, то таковой возможностью надлежит воспользоваться независимо от того, какая у тебя фамилия — Галилей, Велизарий, Снегирев, Петров, Иванов... Феликсу Александровичу не нравится цена, которую придется ему за это платить. Тоже не страшно! Внутренне соберется, надуется... ну, нос зажмет в крайнем случае, если уж так его с души воротит... Кстати, вы, кажется, вообразили себе, Феликс Александрович, что вам предстоит перепиливать сопернику горло тупым ножом или, понимаете ли... как он вас, понимаете ли... стамеской... или

шилом...

КУРДЮКОВ. Только на шпагах.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ну зачем обязательно на шпагах? Две пилюльки, совершенно одинаковые на вид, на цвет, на запах... (*Лезет в часовой кармашек, достает плоскую округлую коробочку, раскрывает и показывает издали.*) Вы берете себе одну, соперник берет оставшуюся... Все решается в полминуты, не более... и никаких мучений, никаких судорог, рецепт древний, многократно испытанный... И заметьте, мук совести никаких: Фатум!

КУРДЮКОВ (*кричит*). Только на шпагах!

НАТАША (*задумчиво*). Вообще-то, на шпагах зрелищнее...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Во-первых, где взять шпаги? Во-вторых, где они будут драться? В этой комнате? На площади? Где? В-третьих, куда деть труп, покрытый колотыми и рублеными ранами?.. Хотя, разумеется, это гораздо более зрелищно. Особенно если принять во внимание, что Феликс Александрович сроду шпаги в руке не держал... Это вы совершенно правильно подметили, деточка: такие бои особенно привлекательны при явном превосходстве одной из сторон...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Господа, я вынужден еще

раз напомнить. Никаких акций в этой квартире. В том числе и с вашими пилюлями, Князь.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*вкрадчиво*). Ни малейших следов!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Нет!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Я гарантирую вам совершенно. Просто с человеком случится инфаркт. Или апоплексический удар...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Нет, нет и нет! Не сегодня и не здесь. Собственно, это вообще особый разговор. Вы забегаете, Князь! Давайте подбивать итоги. Вы, Князь, за соискателя. Вы, сударыня, тоже. Басаврюка я не спрашиваю. Ротмистр?

КЛЕТЧАТЫЙ (*бросает окурок на пол и задумчиво растирает его подошвой*). Всячески прошу вашего прощения, герр Магистр, но я против. И вы извините, мадам, целую ручки, и вы, ваше сиятельство. Упаси бог, никого обидеть не хочу и никого не хочу задеть, однако мнение в этом вопросе имею свое и, можно сказать, выстраданное. Господина Басаврюка я знаю с самого моего начала, давно уже, и никаких внезапностей от него ждать не приходится...

НАТАША (*насмешливо*). И нынешнюю прелестную ночку вы тоже ожидали, Ротмистр?

КЛЕТЧАТЫЙ. В нынешней прелестной ночке,

мадам, прелестного, конечно же, мало, но ничего такого уж совсем плохого в ней тоже нет. Все утрясется, все будет путем. Господин Басаврюк — человек слабый, оступился, и еще, может быть, оступится — больно уж робок. Но он же наш... А вот господин писатель, не в обиду ему будет сказано... Не верю я вам, господин писатель, не верю и никогда не поверю. И не потому я не верю, что вы плохой какой-нибудь или себе на уме — упаси бог! Просто не понимаю я вас. Не понимаю я, что вам нравится, а что вам не нравится, чего вы хотите, а чего не хотите... Чужой вы, Феликс Александрович. Будете вы в нашей маленькой компании как заноза в живом теле, и лучше для всех для нас, если вас не будет. Совсем. Извините великодушно, ежели кого задел. Намерения такого не было.

КУРДЮКОВ (*прочувствованно*). Спасибо, Ротмистр! Никогда я вам этого не забуду!

Клетчатый с заметной опаской взглядывает на него, делает неопределенный жест и принимается раскуривать очередную сигарету. И тут вдруг Курдюков, сидевший до сих пор на корточках у стены, падает на четвереньки, быстро, как паук, подбегает к Ивану Давыдовичу и стукается лбом в пол у его туфли.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*брезгливо-небрежно*). Хорошо, хорошо, я учту... Господа! Голоса разделились поровну. Решающий голос оказался за мной...

Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности.

Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его спокойно и отрешенно, он явно не слышит и не слушает, он даже улыбается углом рта! Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе, находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на Клетчатого.

ФЕЛИКС. Ротмистр, отдайте зажигалку! Давайте, давайте, я видел! Что за манеры?.. (*Ротмистр торопливо возвращает зажигалку.*) И перестаньте вы мусорить на пол! Вот пепельница, вытряхните и пользуйтесь!

Все смотрят на него настороженно.

ФЕЛИКС. Господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил... Но, по-

нимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало... И знаете, что я обнаружил? У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия! Комедия, господа! Забавно, правда?

Все молчат.

КУРДЮКОВ (*неуверенно*). Комедия ему...

НАТАША. Если комедия, то почему же не смешно?

ФЕЛИКС (*весело*). А это такая особенная комедия! Когда смеяться нечему! Когда впору плакать, а не смеяться!

И снова все молчат, и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Я хотел бы поговорить с соискателем наедине.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. И я тоже...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович?

ФЕЛИКС. Что за тайны?.. А впрочем, пройдемте в спальню.

В спальне Феликс садится на тахту, Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Итак, насколько я понял по вашему поведению, вы наконец сделали выбор.

ФЕЛИКС. Какой выбор? Смерть или бессмертие? Слушайте, бессмертие, может быть, и неплохая штука, не знаю... но в такой компании... В такой компании только покойников обмывать!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите! Но смерть же еще хуже! Да, конечно, по-своему вы правы. Когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через два-три века в мономана... Черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркитанточка из рейтарского обоза, — ныне в ней, кроме маркитантки, уже ничего не осталось, и надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот непритязательным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину...

ФЕЛИКС. Ну, знаете, ваш Павел Павлович не лучше!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Нисколько не лучше! Я не знаю, с чего он начинал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек...

ФЕЛИКС. Недурно сказано!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Благодарю вас... У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал?

Феликс неопределенно пожимает плечами.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Благодарю вас еще раз. Именно поэтому я и решил потолковать с вами без свидетелей. Чтобы не маячили рядом совсем уж омерзительные рожи. Не стану притворяться: я — холодный, равнодушный и жестокий человек. Иначе и быть не может. Мне пять сотен лет. За такое время волей-неволей освобождаешься от самых разнообразных химер: любовь, дружба, честь и прочее. Мы все такие. Но в отличие от моих компаньонов я имею идею. Для меня существует в этом мире нечто такое, что нельзя ни сожрать, ни облапить, ни засунуть под зад, чтобы стало еще мягче. За свою жизнь я сделал сто семь открытий и изобретений. Я выделил фосфор на пятьдесят лет раньше Брандта, я открыл хроматографию на двадцать лет раньше Цвета, я разработал периодическую систему примерно в те же годы, что и Дмитрий Иванович... По понятным причинам я вынужден сохранять все это в

тайне, иначе мое имя уже гремело бы в истории — гремело бы слишком, и это опасно. Всю жизнь я занимаюсь тем, что нынче назвали бы синтезированием Эликсира. Я хочу, чтобы его было вдосталь. Нет-нет, не из гуманных соображений! Меня не интересуют судьбы человечества. У меня свои резоны. Простейший из них: мне надоело сидеть в подполье и шарахаться от каждого жандарма. Мне надоело опережать свое время в открытиях. Мне надоело быть номером ноль. Я хочу быть номером один. Но мне не на кого опереться. Есть только четыре человека в мире, которым я мог бы довериться, но они абсолютно бесполезны для меня. А мне нужен помощник! Мне нужен интеллигентный собеседник, способный оценить красоту мысли, а не только красоту бабы или пирожка с капустой. Таким помощником можете стать вы. По сути, Курдюков оказал мне услугу: он поставил вас передо мной. Я же вижу — вы человек идеи. Так подумайте: попадется ли вам идея, еще более достойная, чем моя!

ФЕЛИКС. Я ничего не понимаю в химии.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. В химии понимаю я! Мне не нужен человек, который понимает в химии. Мне нужен человек, который понимает в идеях. Я устал быть один. Мне нужен собеседник,

мне нужен оппонент. Соглашайтесь, Феликс Александрович! До сих пор бессмертных творил Фатум. С вашей помощью их начну творить я. Соглашайтесь!

ФЕЛИКС (*задумчиво*). Н-да-а-а...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вас смущает плата? Это пустяки. Нигде не сказано, что вы обязаны убирать его собственными руками. Я обойдусь без вас.

ФЕЛИКС. Всунете меня в сапоги убитого?

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вздор, вздор, Феликс Александрович! Детский лепет, а вы же взрослый человек... Константин Курдюков прожил на свете семьсот лет! И все это время он только и делал, что жрал, пил, грабил, портил малолетних и убивал. Он прожил лишних шестьсот пятьдесят лет! Это просто патологический трус, который боится смерти так, что готов пойти на смерть, чтобы только избежать ее! Шестьсот пятьдесят лет, как он уже мертв, а вы разводите антимонии вокруг его сапог! Кстати, и не его это сапоги, он сам влез в них, когда они были еще теплые... Послушайте, я был о вас лучшего мнения! Вам предлагают грандиознейшую цель, а вы думаете — о чем?

ФЕЛИКС. Ни вы, ни я не имеем права решать, кому жить, а кому умереть.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Ах, как с вами трудно!

Гораздо труднее, чем я ожидал! Чего же вы добиваетесь тогда? Ведь пойдете под нож!

ФЕЛИКС. Да не пойду я под нож!

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Пойдете под нож, как баран, а это ничтожество, эта тварь дрожащая, коей шестьсот лет как пора уже сгнить дотла, еще шестьсот лет будет порхать с цветка на цветок без малейшей пользы для чего бы то ни было! А я-то вообразил, что у вас действительно есть принципы. Ведь вы же писатель. Ведь сказано же было таким, как вы, что настоящий писатель должен жить долго! Вам же предоставляется возможность, какой не было ни у кого! Переварить в душе своей многовековой личный опыт, одарить человечество многовековой мудростью... Вы подумайте, сколько книг у вас впереди, Феликс Александрович! И каких книг — невиданных, небывалых!.. Да, а я-то думал, что вы действительно готовы сделать что-то для человечества, о котором с такой страстью распинаетесь в своей статье... Эх вы, мотыльки, эфемеры!..

ФЕЛИКС. Вот мы уже и о пользе для человечества заговорили...

Иван Давыдович поднимается и некоторое время смотрит на Феликса.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Вам, кажется, угодно разыгрывать из себя героя, Феликс Александрович, но ведь сочтут-то вас глупцом!

Он выходит, и сейчас же в спальне объявляется Клетчатый.

КЛЕТЧАТЫЙ. Прошу прощения... Телефончик...

Он быстро и ловко отключает телефонный аппарат и несет его к двери. Перед дверью он приостанавливается.

КЛЕТЧАТЫЙ. Давеча, Феликс Александрович, я мог показаться вам дерзким. Так вот, не хотелось бы оставить такое впечатление. В моей натуре главное — прямота. Что думаю, то и говорю. Однако же намерения обидеть, задеть, возвыситься никогда не имею.

ФЕЛИКС. Валите, валите отсюда... Да с телефоном поосторожнее! Это вам не предмет конфискации! Можете позвать следующего. Очередь небось уже выстроилась...

Оставшись один, Феликс валится спиной на кушетку и закладывает руки под голову. Бормочет: «Ничего... Тут главное — нервы. Ни черта они мне не сделают, не посмеют!..»

У двери в спальню Курдюков уламывает Клет-

чатого.

КУРДЮКОВ. Убежит, я вам говорю! Обязательно удерет! Вы же его не знаете!

КЛЕТЧАТЫЙ. Куда удерет? Седьмой этаж, сударь...

КУРДЮКОВ. Придумает что-нибудь! Дайте я сам посмотрю...

КЛЕТЧАТЫЙ. Нечего вам там смотреть, все уже осмотрено...

КУРДЮКОВ. Ну я прошу вас, Ротмистр! Как благородный человек! Я вам честно скажу: мне с ним поговорить надо...

КЛЕТЧАТЫЙ. Поговорить... Вы его там шлепнете, а мне потом отвечать...

КУРДЮКОВ (*страстно, показывая растопыренные ладони*). Чем? Чем я его шлепну? А если даже и шлепну? Что здесь плохого?

КЛЕТЧАТЫЙ. Плохого здесь, может быть, ничего и нет, но ведь, с другой стороны, приказ есть приказ... (*Он быстро и профессионально обшаривает Курдюкова.*) Ладно уж, идите, господин Басаврюк. И помогай вам бог...

Курдюков на цыпочках входит в спальню и плотно закрывает за собой дверь.

Феликс встречает его угрюмым взглядом, но

Курдюкова это нисколько не смущает. Он подскакивает к тахте и наклоняется к самому уху Феликса.

КУРДЮКОВ. Значит, делаем так. Я беру на себя Ротмистра. От тебя же требуется только одно: держи Магистра за руки, да покрепче. Остальное — мое дело.

Феликс отодвигает его растопыренной ладонью и садится.

КУРДЮКОВ. Ну, что уставился? Надо нам из этого дерьма выбираться или не надо? Чего хорошего, если тебя шлепнут или меня шлепнут? Ты, может, думаешь, что о тебе кто-нибудь позаботится? Чего тебе тут Магистр наплел? Наобещал небось с три короба? Не верь ни единому слову! Нам надо самим о себе позаботиться! Больше заботиться некому! Дурак, нам только бы вырваться отсюда, а потом дернем кто куда... Неужели у тебя места не найдется, куда можно нырнуть и отсидеться?

ФЕЛИКС. Значит, я хватаю Магистра?

КУРДЮКОВ. Ну?

ФЕЛИКС. А ты, значит, хватаешь Ротмистра?

КУРДЮКОВ. Ну! Остальные, они ничего не стоят!

ФЕЛИКС. Пошел вон!

КУРДЮКОВ. Да почему? Дурак! Не веришь мне! Ну, ты мне только пообещай: когда я Ротмистра схвачу, попридержи Ивана Давыдовича!

ФЕЛИКС. Вон пошел, я тебе говорю!

Курдюков рычит, совершенно как собака. Он подбегает к окну, быстро и внимательно оглядывает раму и, удовлетворившись, устремляется к двери. Распахнув ее, он оборачивается к Феликсу и громко шипит: «О себе подумай, Снегирев! Еще раз тебе говорю! О себе подумай!»

Едва он скрывается, в спальню является Наташа и тоже плотно закрывает за собой дверь. Она подходит к тахте, садится рядом с Феликсом и озирается.

НАТАША. Господи, как давно я здесь не была! А где же секретер? У тебя же тут секретерчик стоял...

ФЕЛИКС. Лизавете отдал. Почему это тебя волнует?

НАТАША. А что это ты такой колючий? Я ведь тебе ничего плохого не сделала. Ты ведь сам в эту историю въехал... Фу ты, какое злое лицо! Вчера ты на меня совсем не так смотрел... Страшно?

ФЕЛИКС. А чего мне бояться?

НАТАША. Ну, как сказать... Пока Курдюков жив...

ФЕЛИКС. Да не посмеете вы.

НАТАША. Сегодня не посмеем, а завтра...

ФЕЛИКС. И завтра не посмеете... Неужели никто из вас до сих пор не сообразил, что вам же хуже будет?

НАТАША. Слушай. Ты же не понимаешь. Они же совсем без ума от страха. Они сейчас от страха на все готовы, вот что тебе надо понять. Я вижу, ты что-то там задумал. Не зарывайся! Никому не верь, ни единому слову. И спиной ни к кому не поворачивайся — охнуть не успеешь! Я видела, как это делается...

ФЕЛИКС. Что это ты вдруг меня опять полюбила?

НАТАША. Сама не знаю. Я тебя сегодня словно впервые увидела. Я же думала: ну, мужичишка, ну, кобелек, на два вечерка сгодится... А ты вон какой у меня оказался! (*Она совсем придвигается к нему, и прижимается, и гладит по лицу.*) Мужчина... Хомо... Обними меня! Ну что ты сидишь, как чужой?.. Это же я... Вспомни, как ты говорил: фея, ведьма прекрасная... Я ведь проститься хочу... Я не знаю, что будет через час... Может быть, мы сейчас последний раз с тобой...

Феликс с усилием освобождается от ее руки и встает.

ФЕЛИКС. Да что ты меня хоронишь? Перестань! Вот уж нашла время и место!

НАТАША (*цепляясь за него*). В последний разочек...

ФЕЛИКС. Никаких разочков... С ума сошла... Да перестань, в самом деле!

Он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну, а она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду: «Ну почему? Почему?.. Это же я, вспомни меня... Трупик мой любимый, желанный!..»

ФЕЛИКС. Слушай! Тебе же пятьсот лет! Побойся бога, старая женщина! Да мне теперь и подумать страшно!..

Она останавливается, будто он ударил ее кнутом.

НАТАША. Болван. Труп вонючий. Евнух.

ФЕЛИКС (*спохватившись*). Господи, извини... Что это я, в самом деле... Но и так же тоже нельзя...

НАТАША. Дрянь. Идиот. Ты что — вообразил, что Магистр за тебя заступится? Да ему же одно

только и нужно — баки тебе забить, чтобы ты завтра по милициям не побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя будем кончать! Что он тебе наобещал? Какие золотые башни? Дурак ты стоеросовый, кастрат неживой! Тьфу!

Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Деточка, десять минут истекли! Я полагаю, вы уже закончили?

НАТАША (*злобно*). С ним закончишь! И не начинали даже! (*Решительными точными движениями она оправляет на себе платье, волосы.*) Хотела напоследок попользоваться, но он же ни на что не годен, Князь! Не понимаю, на что вы надеетесь...

И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы ее, кажется, обидели... Задели, кажется... Напрасно, напрасно. (*Садится на тахту, откусывает от бутерброда.*) Весьма опрометчиво. Могли бы заметить: у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим относятся очень болезненно! Обратили вни-

мание, как наш Басаврюк попытался Маркизу подставить вместо себя? Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла? Ход простейший, но очень, очень эффективный! И если бы не трусость его, могло бы и пройти... Вполне могло бы! А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет этак семьдесят назад. Или сто, не помню. Отказала ему Маркиза. И не то чтобы он горел особенной страстью, но отказала! То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала... Чувствуете? Вы не поверите, а вот семьдесят лет прошло, и еще сто семьдесят лет пройдет, а забыто не будет! А в общем-то мы все друг друга не слишком-то долюбливаем. Да и за что мне их любить? Вздорные существа, мелкие, бездарные... Этот Магистр наш, Иван Давыдович, высоко о себе мнит, а на самом деле — обыкновенный графоман от науки. Я же специально справки наводил у него в институте... Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева! Диву даюсь, что в нем этот Ротмистр нашел? Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович, присаживайтесь, поговорим...

Феликс садится на другой край тахты, закуривает и исподлобья наблюдает за Павлом

Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативши глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой как бы в экстазе.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*проглотив наконец, продолжает*). Вот чего вы, смертные, понять не в состоянии — вкуса. Вкуса у вас нет! Иногда я стою в зале ресторана, и наблюдаю за вами, и думаю: «Боже мой! Да люди ли это? Мыслящие ли это существа?» Ведь вы же не едите, Феликс Александрович! Вы же просто в рот куски кидаете! Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар огромной лопатой швыряет в топку бездарный уголь, коим только головы разбивать... Ужасающее зрелище, уверяю вас... Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, на ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертие даровано Агасферу. По слухам, это желчный, сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие — это бессмертие совсем иного сорта! Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром, это бессмертие вечно пирующих воинов Валгаллы!.. Эликсир — это что-то поразительное! Вы можете

есть все что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах... Никаких катаров, никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров... И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения! Какое необозримое поле для эксперимента! А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович! Не умеете — да. Но любите! Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу, век благодарны будете... и не один век!

ФЕЛИКС. Да вы просто поэт бессмертия! Бессмертный бог гастрономии!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Оставьте этот яд. Он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и быть не может привычки распоряжаться чужой жизнью, это не в обычаях общества... А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах — никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца — Магистр обожает шприцы!

— либо «русская рулетка»... А тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук, этим буду заниматься я, как старший, и успех я вам гарантирую...

ФЕЛИКС. Слушайте, а зачем это вам? Какая вам от меня польза, вашество? Чокаться вам не с кем, что ли? Нектаром...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Польза-то как раз должна быть вам очевидна. Во-первых, мы уберем мозгляка. Это поганый тип, он у меня повара сманил, Жерарчика моего бесценного... Карточные долги я ему простил, пусть, но Жерара! Не могу я этого забыть, не хочу, и не просите... А потом... Равновесия у нас в компании нет, вот что главное. Я старше всех, а хожу на вторых ролях. Почему? А потому, что деревянный болван Ротмистр держит почему-то нашего алхимика за вождя. Да какой он вождь? Он пеленки еще мочил, когда я был хранителем трех Ключей... А теперь у него два Ключа, а у меня — один!

ФЕЛИКС. Понимаю вас. Однако же я не Ротмистр.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Э, батенька! Что значит — не Ротмистр? Физически крепкий человек, да еще с хорошо подвешенным языком, да еще писатель, то есть человек с воображением... Да

мы бы с вами горы своротили вдвоем! Я бы вас с Маркизой помирил... что вам делить с Маркизой? И стало бы нас уже трое...

ФЕЛИКС. Благодарю за честь, вашество, но боюсь, что вынужден отказаться.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Почему, позвольте узнать?

ФЕЛИКС. Тошнит.

Пауза.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Позвольте мне резюмировать ситуацию. С одной стороны, практическое бессмертие, озаренное наслаждениями, о которых я вынужденно упомянул лишь самым схематическим образом. А с другой стороны — скорая смерть, в течение ближайшей недели, я полагаю, причем, может быть, и мучительная. И вам угодно выбрать...

ФЕЛИКС. Я резюмирую ситуацию совсем не так...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Батенька, да в словах ли дело? Бессмертия вы жаждете или нет?

ФЕЛИКС. На ваших условиях? Конечно, нет.

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*воздевая руки*). На наших условиях, видите ли! Да что же вы за человек, Феликс Александрович? Ужасаться прикажете вам? Склонить перед вами голову? Или развести

руками?

ФЕЛИКС. Погодите, вашество. Я вам сейчас объясню...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (*не слушая*). Я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти... Скажем, времена до Брестской унии помню, и что было после Ужгородской — тоже помню, а что было между ними — как метлой вымело... Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал! Кого только среди них не было... Византийский логофет, богомил-еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова... И как же все они жаждали припасть к Источнику! Головы приносили и швыряли передо мной: «Я! Я вместо него!» Конечно, нравы теперь не те, головы не принято отсекать, но ведь и не требуется! Простое согласие от вас требуется, Феликс Александрович! Так нет! Отказывается! Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас! Не идеал, совсем не идеал! И выпить, и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд... И вдруг такая твердокаменность! Не-ет, потрясли вы меня, Феликс Александрович. Просто в самое сердце поразили.

Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить, а теперь и понимаете, и верите... Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор, знаете вы, что не будет вам никакого венца... Фанатик? Нет! Мазохист? Тем более — нет. Значит — хомо новус. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то, грешным делом, думал: человеков я знаю досконально... (*Он смотрит на часы и поднимается. Произносит задумчиво.*) Ну что ж, каждому свое. Пойдемте, Феликс Александрович, времени у нас больше не осталось.

В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами, берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды снует Курдюков, руки его согнуты в локтях, пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует невидимым оркестром. Клетчатый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями. А Иван Давыдович листает газетную подшивку.

Светает. За окнами туман. Входят Павел Павлович и Феликс.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Наконец-то! (*Отбрасывает подшивку.*) Итак, Феликс Александрович, ваше решение!

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Одну минуточку, Магистр. Я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что Ротмистр прав. Отныне я за нашего дорогого Басаврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

КУРДЮКОВ. Благодетель!

НАТАША. Я тоже. К дьяволу чистоплюев.

КУРДЮКОВ. Благодетельница! (*Торжествующе показывает Феликсу язык.*)

ИВАН ДАВЫДОВИЧ (*после паузы*). Вот как? Н-ну что ж... А я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. И я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества.

Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним.

КЛЕТЧАТЫЙ. Я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю.

КУРДЮКОВ (*плачет*). За что? Я же всегда за... Я же свой... А он сам не хочет...

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ. Во-первых, он сам не хочет.

А во-вторых, Магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Но я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас! Уже светло, сделать сегодня мы все равно ничего не сможем, мы не готовы, надо все хорошенько продумать... Господа! Мы расходимся. О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремении...

КУРДЮКОВ (*хрипит*). Он же в милицию... Сию же минуту!..

Иван Давыдович обращает пристальный взор на Феликса.

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Милостивый государь! Вам были сделаны весьма лестные предложения, не забывайте об этом. Обдумайте их в спокойной обстановке. И помните, пожалуйста, что длинный язык может лишь принести вам и вашим близким непоправимые беды!

ФЕЛИКС. Иван Давыдович! Да перестаньте же вы мне угрожать. Ну как можно быть таким самовлюбленным дураком? Неужели же не понятно, что я скорее откушу себе этот мой длинный язык, чем хоть кому-нибудь раскрою такую тайну? Неужели же вы не способны понять, какое это

счастье для всего человечества — что у Источника бессмертия собралась именно ваша компания, компания бездарей, ленивых, бездарных, похотливых ослов...

ИВАН ДАВЫДОВИЧ. Милостивый государь!

ФЕЛИКС. Какое это безмерное счастье! Помыслить ведь страшно, что будет, если тайна раскроется и к Источнику прорвется хоть один настоящий, неукротимый, энергичный, сильный негодяй!.. Что может быть страшнее! Бессмертный пожиратель бутербродов — да это же огромная удача для планеты! Бессмертный энергичный властолюбец — вот это уже беда, вот это уже страшно, это катастрофа... Поэтому спите спокойно, динозавры вы мои дорогие! Под пытками не выдам я вашей тайны...

Они уходят, они бегут. Первой выскакивает Наталья Петровна, на ходу запихивая в сумочку свои косметические цацки. Величественно удаляется, постукивая зонтиком-тростью, Павел Павлович, сохраняя ироническое выражение на лице. Трусливо озираясь, удирает Курдюков, теряя и подхватывая больничные тапочки. Клетчатый не совсем улавливает пафос происходящего, он просто дожидается Ивана Давыдовича. Иван же Давыдович слушает дольше всех, но в конце

концов и он не выдерживает.

ФЕЛИКС (*им вслед*). Под самыми страшными пытками не выдам! Умру за вас, как последняя собака! Курдюкова буду беречь как зеницу ока, за ручку его буду через улицу переводить... И запомните: ежели что, не дай бог, случится, я в вашем полном распоряжении! Считайте, что теперь есть у вас ангел-хранитель на этой Земле!

Феликс стоит у окна и рассматривает всю компанию с высоты седьмого этажа. Курдюкова запихивают в кремовые «Жигули», Клетчатый за ним, Наташа садится за руль, Иван Давыдович — с нею рядом. Павел Павлович приветствует отъезжающую машину, приподняв шляпу, а затем неспешно, постукивая тростью-зонтиком, уходит из поля зрения.

И тогда Феликс оборачивается и оглядывает кабинет. Вся мебель сдвинута и перекошена. На полу раздавленные окурки, измятые книги, черные пятна кофе, растоптанные телефонные аппараты, осколки фарфора. На столах, на листах рукописи валяются огрызки и объедки, тарелки с остатками еды, грязная сковородка.

Дом уже проснулся. Слышно, как гудит лифт, грохают где-то двери, раздаются шаги, голоса.

И тут дверь в кабинет растворяется, и на пороге появляется дочь Феликса Лиза с двумя карапузами-близнецами.

— Почему у тебя дверь... — *начинает она и ахает.* — Что такое? Что у тебя тут было?

ФЕЛИКС. Пиршество бессмертных.

ЛИЗА. Какой ужас... И телефоны разбили! То-то же я не могла тебе дозвониться... В садике сегодня карантин, и я привела к тебе...

ФЕЛИКС. Давай их сюда, этих разбойников. Идите сюда скорее, ко мне. Сейчас мы с вами все тут приберем. Правильно, Фома?

ФОМА. Правильно.

ФЕЛИКС. Правильно, Антон?

АНТОН. Неправильно. Бегать хочу.

ДЬЯВОЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Сон совести рождает чудовищ.
Перефраз

1

Но какое допустил святотатство патер грубый! Он послать себе позволил «Таусфес-Ионтеф» к черту в зубы. «Боже, тут всему конец!» — крикнул рабби в исступленье...

Мой стариннейший знакомец (ныне уже покойный), майор милиции С., как-то попросил меня написать все, что я знаю о деле Кима Сергеевича Волошина. Ему хотелось, чтобы я рассказал всю эту историю, как она представлялась мне и некоторым моим сосвидетелям, не скрывая никаких подробностей. Помнится, я принял тогда эту его просьбу за проявление некоего местного патриотизма. Он тяжело и искренне любил наш Ташлинск и всячески стремился прославить его в веках, и помню я, как бурно он радовался, когда открылось, что у нас целую неделю квартировал штаб мятежного Пугачева. Но если говорить откровенно, что представлял собою Ташлинск в дни моей юности? Не то что на карте генеральной, не во всяком атласе отыщешь. Так, большое село. Да и ныне скорее село, нежели город, хотя

именуется городом. Районный центрик в бывшей Новоизотовской, ныне снова Ольденбургской области. Маслозавод, механические мастерские, райком партии, пяток кинотеатров.

С другой стороны — майор С. Тот самый, что шестью выстрелами уложил в нашем Овраге восьмерых бродячих кошек и старуху побирушку. У него своя логика, и, боюсь, безупречная. Взять, например, Назарет. Тоже ведь не был ни вторым Карфагеном, ни третьим Римом, а ныне славен на весь мир! Так что если когда-нибудь историю с Кимом Волошиным размотают и распубликуют, то вполне возможно, что в каких-нибудь анналах, медицинских или, на крайний случай, уголовных, появится термин «ташлинский феномен». Это и требуется. И нечего, Алексей Андреевич, саботировать. Я вам в свое время посильно помогал, извольте соответствовать.

Я долго уклонялся, ссылаясь — и не ложно — то на хворости, то на занятость. А потом майор С. вдруг умер. Он был на десяток лет моложе меня; я узнал, что умер он не от тех болезней, которые за ним числились, и я понял, что это — судьба. И сел за машинку.

2

Говорят, в разгромленной ковровыми бомбежками японской столице часто находили в развалинах «черных кукол», вцепившихся друг в друга заживо сгоревших людей. Да еще в блокадном Ленинграде видели сплетшихся в смертном объятии скелетоподобных мертвецов. Было, было что-то, толкавшее в смертную минуту людей друг к другу. Да что говорить! В восемнадцатом году топили гардемаринов, мальчиков пятнадцати-шестнадцати годков. Связывали руки за спиной, навешивали на шею ржавые колосники и сталкивали за борт. Одного за другим, в общую кучу. Вода была на удивление прозрачная, и любопытствующие отметили, что в последние секунды земного существования своего утопленные копошились в груде уже мертвых, словно бы стремясь найти себе уютное место, склубиться в одну общую массу.

Я ведь и не помню времени, когда впервые

встретился и подружился с Кимом Волошиным. Время было тягостное. Мужчин рвало на куски германское железо, а женщины вкалывали, молились и плакали ночами до изнеможения. Время было под лозунгом «Все на Голгофу!». Вот в это время и появился в нашем Ташлинске будущий возмутитель спокойствия нашего, замурзанный и обтрепанный, с трудом владеющий человеческой речью мальчик Ким. Как появился? Да просто волею смертельно уставшей чиновницы, торопливо заполнявшей бесконечные ведомости. Уже в студенческие времена довелось мне услышать анонимную песню под гитару:

Из краев освобожденных,
С черной, выжженной земли
К нам пригнали эшелоны
И детишек привезли...

Эшелоны не эшелоны, а десяток детишек по какому-то распределению доставили в Ташлинск. Еще в первую военную зиму к нам пригнали целый детский дом из Западной Украины. И Кима угодили туда. Нет, ничего плохого про это заведение не скажу. Из детдомовцев этих вышли совсем неплохие люди. Тот же майор С., например. Или (на свою беду) первый секретарь

нашего горкома... Ну, конечно, и сволочи вышли, не стану называть фамилии, они подохли уже и пусть горят вечным огнем. Все они умирали тяжело, и не мне, их врачу, вещать на весь свет то, что мне о них рассказывали и тем более в чем они в предсмертном бреду мне признавались. О мертвых, как известно, либо ничего... А почему, собственно? Впрочем, речь не о них.

Ну-с, Ким у нас угодил в этот самый детский дом к пацанам из Западной Украины. И там его, конечно, как завзятого кацапа принялись было нещадно бить. Походя оскорблять, мочиться в его постель, отнимать еду. Дело известное. Мальчишки и звери — одна потеря. Но тут не на таковского напали. Ну-с, когда его в очередной раз жестоко отлупили, отобрали у него добротные армейские ботинки и отняли за ужином миску голодной каши вместе с голодной хлебной пайкой, он среди ночи тихонько встал, подкрался к своему главному обидчику, сыто и сладко спавшему под тремя одеялами, и со всего размаху треснул его по голове табуреткой. Ирония судьбы. Этого долдона через месяц должны были призвать в армию. Но после табуреточного сотрясения он почти пять месяцев проволынил в больнице и тем, по существу, спасся. Я его видел потом: кон-

чил войну каким-то политруком, орден, медали и харя — троим не обгадить. Инструктор нашего родного Ольденбургского... виноват, тогда еще Новоизотовского обкома. Оч-чень значительное лицо, ныне, впрочем, на пенсии.

Так вот, о Киме. Табуреточное дело в детдоме, конечно, замяли. Там и не такие дела заминали. Трех заведующих, пятерых завхозов, неучтенное число поварих и нянек отдали под суд, шайки осатаневших от голода воспитанников грабили погреба, лавки и хаты, хозяйки отбивались вилами и топорами, трупы мальчишек и девчонок тайком где-то закапывали, изувеченных увозили неизвестно куда... Это общеизвестное. А что касается Кима, то приставать к нему перестали, но и дружбы ничьей в родном детдоме он не сыскал. Все числились на Голгофе. И Ким подружился со мной.

Во-первых, в классе оказались мы за одной партой. Это само по себе сближает. Но главное — моя мама. Чем-то очень ей понравился Ким. И когда приходил он к нам делать уроки, ему всегда выставлялось угощенье: мятая вареная картошка, круто посоленная и с нарезанным лучком, залитая обратом. И мы всласть лопали. Боже мой, как мы лопали, вспомнить страшно!

Только хлеба, конечно, было маловато — так, по маленькой горбушке на нос.

И изрядно было нами обговорено в ту пору, как это всегда водится между мальчишками.

3

Палач не плясал на трупах. Это бедной Катлине почудилось в бреду. Он просто утаптывал землю на свежем захоронении.

Точного возраста своего Ким не знал, пять лет ему записали на глазок. Не знал он и своей фамилии, и имени отца не знал, а знал только, что мать звали Дуня, бабушку — Вера, а деда в семье звали Старый. Отчество и фамилию дали ему от какого-то солдата, не то санитара, не то кашевара, при котором он кантовался, пока не был отправлен в тыл. Ну и спасибо неведомому Сергею Волошину, пускай земля ему будет пухом. И уж если говорить об именах, то раз Ким признался мне, что по-настоящему звали его Клим (в честь Первого Маршала, надо полагать), но, когда его расспрашивали, он еще весь трясся и пропускал буквы, так и получился у него Ким вместо Клима, так и записали...

А родом он был откуда-то с юга, то ли из Батайска, то ли из Ростова. Отец сразу же ушел на войну и сгинул, во всяком случае, у Кима о нем

не осталось никаких воспоминаний. Когда немцы подошли к городу, мать подхватила сынка и перебралась к родителям. Надо полагать, куда-то неподалеку. Уже через несколько дней немцы без боя ворвались в это местечко и помчались дальше. На восток, на восток! Нах Шталинград!

Об оккупации у Кима особых воспоминаний не сохранилось. Кажется даже, что это было самое сладкое время в его маленькой жизни. Дед Старый и баба Вера души в нем не чаяли, картошки со сметаной, яиц и морковки было предостаточно, обширный двор и садик были в его полном распоряжении, вот только мать чахла день ото дня... Потом наступила та страшная зима, когда война взялась за него по-настоящему.

Вероятно, местечко это имело важное стратегическое значение, иначе чего бы две самые могучие армии в мире топтались на нем несколько дней (часов? недель?), гремели, бабахали, лязгали над головами двух стариков, молодой женщины и ребенка, в ужасе зарывшихся в кучу картошки на дне погреба? Метались по земляным стенам охваченные паникой крысы, изобильно сыпалось с потолка, и все тряслось в кромешной тьме... Выдалась тихая минутка, и дед Старый ползком вскарабкался по земляным ступеням и

осторожно выглянул наружу, и сейчас же снова скатился вниз и сообщил, что хату разнесло до завалинки, а на месте сортира навалены грудой то ли мешки какие-то, то ли тела. Затем загремело, забахало, залязгало опять, да еще и сильнее. Мать легла на Кима, прикрыв его своим немощным телом, баба Вера громко читала молитвы, дед Старый кряхтел и ворочался во тьме, все старался зарыть любимых людей поглубже в картошку, а маленький Ким лежал, притиснутый телом матери, задыхался и ходил под себя... И тут снаружи вышибли дверь погреба и вбросили гранату.

Немец? Наш? Какая разница! Треснула взломанная дверь, погреб озарился серым светом, затем со стуком упало рядом, покатилось и грянуло. Целую вечность Ким лежал под трупами тех, кто мог им интересоваться. Потом еще одну вечность он выбирался из-под этих трупов. Он выбрался, залитый кровью и испражнениями, сполз на земляной пол и завыл. Он выл и никак не мог остановиться. Он не помнит, как пришли, как вытащили его наружу, смутно припоминается ему, как кто-то плачет над ним, кто-то матерится люто, потом его мыли и оттирали, и кто-то голый, стриженный ступеньками, лил на него нестерпимо горячую воду и надирал жесткой мочалкой. И

вот он оказался чистенький, в подшитой, но все равно непомерной солдатской форме, с брезентовым ремнем и погонами, в громадных ботинках, набитых ветошью, в настоящих обмотках, толсто намотанных на его тощие ноги, и он был под опекой славного санитара-кашевара дяди Сережи и мчался со всей армией на запад, на запад, на Берлин!

До Берлина он не домчался, а оказался вдруг в эшелоне, в телятнике, набитом такими же возгрявыми бедолагами, котелок замечательно вкусной пшенки с говядиной (на двоих в сутки), буханка хлеба, тоже замечательно вкусного (на пятерых в сутки), Новоизотовск, распределитель, Ташлинск. Все.

4

Союзные моряки стали жаловаться, что, сойдя на берег после арктических тягот, они у нас лишены женской ласки и оттого могут ненароком исчахнуть. Тогда горком обратился к комсомолкам в возрасте от семнадцати до двадцати лет с предложением порадеть нашим славным товарищам по оружию. Те, конечно, порадеть не отказались. Что делать, времена тяжелые, а тут тебе и консервы, и шоколад, и виски, и чулочки. Однако когда война закончилась, их всех объявили изменниками Родины, погрузили на баржи и потащили в открытый океан. На остров Сальм, как им объявили. Но до острова Сальма их не дотащили, а потопили из-под воды торпедами. Светило красное полуночное солнце, белело небо над далекой кромкой вечных льдов, океан был как зеркало, и до самого горизонта виднелись по воде женские головы — русые, каштановые, черные...

Одним из первых возвратился в Ташлинск мамин брат дядя Костя. И была при нем одна нога, одинокая медаль «За отвагу» на широкой груди, тощий сидор с нехитрыми пожитками да еще великолепный аккордеон, который, по его словам (и я ему верю), он взял из подбитого им же немецкого танка.

Помнится, вечер был. Женщин к нам набилось великое множество. Вареная картошка и соленые огурцы высились на столе горами, и не было недостатка в самогоне. Нас с Кимом затиснули в угол, но в миски, что мы протискивали между женскими боками, накладывали не глядя, а нам того и надо было. Мы только перемигивались за спинами. Потом Фроська, толстая наглая девка, с самого начала липнувшая к герою, игриво осведомилась, отчего это на его широкой груди вроде пустовато. На нее зашикали, а дядя Костя, потрогав свою медаль и весь скривившись, очень внятно объяснил беспутной Фроське, что и куда дают Ваньке за атаку и за что дают Красную Звезду Тамарке. Все потупились, кто-то хихикнул, кто-то всплакнул. У Фроськи толстые щеки стали лиловые.

— Ладно, — произнес дядя Костя. — Я вам лучше спою. Может, понятнее будет.

Он достал из футляра аккордеон и запел. Странная была песня, и мотив странный — не то марш, не то тоска предсмертная.

Справа танки, ребята, справа танки, друзья!

Приготовьте гранаты, удирать нам нельзя.

Эй, Сережка с Павлушкой, мочи-сил не жалей,

Накатите мне пушку на бруствер скорей!

У Сережки-студента есть фляга вина.

Не теряйте момента, осушайте до дна!

На закуску узнаем, не пройдет еще час,

Есть ли небо над раем иль морочили нас...

Против гадов с крестами — что мои «сорок пять»?

И снаряды мы стали, словно мертвых, считать...

И остался у пушки я один бить отбой.

Спи спокойно, Павлушка, я иду за то-

бой.

Тишина стала в хате. И вдруг мой Ким забился рядом со мной, выронил миску и, то ли хохоча истерически, то ли икая, принялся бессвязно выкрикивать:

— Колоть их!.. С крестами, без крестов... всех! На мелкие куски! Чтобы ни одного!.. Вдребезги их! В мясо-кровь!..

Он захлебнулся криком и стал закидываться, словно бы стараясь прижать затылок к лопаткам. Женщины подхватили его, принялись дуть в лицо, лить воду через стиснутые зубы. Дядя Костя спросил брезгливо:

— Это еще кто?

Мама торопливо объяснила: Лешкин-де дружок, детдомовец, а больше ничего не объясняла, но дядя Костя и без того понял. Он опрокинул стопку, закусил огурец и пробормотал, плюясь семечками:

— Оттуда, значит... Ну, что с пацана возьмешь, и не такие заваливались... — И добавил совсем по-горьковски: — А песню он мне все-таки испортил, чтоб ему...

И вскоре получился еще один случай. Вернулось еще несколько изувеченных, и приладились они собираться у нас, выпивать и петь свои дикие

и страшные песни. Мама только вздыхала, но ведь не гнать же их... А уж мы с Кимом слушали во все уши. И вот запели они раз особенно дикую и страшную:

Мы инвалиды, калеки, убогие,
Мы все огрызки Великой войны,
Но унывают из нас лишь немногие,
Мы веселиться, петь и пьянствовать должны!

Так, инвалиды, пей и веселись,
На крыльях водки подымаясь ввысь,
Пускай гремит наш хриплый, жуткий смех —
Нам веселиться, право же, не грех!

Кто не слыхал с вонючих коек стонов раненых,
Кто не смотрел смерти прямо в глаза,
Тот удивится, увидев нас пьяными,
Но так смеяться не сумеет никогда!

Так, инвалиды, пей и веселись...

И все. И смолкла внезапно песня. Взвизгнул в последний раз аккордеон и тоже смолк. Тяжесть

стеснила мою душу, глаза застлало слезами. Увечные молчали, скорбно и растерянно переглядываясь. У Кима же все лицо стало мокрым от пота, выпученные глаза закатились под лоб, и он медленно сполз со скамьи на пол. Минуту спустя инвалиды, так и не сказав больше ни слова, подхватились и вышли. Вот такое было происшествие.

Может, с этого все и началось? Первая ласточка? Не вем. Знаний не хватает, а врать не хочу. Да и давно это было.

Впрочем, тут вернулся и отец мой, гвардии капитан, живой и относительно невредимый, и инвалиды перестали у нас собираться.

5

Еще бабка поучала: «Как попил, ведро доской закрыл, ковшик на доску, гляди, ложи кверху донышком. А книзу донышком положишь если, гляди, беси в него насеруть...»

В классе, кажется, шестом дорожки наши с Кимом разбежались. В Ташлинске открылось ремесленное училище, и Ким сразу поступил туда учиться — то ли на слесаря по ремонту чего-то сельхозтехнического, то ли на токаря по выточке запчастей. Вообще в тот год школа наша на треть опустела: у большей части ребят повыбило отцов, а в училище как-никак питание, форма и даже приработки — крошечные, конечно, но все же живые деньги.

Ну и вот, мы почти перестали встречаться, тем более что училище располагалось на другом краю Ташлинска и вовсе на другом берегу нашей славной речушки Ташлицы. А время бежало, и летели месяцы и годы, и Усатый перекинулся, как у нас говорили, и Кукурузник на трон взгромоздился, и я невинность потерял у одной

развеселой вдовушки, а Ким едва не угодил под суд за злостное хулиганство, и сделалось нам по семнадцати-восемнадцати, и вылупились мы из наших альма-матушек. И тут мы окончательно потеряли друг друга из виду. На несколько лет потеряли, и я, например, просто забыл о существовании прежнего своего приятеля Кима Волошина.

Мне удалось сачкануть от армии. Каким образом — не хочу выдавать секретов, да и речь не обо мне. Достаточно сказать, что своевременно оказался я в Томском медицинском институте и засел в нем на пять полных лет, и страха ради иудейска даже на каникулы не появлялся дома. А потом появился в качестве врача «скорой помощи». И только тогда совершенно случайно узнал, что Кима в Ташлинске нет, ибо приключилась с ним история без малого сказочная.

Поведал мне ее механик из бывшей машинно-тракторной, а ныне ремонтно-технической станции, которого довелось мне пользовать от приступа стенокардии. Оказывается, Ким тоже не попал в армию. Но его просто признали негодным, выяснилось, что у него порок сердца — скорее всего, приобретенный. Забегая вперед, скажу, что убедился в этом самолично, когда слу-

чилось мне десяток лет спустя его обследовать. Точно, ревматический митральный порок. Выйдя из военкомата, он незамедлительно двинулся в «Сельхозтехнику» и уже через день гремел железом в МТС под чутким руководством моего механика.

Работал он неплохо, находчиво, но не слишком и утомлял себя, как, впрочем, и по сей день принято у сельских механизаторов. Но важно другое: Ким начал пописывать в нашу районную «Ташлинскую правду»! И никто в те времена об этом не подозревал, потому что свои заметочки-статейки он безлично подписывал как Рабкор, и под настоящим именем знали его только редактор, ответственный секретарь да кассир.

Я не поленился провести вечер в городской библиотеке над подшивками. Старушка библиотекарша сама и не без гордости отыскивала мне опусы Кима. Ничего особенного, всякое там «Цветет земля ташлинская», «Верните рабочим душевую», «Куда смотрит столовая комиссия?». Но для доморощенного газетчика не так уж и слабо. Кстати, со слов библиотекарши выяснилось, что Ким был у нее завсегдатаем. Не реже раза в неделю приходил он и брал книги. Главным образом классику. От Белинского и Гоголя до

Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Собственно, больше и брать было нечего, брошюрки и всякие там бубенновы-ажаевы...

Эта газетно-машинно-ремонтная идиллия, изредка нарушавшаяся скандальчиками в общежитии (жег электричество допоздна), тянулась у Кима почти четыре года. А потом появилась она.

Она — это Нина Востокова, двадцати лет, студентка Московского института журналистики и единственная дочь Николая Васильевича Востокова.

Николай Васильевич Востоков — русский советский литературовед, профессор, весьма известный в известных кругах специалист по журналистской деятельности Ульянова-Ленина, а также один из достаточно гласных руководителей Московского института журналистики.

Нина Востокова прибыла в наш огромный Ташлинск на практику. Вероятно, ей ничего не стоило устроиться в любой газете первопрестольной, но то ли профессор счел, что дочке пора нюхнуть провинции, то ли сама она настояла на этом, но только в один прекрасный день она появилась в протабаченном кабинетике редактора нашей районки. Встречена она была с надлежащим вниманием, выразила приличе-

ствующую радость по поводу встречи и надежду на помощь со стороны столь опытных коллег, но, что делать, не смогла скрыть по молодости лет простодушного превосходства своего над ними и даже еще менее лестных для них чувств. Коллеги обиделись, но обиды не показали, а просто свели ее с рабкором К. Волошиным. Дескать, мы здесь тоже не лыком шиты, и зреют в толще наших читательских масс активные наши помощники, и мы их активно выискиваем и привлекаем к активному сотрудничеству. А вот из вас, милочка, еще неизвестно, что получится.

Встреча с рабкором К. Волошиным произвела на заносчивую девочку огромное впечатление. У нее-то, как выяснилось, была за душой пока что одна-единственная заметочка в «Московском комсомольце», и та петитом, по пустячному поводу и без подписи, а этот работяга предъявил ей целый альбом с вырезками. Нина Востокова была изумлена. Она была восхищена. С папиной подачи она всегда верила в творческие возможности трудовых масс, но увидела творческую трудовую личность своими глазами впервые. И где! Во глубине башкир-кайсацких руд! Она, бедняжка, даже позавидовать не сумела. Она расцеловала Кима, расцеловала редактора и, не

говоря ни слова, помчалась в горком комсомола. И весь свет узнал.

И конечно же, согласно всем законам этого жанра жизни, они мигом влюбились друг в друга.

Вот как описал ее редактор «Ташлинской правды», старый друг моего покойного отца и мой пациент. Не шибко красивая, смуглая, скуластенькая, крепенькая, всегда в выцветшей саржевой курточке, комсомольский значок, огромный нагрудный карман, из которого торчат блокнот с авторучкой.

— Суетливая, болтливая, — раздумчиво вспоминал он. — Идеалистка. Павка Корчагин, Олег Кошевой и все такое. Энтузиастка. Глуповата. Разумеется, при таком папаше... — Тут он несколько неожиданно прервал себя, закряхтел и сообщил: — Что-то меня пучит сегодня. Не иначе как от молочной каши. Закормили меня этой молочной кашей...

Своевременно она отбыла к себе в столицу, а еще примерно через месяц Ким получил уведомление о зачислении его на первый курс Московского института журналистики. Состоялась напутственная беседа в райкоме, состоялось тихое застолье у редактора, состоялась довольно безобразная отвальная в мастерских, и Ким

Волошин уехал. И очень скоро был в Ташлинске забыт. Года два в райкомовских докладах продержалась фраза: «Об уровне культурной работы в районе свидетельствует хотя бы тот факт, что один из наших механизаторов, Волошин К. С., проявивший себя в качестве постоянного рабкора нашей газеты, был замечен в Москве и принят без вступительных экзаменов на один из факультетов Московского института журналистики». Но пришел в райком новый Первый, и фраза эта нечувствительно выпала.

Так что, когда я вернулся в родную хату врачом «скорой», имя Волошина было прочно забыто, да я и сам, признаться, вспомнил о нем только из-за случайной обмолвки моего пациента-мастера. Вспомнил и, натурально, заинтересовался, стал даже расспрашивать. А годы шли, интерес мой стал угасать, и я вновь и очень прочно забыл про Кима. Настолько прочно, что, когда снова встретился с ним, не сразу понял, с кем имею дело.

6

Скоро, скоро мы ляжем
К северу головой,
Скоро, скоро укроемся
Северною травой...

К тому времени я уже несколько лет как оставил беспокойную, но столь необходимую для настоящего медика практику на «скорой помощи» и стал в нашей больнице терапевтом, причем ведущим, едва не вторым лицом после главврача. Как-то я дежурил, и дежурство, помнится, было спокойным, только вечером получился срочный вызов из РТС «Заря» на маточное кровотечение у женщины тридцати двух лет. Ночь была тихая, лунная, с небольшим морозцем. До «Зари» километров пятнадцать, так что я с легким сердцем отослал туда наш драндулет, ибо всегда считал, что лошадок наших надо поелику возможно беречь. После обхода я, как всегда, угнездился в ординаторской, приказал дежурной сестре чаю, а сам занялся приведением в порядок своей довольно запущенной документации. Не тут-то было.

Мой Вася-Кот (врач «скорой») позвонил из «Зари» и сообщил, что положение больной тяжелое и он решил везти ее к нам. Ну, дело привычное, я позвонил хирургу, он же гинеколог, он же уролог и прочая, разбудил его и велел явиться, затем распорядился насчет операционной.

Через час ее привезли. Как оказалось, ее сопровождал муж, и это было кстати, потому что больная была в беспамятстве, а историю болезни надлежало заполнять. Все наличные силы мои были задействованы в смотровой, и историей болезни пришлось заняться мне самому. Я вышел в «предбанник»; на драном диване сидел там, уткнувши лицо в ладони, мужчина в потрепанном костюме, на полу возле него неопрятной грудой громоздились тулупы, невзрачных расцветок платки, еще какое-то тряпье. Поверх валялись скомканные, окрашенные кровью то ли полотенца, то ли разорванные простыни.

— Вы — муж? — спросил я громким деловитым голосом.

Он поднял голову и посмотрел на меня. Лицо у него было узкое, обтянутое, желтоватого цвета, светлые волосы острижены наголо, из-под щетины виднелись зажившие шрамы, и широкая черная повязка пересекала это лицо и череп,

закрывая левый глаз. «Билли Бонс», — промелькнула у меня ненужная мысль.

— Да, — сипло отозвался он и воздвигся. Был он высок, немного выше даже, чем я, но неимоверно худой. До болезненности. И еще я механически отметил, что на потрепанном пиджаке его не хватало пуговиц. И что под пиджаком у него сероватый свитер грубой вязки с растянутым воротом.

Я завел его в ординаторскую, усадил на табурет перед собой, достал бланк и отвинтил колпачок авторучки.

— Имя? — спросил я.

— Мое? — спросил он и прокашлялся.

— Нет, пока не ваше. Имя больной.

— Да, конечно, извините. Имя — Волошина Нина Николаевна.

— Год рождения?

— Тридцать девятый.

— В браке?

— Да. Со мной. Больше десяти лет.

— Беременна?

— Нет. Нет-нет. Точно — нет.

Он заерзал на табурете, устраиваясь удобнее, и положил перед собой на стол сцепленные руки. Огромные мосластые конечности, окрашенные

въевшейся ржавчиной и машинным маслом. Что-то было с ними не в порядке, с этими конечностями, но приглядываться я не стал. Я положил ручку и спросил:

— Что с нею случилось?

— Точно не знаю, — ответил он звонким голосом, и я понял, что он на грани истерики. — Наверное, подняла что-нибудь тяжелое, не под силу. У нас там в бараках... Да вы вот что, доктор. Отметьте: в шестьдесят пятом у нее был выкидыш на нервной почве, и потом она на учете... Да, и еще у нее резус отрицательный.

— Так. А на каком учете?

— Психиатрическом. Два года в психушке сидела.

Я записал и снова посмотрел на его лапы. Вот оно что... На правой руке не было безымянного пальца. Культяпка, почти под корень.

— Так, — сказал я. — А прежде у нее такие кровотечения были?

Он не успел ответить. Дверь приоткрылась, просунулась дежурная сестра и деловито произнесла:

— Алексей Андреевич, вас срочно.

Я встал.

— Вы здесь посидите, — сказал я. — Подождите

минутку.

Я уже знал, в чем дело. За дверью сестра подтвердила шепотом:

— Умерла...

В смотровой уже было пусто, только хирург мылся над раковиной в углу. Когда я вошел, он повернул ко мне виновато-агрессивную физиономию и пробубнил:

— Ничего не получилось. Клиническая.

Я подошел к столу. Она лежала на спине, вытянутая во весь невеликий рост, голая, серовато-голубая, до изумления тощая, так что все ребрышки проступали сквозь кожу, и коленные мослы не давали сомкнуться прямым, как палки, бедрам, и светло-коричневые пятаки плоских сосков казались нарисованными на ребристой поверхности груди. Глаза были закрыты, личико с кулачок было совершенно кукольное, синеватые зубы сухо блестели меж полураскрытыми белыми губами, и роскошные черные волосы, разбросанные по изголовью, были пронизаны седыми прядями...

— Как ее фамилия, Алексей Андреевич, не знаете? — спросил хирург, присев у столика и раскрывая блокнот.

— Кажется, Волошина, — машинально пробор-

мотал я. — У меня там записано...

Я еще не договорил, когда сумасшедшая, но точная догадка озарила меня, и я внезапно понял, чей это труп лежит передо мной и кто дожидается меня в ординаторской. Никогда я не понимал и не пойму, наверное, как работает подсознание. Мало ли Волошиных на свете? И ничто не было столь далеко от меня той январской ночью, как Ким Волошин, и никто не мог меньше напомнить мне о Киме, чем тощий человек в пиджаке с оторванными пуговицами, с черной повязкой через глаз, с изувеченной рукой...

— Что? — спросил я.

Сестра стояла с простыней в руках и вопросительно смотрела на меня. И хирург смотрел на меня с любопытством.

— Да, — произнес я нетвердо. — Конечно. Вывозите.

Сестра накрыла труп, отступила от стола и перекрестилась.

— Алексей Андреевич, — сказал хирург, — а как насчет анамнеза? Говорят, с нею муж приехал, хоть бы с его слов составить...

— Я сам, сам, — проговорил я поспешно. — Это я сам. А ты пока набросай диагноз и прочее, потом впишешь...

Я стиснул зубы и вернулся в ординаторскую. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня своим единственным глазом. Я глотнул всухую, медленно обошел стол и сел напротив него. Затем проговорил, глядя в сторону:

— Вот, значит, как. Такое, понимаешь, дело, Ким...

Он перебил меня. Голосом чуть ли не деловитым.

— Умерла?

Я кивнул и стал торопливо объяснять, что подробности покажет вскрытие, могло бы помочь переливание крови, она потеряла массу крови, но у нее же резус, ты сам знаешь, а такой крови не то что в Ташлинске — в Ольденбурге, пожалуй, не найти, а то и в самой Москве.

Он слушал, не перебивая, прикрыв глаз тяжелым темным веком, а когда я, запыхавшись, умолк, подождал несколько секунд и сказал:

— Не надо оправдываться, Лешка. Ничто бы ее не спасло. Ни Ольденбург, ни Москва... Не сегодня, так послезавтра бы, все равно. Отмучилась бедняжка.

Я сейчас же полез в тумбочку стола, извлек емкость со спиртом и стакан, налил граммов сто, долил водой из графина и протянул ему.

— Выпей, Ким.

Он усмехнулся деревянно:

— Ну, раз медицина не против...

Он залпом выпил, вытер заслезившийся глаз, а я, суетясь, развернул прихваченные из дома бутерброды.

— Закуси.

Он отломил корочку, понюхал и стал жевать.

— В сущности, — произнес он почти рассудительно, — она была давно уже обречена. Любовь, доброта, великодушие — они жестоко наказываются, Лешка. Жестоко и неизбежно.

Я разозлился. Должно быть, уже пришел в себя.

— Это все философия, Ким. По три копейки за идейку. Но как она дошла до такого состояния? Ты что — голодом ее морил?

Он медленно покачал головой.

— Это история долгая, Леша. А в последнее время Нина почти ничего не ела. Не могла. Ничего в ней не держалось. Пытался наладить ее к медикам. Ни в какую. Там, в бараке, бабы пытались лечить ее насильно. Ворожей каких-то позвали, знахарок... травки, настойки, заговоры... Очень ее любили. Да ничего не вышло, как видишь. Она же психическая была, что ты хочешь...

Он постучал пустым стаканом по емкости со

спиртом. Я налил. Он выпил и отколупнул еще одну корочку, стал жевать через силу. Вид у него сделался задумчивый.

— И давно ты здесь? — спросил я.

— В Ташлинске? Да не так уж чтобы... Прошлым летом мы приехали. Слава богу, в бараке сразу комнатушку дали, мыкаться не пришлось.

— А я и не знал, — проговорил я и добавил неискренне: — Так ведь не все же время ты в этой «Заре» околачивался, в город, наверное, не раз набегал... Чего же ко мне не зашел?

— А зачем я тебе? — спросил он равнодушно. — И ты мне... Конечно, если бы тетя Глаша была жива... (Покойную маму мою звали Глафира Федоровна.)

— Не сразу узнал тебя, — промямлил я, чтобы что-нибудь сказать.

— А я так сразу.

Он взял емкость, налил полный стакан и залпом выпил и с клокотанием запил из графина, прямо из горлышка. Вода полилась ему на грудь, и он, еще не оторвав горлышка от губ, стал растирать ее искалеченной рукой.

— Ну и будет, — сказал я решительно и спрятал емкость.

— Будет так будет, — вяло пробормотал он и

прикрыл глаз темным веком.

Затем он сделался слегка буен и обильно слезлив, заговорил непонятно и бессвязно и вдруг на полуслове заснул, уронив голову на стол. Я кликнул сестру и Васю-Кота, и мы выволокли его на диван, устроив ему постель из тулупов и шалей. Во время этой тягостной процедуры он только раз отчетливо произнес: «А что мне на нее смотреть? Я уже насмотрелся. И попрощались мы давно уже...» Произнес и впал в глубокое беспамятство.

Утром его уже не было в больнице. Он исчез вместе со своими тулупами, да так ловко, что даже нянька не уследила. И Ким Волошин снова ушел из поля моего зрения. После того дежурства мне пришлось отлучиться из города, и как раз в это время из «Зари» приехали на санях забрать тело на похороны. Говорили, был вполне приличный гроб, и было человек десять тепло укутанных женщин — вероятно, соседок Волошиных по неведомому мне бараку. Поезд из трех саней потянулся за Ташлицу на Новое кладбище, и говорят, первые сани, те, что с гробом, вел сам одноглазый Ким, шел впереди, тяжело переставляя ноги, ведя под уздцы заиндевевшую лошадь. Похоронили Нину Волошину и, не возвращаясь в Ташлинск, уехали по правому берегу прямо на свою «Зарю».

Работы у меня, как всегда, было выше головы, и лишь иногда я вспоминал рассеянно и недоумевал, как это могло случиться, что питомец прославленного Московского института журналистики очутился в мастерских заштатной РТС в глубокой провинции, а журналистка и дочка профессора Востокова нашла себе могилу в промерзшей башкир-кайсацкой земле... И еще испытывал я нечто вроде обиды на выскочившего вдруг из небытия Кима, который вполне мог бы мне все сам объяснить, а вот не соизволил, ну и бог с ним, насильно мил не будешь. Да и не желал я быть милым насильно.

В общем, из-за деловой текучки и этого ощущения легкой неприязни Ким, скорее всего, снова выпал бы из моей памяти, но тут получилось одно неожиданное обстоятельство.

Однако сначала я введу в рассказ еще одного героя. Имя ему — Моисей Наумович Гольдберг.

7

Летят по небу самолеты-бомбовозы,
Хотят засыпать нас землей, ёксель-моксель.
А я, молоденький мальчишка, лет семнадцать,
Лежу почти что без ноги.

Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка:
«Давай тебя я первяжу, ёксель-моксель,
И в санитарную машину «стундербекер»
С молитвой тихо уложу...»

Был это в те времена наш несравненный прозектор, «лекарь мертвых», талантливейший старик, неизбывная гроза новоявленных специалистов, сопляков, путающих перитонит с перитонизмом и забывающих в операционных ранах салфетки. Он умер в прошлом году, старый

труженик и мученик, с закрытыми глазами и довольной улыбкой: должно быть, рад был уйти от кошмара, от фантастического дела Кима Волошина.

О прошлом его я знаю немного. Был он учеником и пользовался благосклонностью самого Давыдовского Ипполита Васильевича, главного патологоанатома Советского Союза. Того самого, добавляю для непосвященных, который был инициатором и автором знаменитого Указа от 35-го года о непременном вскрытии всех больных, умерших в лечебных учреждениях. Войну Моисей Наумович прошел от звонка до звонка. Служа под знаменами генерал-лейтенанта Кочина главным патологоанатомом армии, удостоился Красной Звезды и именного оружия за предупреждение возникшей в войсках эпидемии менингита, обнаруженной и блокированной им на основании материалов вскрытия. Надо полагать, отчетливая была работа.

После войны «Звездочку» свою он, конечно, потерял, именной пистолет у него отобрали, а тут подоспели и настоящие неприятности, и Моисей Наумович стремглав покатился вниз. И докатился, на наше счастье, до Ольденбургского облздрава, который и стряхнул его в Ташлинск.

И стал он патологоанатомом больницы, а также — по совместительству и по бедности нашей — судмедэкспертом. И всю четверть века, всю оставшуюся жизнь, прожил в комнатушке, отведенной ему судебным ведомством (!) в так называемом районном пансионате. Впрочем, насколько я знаю, был он совершенно одинок, без единого родственника на всем белом свете.

Довольно долгое время были мы с ним в состоянии настороженного нейтралитета. Но, слава богу, никаких претензий к моей работе у него не случалось, и понемногу стал он захаживать ко мне домой — сыграть в шахматы, попить чайку, а то и отобедать. Я к нему привязался, а Алиса (жена моя) просто души в нем не чаяла. Но у нас с ним такие отношения сложились, повторяюсь, не сразу, а вот с так называемыми простыми людьми, в частности, со страдальцами, которых пользовала наша больница, он сходился необычайно легко. Конечно, доброе слово для больного — великое подспорье, но не одни только добрые слова имелись в бездонном арсенале Моисея Наумовича. Его, «лекаря мертвых» высочайшего класса, вызывали проконсультироваться в сложных случаях и к живым — вызывали, разумеется, те из моих коллег, что были постарше и

поумнее. «Я — старый врач, Алексей Андреевич, — говаривал он мне с усмешкою. — А покойник — тот же больной, только в лекарствах больше не нуждается и в сочувствии тоже». Так или иначе, за четверть века своего служения городу он обрел множество добрых знакомых, особенно людей пожилых, и его охотно приглашали на семейные праздники, даже и на крестины всевозможных внуков и правнуков («несмотря что еврей»), а уж на похороны и поминки — непременно. К слову, популярности ему немало прибавляло и то, что он никогда не волынил с выдачей родственникам усопших патологоанатомических справок, без которых, как известно, предание земле у нас категорически не допускается.

Вот пока и все о Моисее Наумовиче Гольдберге, светлая ему память, а в тот день, в первое, кажется, воскресенье после похорон Нины Волошиной, мы с ним сидели у меня дома в кабинете и играли в шахматы. И вдруг задребезжал телефон.

8

Вынесет все — и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить.

Звонил старый знакомый, бессменный редактор нашей «Ташлинской правды».

— Алеша, — просипел он в трубку, — ты не очень занят?

Я осторожно ответил, что не очень.

— Тут у меня один товарищ, — сказал старик, — ему очень нужно поговорить с тобой. И срочно. Полчасика не можешь уделить?

Я ответил, что могу, пожалуй, но что я не один, у меня Моисей Наумович. Редактор хорошо знал Моисея Наумовича — он несколько раз выступал в газете на медицинские и гигиенические темы.

— Моисей Наумович? Это прекрасно. Так мы к тебе идем.

Я с сожалением взглянул на шахматную доску и ответил, что жду. Деликатнейший Моисей Наумович сорвался было уйти, но я свирепо его остановил. Еще чего! Чтобы в мой законный выходной в моем собственном доме моих друзей

— и так далее.

И они пришли.

К моему удивлению, товарищ оказался симпатичной шатеночкой лет тридцати, румяной с морозца, с милыми ямочками на щеках, одетой, я бы сказал, по-столичному. Оправившись от секундного шока, я кинулся освобождать гостью от роскошной меховой шубки. Шатеночка действительно оказалась приезжей из столицы, журналисткой по имени Екатерина Федоровна. Тут и Алиса моя вышла в прихожую, и запахло уже не полчасиком, а банальным нашим гостевым чаепитием часа на три. Всех загнали в столовую и рассадили вокруг самовара. Я взглянул на Моисея Наумовича: вид у него был благодушный и даже довольный — во-первых, он любил чаевничать, а во-вторых, партия была отложена в тяжелом для него положении. Я едва удержался, чтобы не хихикнуть.

Но едва смолк звон ложечек, размешивающих сахар, Екатерина Федоровна, как-то вдруг помрачнев, спросила меня, правильно ли ей сообщили в больнице, что я присутствовал при смерти Нины Волошиной и говорил с ее мужем. Игривость, овладевшая мною, тут же пропала, и я осведомился, почему ее это интересует. Старый редактор

пустился было в заверения, что все здесь, дескать, в порядке, но Екатерина Федоровна остановила его движением белой ручки и сказала, что все объяснит сама.

Оказалось, была она старинной, еще институтской подругой покойницы и дружила также с Кимом. Когда случилась катастрофа, она всеми силами поддерживала Нину, она даже взяла ее к себе жить, хотя это было, сами понимаете, довольно рискованно, и они расстались только в середине прошлого года, когда Ким вернулся и увез ее сюда, в Ташлинск. В прошлый понедельник она получила от Кима телеграмму, сразу кинулась на самолет, однако вылет задержался из-за погоды, и на похороны она опоздала. Вчера она была в «Заре» у Кима. Как всегда, рассказать толком он ничего не пожелал, но кое-что рассказали соседки, очень милые и добрые женщины, так что по возвращении она сразу же направилась в больницу, и там одна очень милая особа, видимо медицинская сестра, любезно вывела ее на меня...

— Ведь это вы дежурили в ту ночь, Алексей Андреевич?

Я не отрицал.

Однако обратиться прямо ко мне она не сочла

удобным. Мало ли как я мог отнестись к ней, если бы она свалилась как снег на голову. И она прибегла к помощи собрата-журналиста, у которого Нина в свое время — как давно это было! — проходила практику. Нина всегда отзывалась о нем с восхищением. (Лик нашего старичка идет багровыми пятнами от похвалы, скорбно опущенные углы губ непроизвольно приподнимаются. Моисей же Наумович вне себя от восхищения.) Она изложила редактору свою просьбу, и вот она здесь.

Все это она выразила отточенными и литературно закругленными периодами. Мне пришла в голову мысль, что выступление свое она продумала и подготовила заранее. И еще одно было ясно: она считала, что мне хорошо известны обстоятельства, выбросившие Волошиных из Москвы в захолустный Ташлинск, обстоятельства, видимо, не просто трагические, но и зловещие.

В самом деле.

Что это за катастрофа, постигшая Кима и Нину?

Почему дочка профессора Востокова вынуждена была переселиться к подруге, даже и ближайшей?

Почему переселение это было сопряжено с

риском для подруги?

Откуда вернулся Ким в середине прошлого года?

Не такой уж я был дурак и мамкин сын, чтобы не возникли у меня некоторые подозрения. Я кашлянул и сказал:

— Ну-с, так. И чем я могу быть вам полезен, Екатерина Федоровна?

— Собственно, — проговорила она, — мне бы очень хотелось знать, во-первых, как Нина умерла. И второе, не говорила ли она что-нибудь перед смертью. И если говорила, то что именно.

Тут неожиданно вступился Моисей Наумович. Сухим протокольным голосом он сообщил, что Нина истекла кровью, она была до предела истощена, ее привезли в больницу в бессознательном состоянии, и она скончалась, не приходя в сознание. Так что говорить она ничего не могла.

Екатерина Федоровна часто-часто закивала.

— Да-да, я так и поняла со слов той медсестры. Я просто хотела... И вот еще что. Мне сказали, что вы разговаривали с Кимом. Не могли бы вы изложить... Мне он ничего не рассказал, но, может быть, вам...

— Минуточку, Екатерина Федоровна, — сказал я, собравши в единый кулак все свое нахальство

и всю свою бесцеремонность. — Я все-таки позволю себе попросить у вас некоторые разъяснения. Я охотно расскажу вам о нашей беседе с Кимом, но сперва мне хотелось бы выяснить некоторые обстоятельства. Вы намекали на них в начале разговора, но... Может быть, мой старый друг знает что-либо об этих делах?

Старый редактор поспешно затряс головой:

— Ничего, Алеша, ровно ничего!

— Вот видите, ему тоже ничего не известно. (Я не был в этом уверен, но не пронзать же мне было его проницательным взглядом, и я понесся дальше.) Сами посудите, Екатерина Федоровна. Здесь расстались с Кимом десять... нет, все двенадцать лет назад, проводили его в новую жизнь, успешную и завидную, в столицу, в престижную профессию... да еще под крылышко привилегированного лица.

Я отхлебнул остывшего чая и перевел дух. Все смотрели на меня. Мне показалось, что Моисей Наумович поощрительно мне подмигнул.

— Да... И вдруг неделю назад он появляется у меня в больнице в самом непрезентабельном виде, изрядно изувеченный и с полумертвой женой, и оказывается, что он здесь уже более полугода... А сегодня появляетесь вы и намекаете

на какие-то катастрофы, и вам позарез (иначе бы вы не появились) нужно узнать, что сказала Волошина перед смертью и о чем я разговаривал с Кимом. Воля ваша, Екатерина Федоровна, извольте объясниться.

Я замолчал. Она с изумлением посмотрела на меня, затем на редактора и снова на меня.

— Вы что же, — запинаясь, проговорила она, — вы действительно не знаете, что с ними было?

Я молча покачал головой. Она опустила глаза.

— Наверное, мне не следовало обращаться к вам, — сказала она.

Я пожал плечами, а Моисей мой Наумович мягко промурлыкал:

— Обратного хода нет, душенька. Вы слишком нас заинтриговали.

Тогда она подумала и решилась.

В Москве Волошины зажили спокойно и счастливо. Нина влюбилась в Кима как кошка. Поселились они в квартире профессора, в комнате Нины. Ким учился словно вол (в смысле упорства, конечно). Он много читал, в его распоряжении была ведь богатейшая библиотека тестя, и ему не приходилось выстаивать в очередях в Ленинку. И тесть гордился зятьком и, кажется, не раз упоминал его в беседах с институтским начальством.

Пришла вожделенная пора, Нина получила диплом и поступила в «Советское искусство», а еще через два года закончил и Ким и не без некоторой подачи тестя поступил в аспирантуру. Все шло путем.

И вдруг Кима забрали.

Это было словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что еще на четвертом курсе он присоединился к «Союзу демократической молодежи против правительственного произвола» (СДМПП, двадцать шесть человек). Выяснилось, что он был активным распространителем «Информационного листка», разоблачавшего противоправные действия КГБ, прокуратуры и партийной элиты. Выяснилось, что он участвовал в жутком заговоре против здоровья и жизни членов Политбюро. И завертелось следствие.

Нина кинулась к отцу, прося вступиться. Но специалист по журналистской деятельности Ульянова-Ленина был в бешенстве. Зятя он называл не иначе, как грязным антисоветчиком, вонючим предателем и змеей, пригретой на его, тестя, груди. Колотя себя по залысому лбу, он кричал о волке, коего сколь ни корми, а он сожрет вдвое и еще харкнет тебе же в морду. И он потребовал, чтобы Нина немедленно подала на

развод и тем самым смыла бы позорное пятно со славной фамилии Востоковых...

Нина не отреклась от Кима Волошина, и тогда отец отрекся от дочери.

Нина ушла из дома, и Екатерина Федоровна приютила ее у себя. Конечно, ей было страшновато, но страхи эти порождались не столько реальностями, сколько предубеждениями. Ведь Екатерина Федоровна нигде в штате не состояла, и ее работодатели, если и было им что-либо известно, никак этого не показывали. Вдобавок разгорелся в ней некий азарт, ощутила она в себе некое чувство протеста. Расхрабрившись, она нагрянула к Востокову и потребовала у него вещи Нины и даже часть имущества, заведомо принадлежавшего покойной Нининой матери. Востоков, осунувшийся, полинявший, не стал возражать.

А Нина металась по инстанциям, умоляла, писала бесчисленные слезницы. С работы ее, конечно, попросили, но она и не заметила этого. Бедняжка, избалованная благополучной жизнью, еще не утратившая благородно-идиотских иллюзий, не переставала надеяться, что дело кончится благополучно. Тут в одночасье и рухнуло на нее зло.

Нина была беременна. В одной из самых высоких инстанций на нее грубо наорали с уда-

рениями кулаком по столу и с множественным топаньем ногами. И у нее получился выкидыш. И она тронулась умом. И провела почти два года в сумасшедшем доме. Екатерина Федоровна навещала ее там. Она сидела на койке, тихая, почти неподвижная, и истаивала, как свеча. Потом ее сочли выздоровевшей, и Екатерина Федоровна опять взяла ее к себе. Работать она, конечно, больше не могла, да никто бы и не взял ее на работу, и она вела их общее хозяйство, бесшумная и серая, как мышь... Материально, впрочем, все обстояло благополучно: понемногу распродавались вещички, еще довольно регулярно приходили анонимные переводы на небольшие суммы. При Нининых потребностях...

Но это о Нине. О жизни же Кима в то ужасное для Волошиных время Екатерине Федоровне известно немного и только в самых общих чертах. Он не любил вспоминать. Хотя иногда его все же прорывало.

В следственном изоляторе (знаменитая Матросская Тишина) ему выбили глаз. В первом лагере (Котлаг, Волотный мыс) за отказ выходить на работы «суки» отрубили ему долотом палец («Я его там сам и похоронил». — «Кого?» — «Да палец же... Впрочем, собственный палец — это «кто» или

«что»?»). В третьем лагере (Ворлаг, Медвежья Свадьба) в лютых драках на выживание ему сломали половину ребер и измолотили голову палками. Один лишь Бог — или дьявол? — ведает, как ему удалось остаться в живых. С другой стороны, зная характер Кима, нетрудно предположить, что в долгу он не оставался. Как-то он вскользь упомянул, что года за два до освобождения (Сурлаг, Соплечистка) его оставили в покое («паханы распорядились, не иначе»), и он, по его выражению, смог слегка восстановиться.

Его освободили досрочно. То ли вина его была сочтена не столь уж великой. То ли угодили в немилость следователи, которые оформили его дело. То ли возымели силу ходатайства влиятельных родственников кого-то из его подельщиков. А скорее всего, шли какие-то таинственные процессы в системе карательных органов, и победившие спешили собрать побольше обвинений против проигравших, чтобы с новыми силами обрушиться на истинных, по их мнению, еретиков.

И вот он вернулся в Москву. Иссохшая, с провалившимися глазами Нина неуверенно коснулась пальцем его груди и проговорила: «Ты?» Он заплакал, прижал ее к своей провонявшей телогрейке.

Нечего было и мечтать бывшему аспиранту

устроиться в столице. Да и не хотел он оставаться в Москве. Он вспомнил, что был когда-то (давным-давно) неплохим механиком. Несколько дней беготни, несколько простынь анкет и заявлений, и они с Ниной отбыли по оргнабору в Ольденбургскую, тогда еще Новоизотовскую, область, а здесь уже не составило большого труда определиться в Ташлинский район.

— Остальное вам известно, — заключила Екатерина Федоровна. — Лучше, чем мне.

Когда она замолчала, некоторое время никто не проронил ни слова. Алиса всхлипывала и промакивала глаза платочком. Старый редактор сидел, низко опустив голову. Моисей Наумович в задумчивости рассматривал свою чайную ложечку. Наконец я решился и произнес осторожно:

— Это поистине примечательная история, Екатерина Федоровна, и все мы искренне благодарны вам... Но я по-прежнему не могу понять вашего интереса к последним словам несчастной Нины Волошиной и к моей беседе с Кимом. У меня секретов нет, и я готов передать вам эту беседу слово в слово, но если бы вы объяснились...

Она прервала меня:

— Нет. Меня больше не интересует эта ваша беседа. Но я объяснюсь. Видите ли, я приехала

сюда не по своему желанию. Я, видите ли, жена Востокова. Мы поженились давно, еще когда Нина содержалась в психушке...

Она поднялась. Мы тоже все встали. Я с напускным равнодушием пожал плечами. Взглянул на старого редактора. Ну конечно, он все знал. Но какое мне дело? Екатерина Федоровна продолжала, держась за спинку стула:

— Собственно, я приехала по поручению мужа. Он очень болен, иначе приехал бы сам. Он хотел... Собственно, он хотел узнать, не вспомнила ли Нина о нем перед смертью. Видите ли, он уверен, что тоже скоро умрет. Он очень боится некоторых встреч по ту сторону Вселенной. Психоз, конечно, но я не могла ему отказать. Я-то знаю, что Бог в бесконечном милосердии своем простит ему все — и всем нам тоже... Спасибо большое за угощение, мне пора.

И они ушли со старым редактором. Когда я, проводив их, вернулся из прихожей, Алиса мыла чайную посуду. Она вдруг спросила:

— А вы, Моисей Наумович, верите ли в Бога?

Мой «лекарь мертвых» на секунду замер с посудным полотенцем в руках. Затем медленно проговорил:

— Навряд ли, душенька Алиса Игоревна. Верю

я в непостижимую судьбу — функцию темперамента, обстоятельств и поступков.

9

От этого типа вечно несло противно-сладкими смрадами гниющих фруктов. Каперна ошибочно божилась, будто он потеет люизитом. На самом деле все обстояло проще: у него сыпь какая-то была, и он обмазывался тертыми яблоками и не смывал их по целым неделям.

По прошествии времени я снова потихоньку забыл о Киме (как, наверное, и он забыл обо мне). Но тут возникло одно обстоятельство, о котором мне довольно подробно поведал старый редактор. Дело в том, что в «Ташлинской правде» обозначился кадровый кризис. Хотели обратиться за помощью в Ольденбург, но редактору пришла в голову счастливая мысль. Действительно, в двух шагах от города в груде неисправимо увечной сельхозтехники копошился ценнейший кадр — дипломированный журналист, да еще ташлинец, да еще выходец из рабочих, отчетливый гегемон... Отбывал по политическому делу? Но ведь освобожден досрочно. Не на кадры его прочим, не в политические руководители, а на скромную

стезю литсотрудника всего-навсего... И вообще, столько лет прошло!

Дело выгорело.

Редакция была не очень далеко от больницы, и мы с Кимом стали встречаться на улице. Чаще всего он проходил мимо, удостоив меня кивка. Много реже останавливал меня и болтал о каких-то пустяках, но это уж при очень хорошей погоде. А в плохую погоду или в мороз проходил быстрым шагом, метнув мне рассеянный, неузнающий взгляд. Он слегка пополнел, всегда был скромно, но вполне прилично одет (положение обязывает), неряшливую черную тряпку через глаз сменил на аккуратную шелковую повязку, тоже черную, но отливающую при некоторых поворотах зеленоватой искрой... Словом, простой провинциальный интеллигент. Должен сказать, что газетка наша при нем сделалась интересной, насколько может стать интересной районная газета.

А так тянулись год за годом ровные и довольно бесцветные районные будни, с понуканиями и безграмотным раздражением сверху и глухим, но устойчивым саботажем снизу, с постоянными недостачами и постоянным заунывным нытьем повсюду, с пьянством, хулиганством, бардаком. Как-то Ким зашел в больницу и пригласил меня

на новоселье. Отстоял очередь длиной в девять лет и получил однокомнатную квартирку в наших бедных «Черемушках» за Большим Оврагом. Я пошел, мне было любопытно. И несколько разочаровался. Ничего особенного. (А я уже тогда ждал от Кима чего-нибудь особенного.) В комнатушку набились газетные сотрудники во главе с редактором и с десяток старых приятелей Кима по мастерским. Много пили, съели колоссального гуся, несли чепуху и орали песни из старых кинофильмов. Я ушел рано, и Ким меня не удерживал.

Но вот грянули всякие хренации, как говаривал Александр Галич. Все в Ташлинске всполошилось и затем замерло, прислушиваясь и осторожно озираясь. Принимались меры, чтобы старое стояло нерушимо. Возникали движения, имеющие целью стереть старое с лица земли. Нашего старичка редактора с фальшивым почетом отправили на пенсию, назначили (прислали из Ольденбурга) нового, и прошел слух, будто новый чуть ли не в первый же день насмерть схватился с Кимом. Я эти слухи не проверял, некогда было, сам в это время сцепился с райздравом...

А затем пришло и двадцать шестое апреля 86-го года. Господь посетил нашу страну, и со-

вершилась страшная трагедия Полынь-города. Информация о ней влилась к нам в Ташлинск тремя последовательными потоками очень разной чистоты: сперва совершенно лживая, затем туманно-неточная и, наконец, правдивая, из первых рук. Этим, третьим, потоком окатил нас внезапно Ким Волошин.

10

И Он молвил в великой тоске: «Следовало бы всех вас, сволочей, уничтожить до одного, но я устал. Я ужасно устал».

В разгар того лета Ким исчез из города. Отставной редактор мимоходом сообщил мне, что он взял очередной отпуск, а затем еще месяц отпуска за свой счет. Испросил телеграммой, и новый редактор с удовольствием внял этой просьбе. Но преждевременным было его ликование. Оказалось, что Ким провел отпускные месяца в Полынь-городе. И не на заработки он туда ездил, как клеветали потом на него, хотя деньги в Полынь-городе работягам платили немалые и даже огромные.

А Ким там вкалывал именно работягой. Ведь был он хорошим механиком и водил все виды автотранспорта. Отправляясь туда, он немного опасался, что его не примут из-за увечий, но сомнения эти оказались напрасными. У подножия гигантских развалин атомной печи никого не интересовало, целы ли у тебя оба глаза и все ли десять пальцев у тебя на руках. Вот тебе снаря-

жение, вот тебе противогаз, вот тебе бульдозер. И Ким все два месяца проработал бульдозеристом: то ли забивал там какой-то тоннель, то ли, напротив, тоннель расчищал.

Через неделю после возвращения Ким поверг к стопам нового редактора большую статью (или эссе?) «В Полынь-городе упала звезда». Редактор прочел, ужаснулся и объявил, что только через его труп. Ким перенес статью в райком на стол Первого. Первый ознакомился, вызвал к себе Кима и редактора и холодно осведомился, кто из них тронулся умом. Присутствовавший при этом районный идеолог, носивший полузначимую-полунорвежскую фамилию Кнут, раздраженно заметил, что Ташлинскому району пока, слава богу, нет дела до происшествий в иных республиках. Затем статья была швырком брошена Киму, рассыпалась по полу, и Ким довольно долго ползал по ковру на карачках, подбирая страницы.

Сейчас мне не совсем понятно, почему в тот день все обошлось для Первого и Кнута, да и для нового редактора тоже. Потому, скорее всего, что ползавший на карачках Ким испытывал не возмущение и раздражение, а злорадство. Он уже знал, что сделает. Накладки бывают и в центральной прессе, о районной и говорить нечего.

И уж кто-кто, а бывший аспирант института журналистики в накладках толк понимал. Так или иначе, в один прекрасный день, когда редактор отбыл на какую-то конференцию в Ольденбург, Ким исхитрился выкинуть из очередного номера нашей родной «Ташлинской правды» половину материалов и поместить на их месте статью «В Полынь-городе упала звезда», подписанную собкором К. Волошиным. И на следующее утро ташлинцы были приятно поражены.

Пересказывать здесь эту статью подробно не имеет смысла: сегодня нам известны подробности, может быть, и похлеще. И я ограничусь лишь теми, которые тогда особенно поразили мое воображение. Да и не только мое. Больница возбужденно гудела, больные, сестры, врачи рвали газету из рук друг у друга, посетителей нещадно гнали домой за газетой (у кого была подписка) или по немногочисленным нашим киоскам (где розницу разобрали уже к девяти утра). Надлежит тут еще принять во внимание вечный информационно-сенсорный голод у нас в провинции...

Статья открывалась скверной по полиграфическим причинам фоторепродукцией некоего пропуска. Слева фотография три на четыре, все честь честью, с черной повязкой через глаз. Про-

пуск № такой-то. В черной (?) рамке: ВСЮДУ. На право въезда в закрытую зону. Организация: УС-60Б. ФИО: Волошин Ким Сергеевич. Срок действия (от руки): постоянно. Неразборчивая печать. Подпись под фото: «Такой пропуск, упакованный в прозрачный пластик, спецкор носил на шнурке на груди».

Дальше следовали поразившие меня тогда факты.

У местных жителей новое времяисчисление: до войны (то есть до двадцать шестого апреля) и после войны (то есть после двадцать шестого).

По шоссе мчит автобус. На боках по-английски выведено: «Челленджер», а над лобовым стеклом трафаретка: «Подлежит уничтожению». Автобус полон пассажиров. И похолодевшие от ужаса встречные не сразу соображают, что уничтожению подлежат не пассажиры, а сам зараженный автобус.

На крышу пустого трехэтажного дома выскочил заросший бородой до глаз человек, весь в пыли и грязи. Выскочил и, кривляясь, запел диким голосом:

В Полынь-городе упала звезда,
В Полынь-городе убитая вода.

В Полынь-городе не стало можно жить,

В Полынь-городе уж некого ложить...

И снова, и снова. Киму сказали, что никто не знает, что это за человек. Пытались его поймать и выдворить, но он бегает как заяц, а гоняться за ним по крышам в противогазе никому неохота.

Бригада Кима жила в детском садике. Крошечные шкафчики, крошечная мебель. В углу навалом игрушки. Умывались, опустившись перед умывальниками на корточки или на колени.

Уже через месяц двоих работяг увезли. У них объявилась катаракта — помутнение хрусталика под воздействием ионизирующего излучения. Позже увезли еще человек десять.

Вот такие факты. И еще другие. И ненависть к начальству. К господам из инстанций. И в заключение — реплика Кнута: «Ташлинскому району, слава богу, нет дела до происшествий в иных республиках». Как я понял, эту манифестацию мелкопоместного патриотизма Ким включил в статью в последнюю минуту, не преминув при этом назвать полностью ФИО и должность манифестанта.

Разумеется, на ведьму напали корчи. Кима вы-

шибли из газеты. Сгоряча исключили из партии, но выяснилось, что Ким уже почти двадцать лет беспартийный. Разгорячившись еще более, собрались подать на Кима в суд с каким-то нелепым обвинением, но получилось разъяснение, что поскольку К. Волошин уволен, то есть уже подвергнут крайней мере административного взыскания... и вообще, времена наступают странные... Лучше замять.

Замяли. Времена действительно наступили странные. Материально Ким не пострадал: денег, заработанных в Полынь-городе, ему на первое время хватило, а уж от заказов на ремонт личного автотранспорта ему отбою не стало. Но недалек уже был день, когда события его личной жизни обернулись для нашего маленького городка совершенно ошеломляющим образом. Цитируя из одного моего любимого писателя: «Последовательность событий была так стремительна, как будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам».

Мы с Моисеем Наумовичем не сразу сумели прочесть эти иероглифы, а когда прочли, смущение и страх овладели нами. Причастность Кима выявилась для нас не сразу, да и вообще с точки зрения современной науки вряд ли может быть

доказана, но все же наступил момент, когда мы, движимые своими представлениями о гражданском долге, принялись искать истину — выявлять координаты Кима в пространстве и времени в момент свершения очередного «жестокого чуда». Многое совпало. По нашему убеждению, совпало все, а если покопаться, то открылись бы и еще многие чудеса, имевшие место вне нашего поля зрения и зарегистрированные равнодушными чиновниками или вовсе не зарегистрированные...

Для нас, как я теперь понимаю, все началось в осенний пасмурный день, первый осенний день того года, когда Ким был отлучен от официальной идеологии. Он явился в больницу и вошел ко мне в кабинет, не постучав, когда еще одевалась, покряхтывая и постанывая, одышливая бабка семидесяти с лишним лет. Я поднял голову от своей писанины, готовый разразиться раздраженной отповедью, взглянул и слегка обалдел.

— Господи... — произнес я, неверным телодвижением поднимаясь из-за стола.

Такого я не ждал даже от Кима. Он был абсолютно лыс. Как бильярдный шар. Фиолетовые шрамы на его черепе выглядели так, словно кто-то вылил на него склянку с краской. И на свободной от

черной повязки поверхности его лица тоже не было ни волоска. Ни ресниц, ни бровей.

— С-слушай, — произнес я, — где твои волосы?

Он полез за пазуху, извлек пухлый пакет и положил на стол.

— Вот, — сказал он. — Все здесь. Ну, может, несколько волосинок недостает.

Бабка выбралась наконец из ворота необъятного штапельного платья и тоже уставилась на Кима, распустив беззубый рот. Я спохватился.

— Ступайте, ступайте, бабуся, — проговорил я, взял ее под локоток и подвел к двери. — Я к вам потом зайду в палату. И скажите там в коридоре, чтобы пока разошлись и вернулись через часок...

Когда я вернулся к столу, Ким уже сидел и с хладнокровным интересом разглядывал меня.

— Ну, так, — деловито сказал я, усаживаясь. — Рассказывай. Как это произошло? Когда?

— Нынче ночью. Встаю утром, а вся моя роскошь на подушке осталась. Жаль, я себе такие кудри отрастил, можешь полюбоваться... — он ткнул пальцем в пакет на столе, — роскошные кудри. И нигде на всем теле ни волосинки не осталось. Ни под мышками, ни в шагу, ни на груди. Все либо на простыне, либо в трусах...

— Раздевайся, — приказал я. — Догола.

Он разделся. Я убедился. И заодно слегка позавидовал: такой он был сухощавый, поджарый, мускулистый. Мы с ним одногодки, а у меня грешное тело дрябловатое, жирненькое, никак не спортивное.

— Физкультурой занимаешься, — пробормотал я.

Он пренебрежительно отозвался:

— Физкультурой... С какой это стати? Что я тебе — пионер?

И вдруг вытаращил свой единственный глаз.

— А ведь и то верно, Лешка! Заметил я, что худеть начал. Штаны стали сваливаться, пиджак как на вешалке... Значит, и это еще...

— Ладно, — сказал я. — Пока не одевайся. Накинь вон мой халат.

Я позвонил нашему кожнику и попросил незамедлительно зайти. Пока мы ждали, я спросил, зачем он принес ко мне свою волосню. Он осклабился:

— Как вещественное доказательство. Чудак, почем я знаю, что вам, медикам, может понадобиться?

Я кивнул согласно и развернул пакет. Лупы у меня не было, но и невооруженным глазом было видно, что волосы именно выпали, а не были,

скажем, выдраны, и даже не столько выпали, сколько вылезли: дружно и одномоментно. А тут и кожник явился. Ким повторил ему свой короткий рассказ. Кожник похмыкал, осмотрел его и велел одеваться. Потом кожник взглянул на меня, а я взглянул на кожника. Кожник едва заметно приподнял и опустил плечи. Неожиданно Ким, натягивавший брюки, произнес брюзгливо:

— Да вы не гадайте, доктора, не надрывайтесь. Я сюда не за диагнозом пришел. Отчего это у меня — я и без вас знаю. Вы мне скажите, как лечиться!

Нелепость этого наглого выпада была очевидна. Во-первых, не поставив диагноза, врач не может сказать пациенту, как лечиться. Во-вторых... но и во-вторых, не может! Я буркнул недовольно в том смысле, что нечего зря языком трепать. Но кожник мой сообразил правильнее.

— А вы, стало быть, знаете, отчего это у вас?

Ким, зашнуровывая ботинок, отозвался пренебрежительно:

— Еще бы не знать... Полынь-город!

И я едва удержал мгновенный позыв гоголевского почтмейстера вскрикнуть и хлопнуть со всего размаху по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Кожник же, в

два шага оказавшись возле Кима, проговорил с придыханием:

— Постойте. Вы — Волошин? Тот самый?

— Который? — неприветливо осведомился Ким, натягивая пиджак.

— Этот... который в газете... про Полынь-город...

— Ну?

— Рад познакомиться... — стесненно промямлил кожник, слывший у нас вольнодумцем и диссидентом. — То есть не то что рад... Сожалею, конечно, что такие обстоятельства... — Тут он кашлянул, вернул себе профессиональный вид и сухо объявил: — Боюсь, Волошин, что в нашей больнице вам ничего не светит. У нас нет специалистов по радиационным поражениям.

Тут мой кожник был прав. Если судить, например, по мне, то уровень нашей осведомленности в области лучевых заболеваний — я имею в виду районный медперсонал — вряд ли выше сведений из букваря для армейского санинструктора... или как они там называются.

Я уже сидел за столом и заполнял бланки.

— Пойдешь и сделаешь все анализы, — приговаривал я на ходу. — Кровь, моча, кал, рентген... Большая часть лучевых поражений сводится к ослаблению иммунитета... Волосню твою на ме-

сто мы, конечно, не водворим, но от дифтерита, дизентерии или какой-нибудь другой обычной гадости умереть не дадим.

Ким взял у меня бланки и повертел в пальцах.

— А если ничего такого не обнаружится?

— Тогда направим тебя...

— Куда?

Я замялся. Честно, я не имел представления — куда.

— Ну, например... — неожиданно произнес кожник. Он достал записную книжку, полистал и прочел: — «Москва, улица Щукинская, шесть. Шестая больница Третьего главного управления». Не возражаете?

— Ну вот, хотя бы и в Шестую, — солидно сказал я, скрывая изумление. — Оформим в райздраве, и счастливого пути.

— Москва, — произнес Ким, усмехаясь. — Далеко целоваться бегать, однако...

Он кивнул нам и вышел. Я спросил кожника:

— Слушай, а откуда ты про эту больницу знаешь?

Он хихикнул.

— Секрет. Но не от вас, конечно, Алексей Андреевич. Там один мой друг работает. Сейчас он, правда, в Полынь-городе. Богатая, пишет,

практика...

В тот же день вечером я рассказал все это Моисею Наумовичу. Помнится, перед очередной партией в шахматы. Он скорбно покачал головой, вздохнул, но большого интереса не выказал. «Дрянь это — радиация, — пробормотал, помнится, он. — А слоника вашего, Алексей Андреевич, я с удовольствием беру. При всем моем к вам уважении...»

Ни с анализами, ни с просьбами о направлении в Москву Ким Волошин не явился. Признаться, я не очень по нему скучал. Не мой он был пациент, и человек он был не мой. А о Моисее Наумовиче и говорить было нечего. Для него Ким был тогда всего лишь автор скандальной публикации.

Но примерно месяц спустя произошло событие, после которого мое представление о действительности пошло сначала неторопливо, а затем все скорее и скорее переворачиваться вверх дном. Рассказ об этом событии я выслушал из первых уст: от секретарши нашего Первого. Причем в тот же день.

11

Свят Георгий во бое
На лихом сидит коне,
Держит в руце копие,
Тычет змия в жопие.

Эта тощая востроносая дамочка была древнейшей приятельницей Алисы (кажется, еще в детском садике на горшочках рядом сидели), тянула свое зрелое девичество в компании с престарелой своей матушкой неподалеку от нашего жилища и частенько забегала к нам пошушукаться насчет районного начальства, а покончив с этой волнующей темой, уединялась с Алисой в нашей спальне, где и предавались они, как я понимаю, специфическим разговорам, не предназначенным для грубых мужских ушей. Не могу сказать, чтобы она мне была противна, так, иногда смешила и слегка раздражала, сплетенки ее временами были интересны, а уж в тот вечер я слушал ее в оба уха, стараясь не пропустить ни слова.

Да и как было не слушать!

Началось с того, что сразу после обеда в свой кабинет быстрым шагом проследовал сам Первый, за ним по пятам Кнут, а за Кнутом, едва не наступая ему на задники, «этот самый, который так подвел нас с газетой, Волошин»... «Представляете, я его едва узнала! Только по этой его черной повязке на глазу. Лысый, как чайник, физиономия голая, смотреть неловко, честное слово. И глаз сверкает! Поистине, бог шельму метит...» В приемной уже дожидались трое посетителей, все директора совхозов, они было вскочили, но Первый поприветствовал их взмахом руки и бросил на ходу: «Сидите, товарищи». И дверь в кабинет закрылась.

Как и о чем происходил у них там разговор за закрытой дверью, секретарша не знала. Минут через десять дверь распахнулась, и в приемную вышли — сначала Волошин и почти сразу за ним Кнут. Волошин остановился у стола секретарши и оперся на его край рукой без пальца. Кнут двинулся к выходу в коридор, но приостановился возле Волошина и произнес негромко: «Вот так, Волошин. А будешь трепыхаться, возьмемся за тебя по-настоящему. Тогда взвоешь». Сказавши это, он обычной своей неторопливой походкой пересек приемную и удалился. В приемной воцарилась

тишина, посетители старательно отводили глаза от Волошина, секретарша принялась перебирать какие-то бумаги. «Ей-богу, товарищи, не знаю даже — какие. Всегда мне в таких ситуациях ужасно неловко. Двадцать лет там служу, а привыкнуть ну никак не могу, представляете?» И тут раздался звонок, призывающий ее в кабинет.

Она вскочила. Тут надо отметить одно обстоятельство. Кнут известен был в райкоме тем, что вечно забывал закрывать за собой двери. Вот и тут дверь в кабинет он за собой только прикрыл, оставив изрядную щель, а дверь в коридор оставил нараспашку. Итак, секретарша на звонок вскочила и вдруг увидела, что один из посетителей уставился на Волошина дикими вытаращенными зенками и откинулся на спинку стула, загородившись портфелем. Она тоже взглянула на Волошина. И ужаснулась. «Он был синий, товарищи! Представляете? Синий, как покойник!» Глаз его налился кровью. Лысая голова втянулась в плечи, лысина покрылась обильным потом. Губы искривились, он прошипел несколько омерзительных слов, и его всего перекосило.

По словам секретарши, у нее от ужаса потемнело в глазах. «Будто тьма рухнула». И в этот самый момент из коридора послышался грузный грохот,

словно упало что-то тяжелое и объемистое. И кто-то хрипло завопил. И совершенно как эхо из кабинета Первого донесся пронзительный визг. В коридоре затопали и заголосили, а дверь кабинета распахнулась, и в приемную буквально вывалился наш Первый. Он прижимал ладонь к щеке, между пальцами бойко стекали густые красные струйки. «Врача... — пробормотал он. — Немедленно... Врача!» Его качнуло. Посетители, оправившись от столбняка, кинулись к нему и, втащив обратно в кабинет, уложили на диван. Секретарша оказалась на высоте. Выхватила из шкафчика полотенце, смочила из графина и наложила на пораженную щеку. Затем, приказав посетителям держать и прижимать этот компресс, кинулась к телефону. «И представьте, товарищи, в «скорой» уже знали! Машина уже выехала! Конечно, никакой мистики не случилось, а «скорую» вызвали минутой раньше для Кнута, который сверзился с лестницы...»

А с Первым случилось такое несчастье. У него был любимый красно-синий карандаш, толстый, всегда остро заточенный с обоих концов. Когда Волошин и Кнут удалились, он взял этот карандаш, чтобы сделать пометки в перекидном календаре. И тут ему вдруг стало дурно. Он еще

успел дать звонок секретарше, потерял сознание и упал лицом вперед. И карандаш пропорол ему щеку насквозь. («Хорошо, что не в глаз!» — простодушно присовокупила наша старая дева.)

Если судить по одновременности шумов и криков, донесшихся из коридора и кабинета, Кнут пострадал в те же самые секунды. Он неторопливо поднимался по лестнице на третий этаж, снисходительно с кем-то беседуя, вдруг замолк на полуслове, слабо помахал руками и покатился по ступеням вниз.

Набежали врачи и санитары, прибыли чины из всяких органов, начались расспросы и допросы, в общем, кутерьма получилась страшная. Да и то сказать, буквально в одну секунду вышли из строя два руководителя райкома! Тут, дорогие товарищи, забегаешь.

— А что случилось с Волошиным? — спросил я, когда она, отговорившись, погрузила свой востренький нос в чайную чашку.

— С Волошиным? — переспросила она с удивлением. — А что — с Волошиным?

— Ну как же... Он же был в приемной, когда началась вся эта, как вы говорите, кутерьма. Вы же рассказывали: синий, как покойник, весь в поту... Он тоже свалился? Ему-то оказали помощь?

Секретарша поставила чашку и поглядела на меня, затем перевела взгляд на Алису.

— Н-ну, откуда я знаю? Я о нем тогда и думать забыла... Все кричат, бегают, кровь хлещет... Если он и свалился, то отлежался, надо думать... А может, и его врачи пользовали, откуда мне знать? Не до него нам там было, товарищи дорогие...

Мысль о том, что Волошин тоже претерпел в этих странных обстоятельствах, не вызывала как будто сомнений, хотя смутная идея совершенно иного толка и возникла тогда же в голове моей, такой уж одиозной фигурой представлялся мне Ким, но идея эта была поистине сумасшедшей, и я поспешно погасил ее, едва она вплыла в мое сознание...

— Ладно, барышни, — произнес я, поднимаясь. — Вы здесь чирикайте и развлекайтесь, а у меня еще срочные дела.

Я ушел к себе и позвонил на работу. Дежурный врач оказался полностью в курсе и вовсю кипел ядовитейшим сарказмом. Еще бы, одним махом два секретаря! Террористы не дремлют! Шашки наголо! Скальпели наизготовку! Примкнуть клистиры! Наш славный Первый: взялся за специально оборудованный карандаш, мгновенно отключился и очнулся с карандашом в щеке.

Еще и правый клык расшатал. Проверить карандаш на ядовитость, а пролитую на боевом посту кровь — на содержание алкоголя. Доблестный Кнут: давал на лестнице руководящие указания некоему замухрышке-завклубом, был оглушен порцией нервно-паралитического газа и очнулся на нижней ступеньке со сломанной ключицей и с фингалом во лбу. Фингал явно экспортный, по спецзаказу. Оба пострадавших тщательно обслужены нашей передовой медициной: рана на щеке зашита, рука на перевязи, фингал оставлен дышать свежим воздухом. В настоящее время они сидят или лежат по домам. Больницу навестил некто компетентный, понюхал, поспрашивал и удалился с физиономией, на коей явственно читалось, что дело здесь нечисто. Ким Волошин? Да, упоминался. Мало того, создалось впечатление, что, с точки зрения компетентного товарища, он столбом возвышается над кучей прочих свидетелей. В больнице не появлялся, куда делся — неизвестно. Кажется, его разыскивают. И беда не приходит одна. Недавно позвонил хмырь, заведующий райторговским складом, и сообщил, что тоже чувствует себя неважно. Происками идеологических врагов посажен на гвоздь, порвал брюки, а может, и не только брюки, а может,

и совсем не брюки. Послана «скорая помощь»...

В таком духе дежурный, бывший Вася-Кот и бывший врач «скорой», мог продолжать до бесконечности, но я ему мирволил, потому что врач он был талантливый. Я обозвал его пустобрехом и положил трубку, и буквально через минуту мне позвонил Главный. Его, конечно, уже известили.

— Совпадения случаются, Алексей Андреевич, — рассудительно объяснил он мне, — двоих накрыло одновременно, хотя бы и таких значительных лиц, — то ли бывает! А помните, в прошлом году на стадионе подломилась сгнившая скамья? Тогда разом пятеро покалечились. Знаю, знаю, райком не стадион, и все же не будем паниковать, Алексей Андреевич, не будем впадать...

Ну, я и не паниковал. Но оказалось, что я не люблю совпадений. Утром выяснилось, что и Моисею Наумовичу совпадения не нравятся. Расспросив меня в подробностях, он некоторое время молчал, тихонько трубя через губу, потом проговорил угрюмо:

— Все-таки жаль, что нельзя поговорить с этим Волошиным.

Впрочем, вскоре выяснилось, что с Волошиным говорили. Мы бы об этом не узнали, если бы не

С., тогда еще лейтенант милиции, тот самый, по милости которого я сейчас сижу за машинкой. Он довольно регулярно полеживал у меня по поводу своего маленького сердца. Хороший был парнишка, благожелательный и в меру доверчивый, и завоевал он меня тем, что охотно развлекал криминальной хроникой Ташлинска.

Так вот, через несколько дней после события в райкоме он явился ко мне на «чек-ап», получил обычные уколы в обе ягодицы и сообщил по секрету, что компетентным товарищам все же удалось разыскать Кима в тот же вечер. Он сидел у себя дома, пил с соседом бормотуху и ругался по-черному. Непрошеным гостям он объявил, что ежели секретарей стукнуло, то по заслугам, есть Бог на свете, а вот за что стукнуло его, Кима, он не знает и считает это упущением... Еще из беспорядочной этой беседы выяснилось, о чем шел разговор. Ким потребовал от райкома извинений за незаконное увольнение из газеты, восстановления на работе и денежной компенсации за вынужденный прогул. Ну и, конечно, где залез, там и слез.

А в скором времени случилась «собачья бойня».

12

По-русски, проказа есть ужас и отчаяние, кошмар, предвещающий горе окружающим, гибель плоти, ощутившей мерзость свою. Но не только. Проказа есть еще и радость, и наслаждение, озорство, не всегда приятное окружающим, веселие плоти, ощутившей избыток сил своих.

И опять мы ничего не видели сами, факты били по нашим умам и нашим душам через свидетелей, через слухи, через примитивные фантазии и неразбериху самоуверенных мнений.

А впрочем, мало ли слухов спокон веку ползает по Ташлинску. В ту суровую раннюю зиму, например, из уст в уста передавались достоверные сведения о том, будто из скотомогильника в девяти верстах от окраины по ночам вылезают то ли волки, то ли оборотни, воют на луну и жалуются человеческими голосами... А районная больница, как всем известно, была, есть и будет идеальным коллектором слухов. Больные, няньки, сестры, посетители, часто даже и врачи наперебой об-

суждают, кто на ком попался, введут ли талоны на водку, у кого была неприятная встреча на погосте, какую пакость учинил завмаг такой-то...

И вот странные слухи о «собачьей бойне» на Пугачевке.

Надобно разъяснить, что Пугачевка у нас улица старинная, бывшая некогда слободкой. Облика своего не меняла со столыпинских времен: прочно вросшие в землю избы с небольшими окошечками, которые на ночь закрываются крепкими ставнями, плетни и заборы, ветхие скамеечки у калиток, а сама улица довольно широкая, хотя, конечно, немощеная, и не в редкость ныне видеть возле некоторых домов грузовики, пригнанные шоферами, либо отроду здесь живущими, либо снимающими углы.

И конечно же, за заборами и плетнями и просто на обочинах — несметное число собак, беспородных, ублюдковатых, часто беспризорных, постоянно озабоченных поисками продовольствия и развлечений.

Однажды примерно в час ночи шел по середине Пугачевки, поскрипывая снежком, слегка подвыпивший прохожий. Не было при прохожем ни палки, ни жердины, ни каких-либо иных средств увещевания, без которых не склонны выходить

за околицы даже местные жители. Просто шагал себе по морозцу, слегка пошатываясь. И вот поодиночке, по двое, по трое стали выбираться из-под заборов, перепрыгивать через плетни и выскакивать из кромешной тьмы проулков всевозможные бобики, кабыздохи и лайки. Голов не менее двадцати возникло на улице и устремилось вслед прохожему, заливаясь злорадными и угрожающими кликами и приглашая всех желающих примкнуть к нападению.

Собравшись в стаю, собаки дичают и при малейшей провокации доводят себя до неистовства. Как люди, собравшись в толпу. Уши у них прижимаются, хвосты вытягиваются в полено, пасти оскаляются и начинают брызгать слюной. Как у людей, если говорить о пастях. Они действуют все более нагло, наскакивают, забегают с флангов и спереди, а самые нетерпеливые вцепляются сзади в пятки и в одежду, чтобы заставить жертву побежать, а уж тут-то и начнется самое главное. Веселая погоня.

Как врач я не раз попадал на этой самой Пугачевке в сходные ситуации, но меня жестоко отбивали родичи и соседи больного. Прохожий же был совершенно один и без оружия. Обнаружив себя в центре внимания, он остановился и

повернулся лицом к супостатам. И моментально был окружен. Гам стоял несусветный, ибо нападавшие в два десятка глоток подзадоривали друг друга к самым решительным действиям. Прохожий попытался отбиваться ногами, но это только прибавило нападавшим азарта. Прохожий изловчился, поймал одного за шкирку и швырнул через плечо. Летящая псина, наверное, завизжала, но визга в гаме слышно не было. Уже прохожего рванули за полу и цапнули за пятку...

И вдруг наступила тишина.

Без всякой видимой причины собачий гам оборвался, как обрубленный. Без всякой видимой причины остервенение сменилось ужасом, и собаки молча брызнули во все стороны. Впрочем, не все. Около десятка кобельков и сучек остались лежать на снегу. Мертвые. Или дохлые, если угодно. На улице был только один живой — прохожий. И стояла тишина, совершенно непривычная на Пугачевке. Ни на что не похожая. Ни единого собачьего возгласа на километры вокруг.

С минуту прохожий стоял, слегка покачиваясь, над погибшими собачками. Затем громко и неприлично выругался, повернулся и пошел своей дорогой. И он шел уже вполне трезвой походкой, все убыстряя шаг, и вскоре его не стало

видно.

Примерно так изложила в ординаторской эту историю сестра-хозяйка Грипа, лучшая в больнице фольклористка-сплетница. Когда она закончила, бывший Вася-Кот, а ныне Василий Дормидонтович завистливо воскликнул:

— И откуда такая чепуха берется?

В ответ Грипа метнула в него лукавый взгляд, ясно читаемый как исконный девиз всех сплетников на Руси: «За что купила, за то и продаю, не любо — не слушай, а врать не мешай».

Моисей же Наумович, к моему изумлению, отнесся к этой байке очень серьезно. Оставшись со мною с глазу на глаз, он объявил, что дело надлежит тщательно расследовать, а именно — попробовать отыскать на Пугачевке настоящих свидетелей. Стыдно признаться, но я и тогда еще был слеп, а Моисей Наумович уже прозревал. Так ведь на то и был он старым и мудрым «лекарем мертвых»... Я же, дурак, взорвался тогда:

— Да что вас встревожило, Моисей Наумович?

— Совпадения, Алексей Андреевич, совпадения... — неохотно и не совсем вразумительно ответил он.

Как и повсюду в городе, было у него несколько приятелей и приятельниц и на Пугачевке.

И через них он нашел очевидцев. Оказалось их четверо. Доведенная до исступления мамаша, вышедшая из калитки с метлой в руках встречать непутевую дочку, загулявшую у подружки. Возлюбленная пара, которой часа два было никак не расстаться у порога девичьего дома. И рабочий с молокозавода: ему что-то не спалось, и он вышел на улицу покурить.

— Он у бабки своей живет, а она табачного духу не переносит.

— Почтительный внук, — заметил Моисей Наумович. — Не всякий выйдет курить на такой мороз...

— А будешь почтительным. Какую другую бабку он бы послал подальше да и дымил бы в избе в свое удовольствие. А эту не пошлешь, что ты! Она ведьма всем известная, он ее пуще смерти боится. По струночке ходит, всю получку отдает...

Поговорить удалось лишь с двумя очевидцами. Прилипчивый ухажер — из возлюбленной пары — проживал на другом конце города, а почтительный внук отбывал вечернюю смену. Зато показания мамаши и подружки ухажера удручающе точно подтвердили тревоги Моисея Наумовича. Они различались только в мелочах и в общем повторяли байку, рассказанную нашей

Грипой. Добавилась одна подробность: прохожий был в обширном тулупе до пяток и в огромной меховой шапке. И попутно выяснилось любопытное обстоятельство: нынче ни одна собачонка на Пугачевке не появляется на улице и не лает, и даже свирепые цепные кобели во дворах не вылезают из своих будок... Напоследок Моисей Наумович спросил, что, по мнению очевидцев, произошло. Мамаша объявила, что собак развелось слишком чересчур много и их пора отстреливать, пока они детей рвать не начали. Девица же, несомненно, с подачи своего личарды, уверенно ответила, что таинственный прохожий выстрелил в собак из специального газового револьвера заграничного дела.

Посетив хату почтительного внука, Моисей Наумович был принят бабушкой-ведьмой, согбенной старухой, облаченной в основательно потертое черное. Лик у нее, в соответствии с бытующими представлениями, был желтый и сморщенный, острый подбородок и загнутый клювом нос неудержимо стремились к встрече, передвигалась она, опираясь на отполированный десятилетиями шишковатый посох. И хотя передвигалась она довольно бойко, Моисей Наумович решил, что не бабушка она рабочему

молокозавода, а по крайней мере прабабушка, а то и прапрабабушка.

Принят он был ласково и удостоен стаканчика ароматной горьковатой настойки. Ему даже показалось, что его ждали. Его попытка объясниться насчет цели визита была сразу отметена взмахом костлявой шафрановой руки.

— И не спрашивай, тебе все правильно рассказали, — хрипловатым тенорком произнесла бабушка-ведьма. — Я ведь хоть глазами не видела, а все знаю. Так бы и я смогла бы с собаками, с бессловесными, да и с людишками тоже. И могла когда-то, а сейчас уже не могу, косточки ноют, к земле клонят...

— То есть что же именно могли? — вопросил несколько сбитый с толку Моисей Наумович.

Старуха пристально на него поглядела.

— Ты вот закручинился, огорчился. И правильно, человек ты хороший и добрый, хоть и жидовин. Но ты одно в толк возьми. Бесов не Бог создает. Это человеки по грехам своим бесов рождают, а потом сами же их закрестить тщатся. Кто книгой, кто огнем, кто еще чем... А только пока закрещивают, намучиваются и опять же через муки свои новых бесов рождают и опять крестят... Так оно и ведется на свете с самого начала...

Моисей Наумович виновато пробормотал:

— Простите, бабушка, но боюсь, не совсем я понимаю...

— А и где тебе? Знаем мы, может, и одинаково, а понимаем по-разному. Твои отцы из песка да камня вышли, мои же — из родников да трав. Ну и каждому роду своя природа...

Тогда Моисей Наумович, торопливо собравшись с мыслями, спросил напрямик, без подходцев:

— Получается, бабушка, что человек этот ночной, который с собачками управился, вашей природы? Ведьмак? Колдун?

— Нет, — ответила бабушка-ведьма. — Он никакой не колдун. Разнузданный он. Аггел.

— Ангел?

Бабушка мелко затряслась, залившись дробным смехом и легонько ударяя себя по острым коленям костлявыми ладонями.

— Не ангел, добрый человек! Аггел! Ты, поди, и слова-то такого не знаешь, а?

Моисей Наумович встал, положил на стол «красненькую», чопорно поклонился и вышел. Эта беседа произвела на него большое впечатление. Склонный, как большинство прозекторов, к мистицизму, он был потрясен.

На обратном пути он зашел ко мне с подробным отчетом. И впервые на душе у меня стало тревожно. Помнится, я глядел, как Моисей Наумович прихлебывает раскаленный чай (с ложечкой коньяку на чашку, как обычно), и бормотал бессмысленно:

— Собаки, газ, ведьма, бесы... аггел какой-то... Господи, да что все это значит?

— Поживем — увидим, — со вздохом ответствовал Моисей Наумович.

Очередной иероглиф появился в нашем поле зрения уже через два дня. «Скорая» доставила в больницу известного алкоголика Тимофея Басалыгу по прозвищу Нужник. (Прозвище это не имеет отношения к месту отправления естественных надобностей, а восходит к любимому словечку Басалыги — «нужно». Нужно опохмелиться. Нужно, шеф, бутылку поставить. Нужно, гад, тебе горло перервать.) Это амбал почти кубической формы, ростом метр семьдесят, весом сто десять кило, с сизой шелушащейся рожей, всегда опухшей и небритой, с невыносимых размеров кулачищами, с изрядной плешью на маковке, даром что ему всего тридцать с небольшим. Уголовного прошлого нет, а есть множество приводов и несколько недель пребывания на

больничной койке по поводу разного рода алкоголических осложнений. Нужник, одним словом.

Врач «скорой» рассказал. Вызов получился с телефона-автомата: какая-то женщина взволнованно сообщила, что тут на улице с человеком припадок, он крутится в снегу, пытается подняться и не может, нечленораздельно кричит, а мужчины все трусы, боятся подойти и помочь... Но когда «скорая» прибыла, припадочный уже не крутился и не кричал, а лежал на снегу спокойно, с закрытыми глазами, и только постанывал. Дело было перед входом в магазин, куда тянулась очередь за водкой, и возле тела стояло всего человек пять-шесть уже снабдившихся. Тело с трудом втащили в машину — причем, когда его взяли на носилки, оно колоссальным задом своим продавило брезент, — и тогда оно, переставши стенать, приоткрыло один глаз и внятно произнесло: «Нужно полежать, братцы...»

В больнице ничего серьезного у Нужника не нашли, он даже не был пьян, хотя и страдал от похмелья. Врач «скорой» впал в изумление: там, перед магазином, у больного обнаруживались все признаки надвигающейся апоплексии. Нужник лежал на топчане и окидывал всех искательными взглядами. Ему велели встать. Он встал,

вытер сизую фрикадельку носа рукавом и вымолвил с надрывом: «Нужно бы спирту стаканчик, товарищи врачи...» Тут к нему протиснулась наша Грипа, сестра-хозяйка. Всем было известно, что по каким-то причинам, скорее всего матримониального свойства, она до кровомщения Нужника ненавидит. «Спирту тебе, клоп запойный? — взвизгнула она. — А этого не хочешь?» И завертела перед опухшей харей Нужника двумя кукишами. Он отклонился и солидно произнес: «В медицине нужно себя держать». Грипу оттеснили, а Нужнику предложили рассказать, что с ним произошло. Он охотно рассказал. Тихо-мирно стоял в очереди, дожидаясь, когда магазин откроется после перерыва, и вдруг его скрутило до помрачения, и больше он ничего не помнит, а очнулся только в «скорой», и это нужно понимать, а не заниматься оскорблением пострадавшего. С тем его и выпроводили.

Но дело этим не кончилось. Мстительная наша Грипа не поверила, что Нужник стоял в очереди тихо-мирно, и решила добыть на него компромат, чтобы им занялась милиция. Выяснив из книги вызовов «скорой» адрес магазина, она ринулась доискиваться. Ташлинск — не столица, цепочки знакомств у нас короткие. И невдолге вышла она

на некую тетку Дусю, мать подружки жены ее, Грипиного, старшего брата. Эта тетка Дуся по маленькой спекулировала водочкой и ежедневно выстаивала очередь в магазин на нижнем этаже ее дома. В тот день ей повезло очутиться в первой десятке, а сразу за нею встал лысый одноглазый Ким Сергеевич, ее сосед по лестничной площадке. И все стояли терпеливо, как вдруг перед самым открытием откуда ни возьмись появился Нужник и стал, распихивая передних, лезть к дверям. Очередь, конечно, заворчала, но связываться было опасно. На протестующие же возгласы Нужник оборачивал свое мурло и сипло рявкал: «Нужно, понял?»

Он уже пристроился у дверей, будто там стоял всю дорогу, как вдруг Ким Сергеевич выдвинулся из очереди, подошел к нему и, схватившись обеими руками за шиворот, рванул назад. Конечно, не с его пожилыми силами было опрокинуть такой комод, однако Нужник попятился и повернулся. Он не столь разъярился, сколь озадачился. «Ты это што, дурак одноглазый?» — просипел он. А у Кима у Сергеевича лицо стало белое, аж голубое, и все заблестело от пота. И он довольно громко сказал: «В очередь встань, скотина!» Нужник выпучил на него свои бельма и говорит: «Нужно

тебе последний глаз выдавить, гад». И протянул свой толстый грязный палец к лицу Кима Сергеевича. Ну, все замерли, только какая-то дамочка ойкнула.

Но не донес Нужник свой грязный палец до лица Кима Сергеевича. Что-то с ним случилось, с Нужником. Морда у него вся почернела, зашатался он, замахал руками и грянулся навзничь в снег. Полежал чуток тихо, потом забарахтался, видно было, что подняться силится, а не может, что-то его корчит и скрючивает, и что-то он такое лопочет, не поймешь что. Ким Сергеевич с минутку посмотрел, как его черти разбирают, да и пошел прочь. А тут магазин открыли, все внутрь кинулись, и когда, взявши свои законные две бутылки, тетка Дуся обратно вышла, то увидела только, как «скорая» отъезжает...

Грипа рассказывала с увлечением и злорадством, даже в лицах показывала, и невдомек ей было тогда, кто такой этот Ким Сергеевич, героически выступивший против ненавистного Нужника, и что магазин тетки Дуси помещается в том самом доме, куда в незапамятные времена Ким пригласил меня на свое новоселье. В заключение Грипа, светясь от счастья, сообщила, что было у нее намерение подать на Нужника в

милицию за хулиганство, пусть бы сколько там суток в кутузке поманежился, да видать, сам Бог за подлеца взялся, наказал на месте, а милиция перед Богом что? Тьфу! И растереть... А таким смелым и справедливым людям, как этот Ким Сергеевич, надо ноги мыть и воду пить...

Когда мы с Моисеем Наумовичем удалились в ординаторскую и закурили, я сказал:

— А вот интересно, будет ли теперь Нужник появляться на улицах и лаять?

Моисей Наумович посмотрел на меня печально и строго.

— Плохая шутка, Алексей Андреевич, — проговорил он. — Не ожидал от вас...

Я устыдился.

Скоро выяснилось, что шутка моя и вправду была не очень.

13

Да что пожары, что лифты! Что там служебные неприятности! Даже с голубями его происходили странные истории. Один турман сорвался с третьего этажа и сломал ногу.

В один сумеречный вьюжный день меня позвали в приемное. «Персонально вас просят, Алексей Андреевич», — сказала сестра. И кто же поднялся мне навстречу, когда я вошел? Ким Сергеевич Волошин собственной персоной, во всей своей безволосой и одноглазой красе, совсем как полтора десятка лет назад, только сильно постаревший и очень прилично одетый. Желтый тулуп, огромная мохнатая шапка совершенно кавказского вида и еще что-то меховое и шерстяное кучей лежало на скамейке. Широко улыбаясь, он протянул мне руку и произнес своим сипловатым баском:

— Привет, Лешка. Вот, пневмония у нее. Клади к себе и лечи.

Только тогда я заметил сидящую тут же в полукреслице женщину. Была она тщедушна,

маленького роста, и даже под толстым свитером угадывалось, что локти и плечи у нее угловатенькие, а ноги, утопавшие в широких голенищах валенок, казались тонкими и едва ли не безмускульными. Личико у нее тоже было маленькое, и на скулах горели пятнышки нездорового румянца.

— Это моя жена, — сказал Ким, уже не улыбаясь. — Светлова Людмила Семеновна. Ты уж как-нибудь... Режим максимального благоприятствования... по старому знакомству.

— Будь спокоен, — сухо отозвался я.

Не потому сухо, что не видел никаких оснований создавать жене Кима особенный режим, а чтобы скрыть замешательство. Как сказал бы классик, мозг мой будто мгновенно взболтали ложкой. Старый хрен, а туда же, она вдвое его моложе... Не то. Ким и женитьба — это несовместимо, несуразно, из ряда вон... Но мне-то какое дело? Но вот обширный желтый тулуп на скамье, невероятных размеров шапка... собачки... Нужник... Режим благоприятствования? Да ради бога!

Я велел Киму дожидаться меня, а сам отправился создавать режим. Создал. С подачи нашей Грипы, которая тут же прониклась к Люсе неизъ-

яснимой нежностью (еще бы, жена смелого и справедливого, которого она моментально вычислила по описанию тетки Дуси), новая пациентка была помещена в удобный трехместный бокс по соседству со спецбоксом для начальства.

Неисповедимы пути судеб наших. Неисповедимы, но это не значит, что они не определены кем-то заранее. Как раз в те дни в спецбоксе для начальства страдал от радикулита сам заместитель председателя горисполкома Барашкин Рудольф Тимофеевич. Вперся-таки он со своим радикулитом ко мне в терапию, а лучше было бы ему по принадлежности лежать в неврологии, пусть и тесновато там, и пованивает...

Когда все устроилось, я пригласил Кима в ординаторскую покурить и покалякать по душам, а заодно заполнить историю болезни. На этот раз Ким говорил много и охотно. Когда я сообщил ему, что случай банальный и есть надежда вернуть ему жену недели через три-четыре, он вздохнул и сказал:

— Жалость какая. Хотели расписаться перед Новым годом, а теперь не успеть...

Вышла она, как и он, из детдома, было ей двадцать три года, служила кассиршей в кинотеатре «Восход», заведении паршивеньком, патронируе-

мом по преимуществу пэтэушниками, солдатней из стройбата и прочей шпаной. И угораздило ее в восемнадцать лет сойтись с бывшим одноклассником. Понесла, как водится, а тут Родина призвала его в ряды. Собрались было в загс, но бешено воспротивились родители. Он клятвенно пообещал ей жениться, как только вернется, и отбыл. Своевременно она родила дочку. Сунулась было к его родителям, но была отвергнута с брезгливым негодованием. Тогда она поселилась у какой-то старушенции, которая не то что в лавку сходить или печку истопить — до ветру выйти не всегда могла. Ну, кое-как жили втроем, старуха, молодуха и младенец. Старухина пенсия тридцать пять, да ее зарплата шестьдесят, да старуха еще маленько вязала, а молодуха продавала на базарчике... Были черные минутки, подумывала она дочку в заведение сдать, но каждый раз себя останавливала: суженый вернется, спросит, куда, дескать, дочку подевала?..

И вернулся суженый в цинковом гробу из Афганистана. Черт знает почему, но родители героя в несчастье этом обвинили ее, прогнали с ребенком с похорон и наказали впредь на глаза не попадаться. Ну, она больше и не попадалась. И то сказать, доказательств нет, в паспорте шаром

покати, а щенков любая лахудра сколь хошь наплодить может, чтобы с родных средства тягать...

Было тревожно и грустно слушать эту повесть, но еще более тревожно и интересно было мне смотреть на Кима, такого необычно разговорчивого и откровенного. Голос у него то и дело ломался и менял тембр, время от времени он словно бы сглатывал всухую и раза три или четыре доставал чистенький платок и промакивал свой единственный глаз. Потом он замолчал. Я подождал немного и спросил:

— Она теперь у тебя живет?

— Конечно. И она, и девочка. На той неделе перевез. Так что теперь я сразу и муж, и отец.

Лицо его вдруг омрачилось, резко определились складки по бокам тонкогубого рта.

— Ты что? — спросил я. Почему-то мне сделалось тяжело.

— Дочка, — проговорил он. — Тася. Глухонемая она.

А теперь пора вернуться к упоминавшемуся выше заместителю председателя горисполкома Рудольфу Тимофеевичу Барашкину, влезшему со своим радикулитом в мой бокс для власть имущих.

Был он отпетым невеждой (образование, как говорится, ЦПУ плюс ВПШ), но и те жалкие крохи знаний, что чудом удержались в его черепе, ухитрялся весьма ловко приспосабливать к своим нуждам насущным. Ей-богу, своими ушами довелось услышать. На заре его туманной юности некий энтузиаст-педагог сумел заставить его заучить известные жалобно-горделивые строки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» Из строк этих Барашкин сделал такой вывод. Раз авторитетные люди считают, что для понимания России ум не нужен, значит, так оно и есть, а нужен ум для того, чтобы понять, где и что в России плохо лежит, измерить это аршином не общим, а своим собственным, и пользоваться соответственно.

И был Барашкин хамом. Сестер моих доводил до слез, непечатно ругался, а когда не мешали ему радикулитные ощущения, пытался хватать тех, кто помоложе, за разные статьи. Ходячие больные, чтобы не нарываться на его язвительные излияния, избегали ходить в туалет мимо его бокса. Однажды я пригрозил выгнать его из своего отделения. На это он ответствовал с презрением: «А попробуй только, клистирная трубка. Я тебе такое отделение устрою, век помнить будешь».

После чего загоготал и добавил: «Кинофильм «Чапаев» видел? Как он там вашему брату... Клистирные трубки, кругом марш!» Сдуру я понесся к нашему Главному, но, как и следовало ожидать, лишь подвергся невразумительным увещеваниям. Основной упор был сделан на то, что товарищ Барашкин числится не за мной, а за неврологией, из чего странным образом следовало, что надо терпеть и не обострять отношений...

Вот такое сокровище оскверняло мой спецбокс вплоть до первого января 87-го года.

Не боюсь признать, что по праздничным дням, как и во всех больницах, регламент у нас слегка нарушался. С утра шли посетители, халаты были нарасхват, вкусные запахи от авосек, корзинок и коробок заглушали больничную ароматуру, не забывались и те страждущие, которые посетителей не ждали. Медсестры забегали в палаты напомнить припозднившимся об очереди за халатами и выскакивали с подзамаслившимися губами и даже жуя на ходу. Многим и многим таким картинкам довелось мне быть свидетелем за многие годы моего докторства...

Но картинка того первого января была вдруг перечеркнута жирной черной полосой.

14

Дракон бедствовал, потому что управлялся самыми темными и стыдными органами своего тела.

Я был в тот день с Алисой у старинного приятеля, которого в свое время вытащил из тяжелого инфаркта. Резиденция в военном городке километрах в сорока. Машина на дом. Мороз и солнце. Четыре пары гостей. Встреча Нового года с шампанским. Ночная прогулка. Сладкий и удобный сон. Утром легкий завтрак. Снова мороз и солнце. Отличная прогулка на лыжах, праздничный обед, послеобеденный сон. Преферанс под коньячок. В десять расписали, слегка закусили, отбой. Раннее утро, опять мороз и солнце. Прощальные объятия: «Все же редко встречаемся, старина!» Сорок обратных километров по накатанной дороге. Останови вон у того дома, дружок. Спасибо. Пятерка в бурую от всяких ГСМ ладонь. Хорошо живет на свете Винни Пух!

Я и не подозревал, какие напасти ждут меня. Как выразился Сэм Уэллер: «Знай вы, кто тут находится поблизости, сэр, я думаю, вы запели бы

другую песенку, как сказал, посмеиваясь, ястреб, услышав, как малиновка распевает за углом»...

Я переодевался в повседневное, когда в кабинете задребезжал телефон. Звонил дежурный врач. Едва я откликнулся, он заорал дурным голосом:

— Алексей Андреич? Слава те господи, наконец-то! Главный вас обыскался...

— С Новым годом! — строго произнес я, физически ощущая, как сердце мое проваливается в желудок.

— Да-да, конечно... Вас тоже... Алексей Андреич, срочно в больницу. Тут у нас неприятность...

— Погоди. У кого это — у нас? У вас в хирургии?

— Как раз наоборот. У вас в терапии. Главный вас со вчерашнего дня разыскивает.

Я сосредоточился и перебрал в памяти самые скверные возможности. Нет, все было не то. Даже если бы половина моих старушек и инфарктников скончались в одночасье, наш Главный не стал бы тратить праздничный день на розыски заведующего терапией. Не такой он человек. Но что же тогда? Словно бы в ответ голос в трубке прошелестел:

— Барашкин вчера копыта откинул.

— Умер?

— Как есть умер, — подтвердил с придыханием

дежурный.

— От радикулита? — обалдело спросил я. Конечно, я был не в себе и тут же спохватился: — Хорошо. Иду.

Все стало ослепительно ясно. Барашкин откинул копыта на моей территории, и даже если бы причиной смерти был укус гюрзы, расхлебывать эту кашу придется именно мне, и уже виделся я себе тонущим в море докладных, объяснительных, гневных жалоб родственников и зловещих запросов из инстанций. Потому что Барашкин, а не безвестный пенсионер с какой-нибудь Пугачевки... Со стесненным сердцем, на отяжелевших ногах направился я в больницу, выражаясь чуть ли не вслух по адресу покойного Барашкина, здравствующего Главного и игривой судьбы своей.

Дежурный врач уже ждал меня. Он сообщил, что Главный сидит у себя, паникует и ждет меня, чтобы обсудить некоторые вопросы. Ладно, сказал я, это потом. Что и как произошло? Дежурный деликатно напомнил мне, что заступил только вчера вечером, когда все значимое уже произошло, а в больнице царила одна лишь бестолковщина, производимая компетентными лицами, демонстрировавшими различные ста-

дии алкоголического восторга.

Ладно, сказал я, но мне все же хотелось бы выяснить все-таки, что и как произошло. Ты же понимаешь, старина, прежде чем предстать перед Главным и обсуждать вопросы... Если спросит, скажи ему, что я у себя. И я поволок ноги в свою родную терапию. Барашкин — это Барашкин, неотвязно думалось мне, и тень прокурора реяла у меня за плечами.

Приказав нянечке разыскать старшую сестру, я забрался к себе в кабинет. Оглядел стол — истории болезни не было. Когда вошла старшая, я спросил, забыв поздороваться:

— Какой диагноз?

— Острая коронарная недостаточность.

— А где история?

— У главного врача.

Так. Я подпер щеку кулаком и приказал:

— Рассказывайте, что и как.

Она замялась: вчера она тоже праздновала, как и я. Еще одно лыко мне в строку. Но тут в кабинет ввалился весь наличный медперсонал плюс еще трое бабочек, бывших вчера свидетельницами. Эта троица явилась сегодня посмотреть, что из всего этого выйдет. Так я их понял и пропустил мимо ушей, как одна из них, старейшая

наша нянька Эльвира, объяснила с недостойной прямотой: «Надо ж было поделиться радостью с подругами...» Вот они и рассказали мне, что и как.

Вчера после обеда явилась к Барашкину его супруга. Естественно, она не стала дожидаться с хамами, когда освободится халат, а вперлась прямо в котиковой шубе и расшитых валеночках-унтах. Она одарила своего страдальца гостинцами, все чин чинарем: «А там икра, а там вино, и сыр, и печки-лавочки...» Икра, точно, была, печки-лавочки были представлены балычком и буженинкой, а вместо вина одарен был страдалец бутылкой невиданного в наших широтах коньяка. И была при этом она, супруга, пьяна. («Навеселе», — сказала деликатная санитарка Симочка; «Под бухарем», — подтвердила грубая санитарка Галина из хирургии; «По самые брови налитая», — возразила тетя Эльвира.) Впрочем, пробыла жена недолго. Тяпнули, наверное, по рюмашке за Новый год, и она отчалила, оставив повелителя своего сосать в одиночестве.

Некоторое время все шло тихо и мирно, но вдруг дверь спецблока с треском распахнулась, и Барашкин возник на пороге — в роскошном халате нараспашку, в пестрой фуфайке ручной вязки

и в теплых антирадикулитных подштанниках, вся аптека наружу. Больные и посетители, расположившиеся на лавочках под сенью худосочных больничных пальм, замерли от неожиданности. Барашкин же, грозно оглядев их, заговорил. А глотка у него, надо признать, была потрясающая. Когда он принимался орать, дрожали стекла, дребезжала посуда и бедные мои старушки пациентки в ужасе прятались с головой под одеяло. И все выступления его были, как правило, обличительными и угрожающими. Таким было и его последнее выступление.

Репертуар, как явствовало из свидетельских показаний, был обычный, с обычными же непредсказуемыми перескоками с темы на тему. Он не позволит таким и сяким коновалам делать над ним свои поганые опыты и писать с него свои ученые статьи. Он очень даже хорошо понимает, что больницу заполнили за взятки разные тунеядцы, которые отлеживаются здесь за государственный счет, чтобы уклониться, да еще шляются в сортир мимо его двери. Он выведет на чистую воду тех, кто обворовывает в больнице народ и кормит народ помоями...

Посетители попытались урезонить его — он пригрозил сгноить их. Санитарка попыталась

водворить его обратно в бокс — он объявил, что сейчас не те времена, чтобы затыкать рот. Прибежал растерянный дежурный врач — он повелел врачу в недельный срок убраться в Израиль. Тетя Эльвира, нежно обняв его за необъятную талию, стала уговаривать его пойти и прилечь — он уперся и стал громогласно и косноязычно объяснять, кто такая тетя Эльвира и кто были ее ближайшие родственники...

И вот как все получилось. Только-только Барашкин впал в разоблачение сексуальных связей давно усопших родителей старой няньки Эльвиры, как вдруг замолк. Прямо на полуслове. Словно радио выключили. Симочка, в ужасе прятавшаяся за спиной дежурного врача, видела все своими глазами. Барашкин смолк, морда у него посинела, он икнул, всхлипнул и повалился на бок. Его даже подхватить не успели. Упал, перебрал ногами и застыл, закатив глаза. Все.

— Что сделали? — тупо спросил я.

Сделали все, что можно было и что полагалось. Дефибрилляцию. Интубацию. Ничего не получилось. Труп — он и есть труп. Все равно что укол в протез. Сдох Барашкин. И скатертью дорога. Правильно сказал Волошин, от души. Вышел, глянул и сказал — громко так, чтобы всем слышно было:

«Собаке собачья смерть»...

Сердце мое дало сбой.

— Постой, постой, — коснеющим языком выговорил я. — Кто, ты говоришь, вышел?

— Волошин... Да вы знаете, с одним глазом который...

— Откуда вышел?

— Да из соседнего же бокса! Вы что, Алексей Андреевич, забыли? Там Люсенька, жена его, лежит...

Пока я собирался с мыслями, выяснилось, что Ким был очень заботливым мужем. Навещал жену чуть ли не каждый день и всегда с гостинцами. Пошил себе больничный халат, сам, видно, стирал и даже крахмалил. Часто приходил с дочкой. Тощенькая такая, конопатенькая, но ухоженная, волосики всегда расчесанные, с бантами, и платьица аккуратные. И вчера тоже с дочкой пришел. Она у них, бедная, не слышит и не говорит, но все соображает, а отца так понимает с одного взгляда. Пришли они вчера, рассказывала тетя Эльвира, и устроил он в боксе целый пир. Я им кипятку, конечно. Тасенька чай разливала и разносила. А уж бублики были — объеденье, теплые еще, видно, сам стряпал...

— Постой, тетя Эльвира, — прервал я ее. — Что

ты мне про бублики... Когда Барашкин загнулся, Волошин был в коридоре?

— Не было его в коридоре, — решительно сказала тетя Эльвира. — Я же говорю, он после вышел...

— Точно, — подтвердила Галина из хирургии. — Как Барашкин грохнулся, я побежала помочь Григорию Рувимовичу, а Волошин этот как раз из бокса выходил и дверью меня в задницу толкнул...

Все они, словно почуяв что-то, с выжидательным любопытством уставились на меня. Но я только спросил:

— Что было потом?

Потом, после необходимых и бесполезных процедур, труп утащили в морг, а ближе к вечеру нагрянула компания дармоедов то ли из милиции, то ли из безопасности, большею частию по случаю праздника на взводе, и с ними жена... вдова усопшего. Та вообще лыка не вязала и только непрерывно требовала, чтобы тело мужа хоть на кусочки изрезать, а доискаться, кто совершил террористический акт. Вцепились в дежурного врача: не ударил ли он или не толкнул ли товарища Барашкина, когда тот в пылу полемики позволил себе нерекомендованные

высказывания. Потом допрашивали персонал. Один добрался даже до котельной, где и был нынче утром обнаружен спящим в обнимку с пьяным нашим кочегаром...

Я слушал и не слушал. Значит, действительно Ким, лихорадочно думалось мне. Нельзя больше прятать голову в сугроб, убаюкивать себя всякой пошлятиной насчет совпадений. Совпадение раз, совпадение два, но помилуй боже, где же воля твоя? В свое время узнаем, конечно. Как пел много лет назад одноногий дядя Костя, кавалер одиночной медали: «На закуску узнаем, не пройдет еще час, есть ли небо над раем, иль морочили нас»...

Какое-то движение почудилось мне в пустом углу за плечом санитарки Симочки. Я вгляделся. Посиневшая, с оскаленными золотыми фиксами, с закаченными бельмами морда Барашкина была там, поторчала, скривилась безобразно и исчезла. Я вытер со лба испарину. Крещендо, вспомнилось мне. Вот как это называется. Крещендо. Сначала райком. Затем собачья бойня. Затем падение Нужника. Теперь вот Барашкин. Не просто Барашкин, а убиенный Барашкин.

Я спровадил наших девочек и тетечек из кабинета и отправился к Главному. Из мутных пучин непроглядной тайны на знакомую теплую

отмель обыденщины. Глубина не выше щиколотки. Отчетливо виден каждый трилобитик, копошащийся в донном песочке. Главный — не Ким Волошин, он прозрачен как стекло: профан, подхалим и трус. Заветная мечта — лекторская должность в облздраве. И, следовательно, никаких ЧП. У него в больнице не было, нет и не будет никаких ЧП. Пока он Главный, нет никаких ЧП, а есть нерадивые, авантюристы, возомнившие о себе зазнайки, о которых он своевременно и заранее сигнализирует куда надо. Тем более такое лицо, как покойный Барашкин. Пятно на репутации больницы. Следствие будет тщательным и пристрастным. Прокуратура по головке не погладит. Слава Главному! Я наливался злостью. Веселой злостью, я бы сказал. Мертвецы перестали мерещиться по углам. Еще немного. Вот оно, коронное: «И имейте в виду, Алексей Андреевич, никто для вас каштанов таскать не будет. Когда вызовут на ковер, пойдете вы, а не я. Мне на это время заболеть ничего не стоит».

Я нагло потянулся, зевая, встал и вышел, оставив его в приятном недоумении — не сошел ли я с ума и не должно ли меня вязать и отправить куда надо с соответствующей сопроводиловкой.

Я спустился в прозекторскую. Моисей Наумо-

вич сидел на «скорбном столе» (так он прозвал это зловещее сооружение из искусственного мрамора) и курил. Едва глянув на меня, он пробубнил скучным голосом:

— Совсем был здоровый мужик. Протокол будете читать?

Я помотал головой.

— Нет. Пусть в неврологии читают. Впрочем, какой вы диагноз поставили?

Он помолчал, затем с кряхтением слез со «скорбного стола».

— Диагноз... — проворчал он. — Нормальный. Тот же, что и дежурный врач. Острая коронарная. Какой еще может быть диагноз? Вдруг ни с того ни с сего остановилось сердце. Бывает?

Я машинально согласился, что бывает. Моисей Наумович вдруг рассмеялся.

— Представляете, Алексей Андреевич, эта дамочка... вдовушка... настояла на немедленном вскрытии, и чтобы у нее на глазах. Чтобы убийцы в белых халатах чего не утаили. Попытался отговорить ее, выпереть, — куда там! Вступились эти... как их... следователи, что ли? С красными книжечками. Ну, мне с ними не тягаться. Ладно, говорю, сами напросились, на себя пеняйте... — Он снова рассмеялся — нехорошо так, непохоже

на него, словно бы злорадно. — Едва я начал, как повело их. Все мне здесь заблевали и унеслись. И вдову уволокли... Слабые люди, как сказал бы товарищ Коба.

— Моисей Наумович, — сказал я, — у меня для вас новости.

— Это плохо, — сказал он. — Рассказывайте, Алексей Андреевич.

Я рассказал. Он выслушал. Лицо его закаменело. С минуту мы молчали, потом он проскрипел:

— Как это Волошин сказал? Собаке собачья смерть... Совсем получается по Фрейду, на Пугачевку указывает...

Он заторопился. Напяливая свою облезлую шубенку и кое-как обматываясь шарфом, произнес невнятной скороговоркой:

— Но ведь и опять у него ничего не вышло! Мозги изрезаны, потроха искромсаны... Видно, не предусмотрел. Значит, будем ждать следующего случая...

Смысл этой странной сентенции он объяснил несколькими днями позже.

15

Огромная гиена, пятнистая, лобастая, с янтарными глазами, катила по дебаркадеру отгрызенную человеческую голову. Как игривый котенок катает по ковру клубок шерсти.

Явившийся на очередной «чек-ап» и на уколы лейтенант С. сообщил мне (как всегда, по секрету, конечно), что у них в управлении имело место чрезвычайно чрезвычайное происшествие. Оказывается, еще со времен странной истории в райкоме милиция с подачи нашей ГБ взяла под колпак некоего Кима Сергеевича Волошина. («Да вы его должны помнить, Алексей Андреевич, это тот, что в газете про Полынь-город... После райкомовских падений мы его разыскивали, я вам рассказывал...») И вот после смерти Барашкина его вызвали в управление. Беседовал с ним сам капитан в своем кабинете за закрытой дверью.

Вдруг Волошин распахнул дверь и гаркнул: «Эй, вертухаи! Ваш начальничек упаковочку дает!» Кинулись. Капитан лежал головой на столе и стонал. Выяснилось, что он навалил себе в брюки.

Еще не успела подойти «скорая», как капитан очнулся, огляделся с очумелым видом, узрел Волошина и слабым голосом приказал удалить его из управления. Что и было сделано весело и беспечно. Врач же «скорой» констатировал легкий спазм мозговых сосудов и порекомендовал сотрудникам отвести злосчастного начальника отмываться.

Признаюсь, я преисполнился злорадства. (Силен враг добра в человеке!) А как же! Ничего им не стоит упечь какого-нибудь пархатого Григория Рувимовича или, скажем, завуча Второй школы (был такой эпизод), но вот столкнулись лоб в лоб с бесом — и полные штаны...

— Ну, и как? — спросил я, демонстрируя серость и невинность почти девичью. — Вы его, конечно, снова вызвали?

Но лейтенант С. тоже, видимо, подумал насчет бесов. Он считает, что с таким типом лучше не связываться. И все в управлении так считают. И капитан тоже. Нет, это не дело милиции. Об этом ведь и реляцию толком не напишешь. Представляете, Алексей Андреевич, приходит к нашему полковнику в Ольденбург бумага! Да еще о том, как наш капитан обос... А если у гэбэшников так свербит, то пусть сами и занимаются, а мы полю-

буемся со стороны...

Когда С. ушел, я бросился к Моисею Наумовичу. Выслушав меня, он невесело ухмыльнулся и бесцветным голосом выразил опасение, что дальше будет еще хуже. И он оказался прав. Дальше получилось так плохо, что и вспоминать не хочется. Но из песенки этой ни единого слова выкидывать нельзя.

Узнали мы об этом страшном деле во всех подробностях от насмерть перепуганной сестры-хозяйки Грипы, а та — от пресловутой тетки Дуси, соседки Волошиных, очень прилепившейся в последнее время к Люсе и ее убогой дочке. Устойчивая информационная цепочка, я бы сказал, совсем как в случае с Нужником... и очень для нас удобная, если здесь уместно такое слово.

Так вот, Ким сидел себе дома у окна и что-то мастерил на подоконнике, поглядывая на падчерицу, игравшую во дворе. Люся и тетка Дуся стряпали на кухне и напевали, а Ким им подсвистывал и все поглядывал да поглядывал, следил, чтобы Тася, упаси бог, не сбежала бы со двора на улицу, где машины. А денек был отменный, и собралось на дворе дюжины полторы дошкольниц и девочек-первоклашек, катались со снежной горки кто на салазках, кто на дощечках, а кто

и просто так. Мальчишки, как водится, играли отдельно. Такова была диспозиция к началу трагедии.

Как известно, дети — цветы жизни. Но весьма часто без видимой причины они разом обращаются все против одного, причем, как правило, слабейшего и самого робкого или, что совсем уже предпочтительно, против увечного. В тот день дьявол науськал детей на Тасю. Начала кампанию дочка монтера, жившего этажом выше Волошиных, ученица второго класса, девочка крупная, грубоватая и задиристая. Она повалила Тасю и с торжествующим воплем: «Дура глухая, корова мычливая!» — принялась возить ее мордочкой по снегу. Веселые подружки не замедлили присоединиться. И все это увидел Ким.

Он взревел, вскочил, запутался ногами в упавшем табурете, разбил его и, оттолкнув выскочившую в прихожую жену, бомбой вылетел на лестничную площадку. Он проскочил два пролета, а на ступеньках третьего поскользнулся, с размаху сел и так и остался сидеть, стиснув голову руками, весь в поту, с фиолетовой лысиной. Наверное, именно в этот момент и произошло умертвие. Дети с отчаянным визгом брызнули в разные стороны, и на месте остались двое: во-

рочавшаяся на снегу, мычавшая от страха Тася и неподвижно распластавшаяся дочка монтера. Мертвая. Необратимо мертвая.

Так рассказала нам, трясясь и закатывая глаза, наша Грипа. Уже на следующий день. «Внезапная смерть», как сформулировал корифей из кардиологической бригады «скорой». «Рефлекторная остановка кровообращения», как занес в справку мертвеющей рукой Моисей Наумович.

Дальше начались последствия. Соседям и особенно родителям было как день ясно, что доктора либо не разобрались, либо морочат людям голову, что никакой такой «рефлекторной» у девочки не случилось, а была девочка убита, и убил ее непостижимым образом Ким Волошин, всем известный колдун и злодей. Тех, кто сомневался, давили прецедентами — происшествием с Нужником и смертью Барашкина. Скоро весь город кипел возбуждением, близким к панике.

Конечно, требовались объяснения, и загуляли ужасные слухи. Материалисты убеждали, будто злодей Волошин вооружен неким ручным газометом, мистики талдычили насчет дурного глаза, порчи и какого-то авестийского волшебства. Но требовались не только объяснения, требовалось и немедленное отмщение. В райком, в мили-

цию, в газету посыпались письма. Арестовать и произвести доскональное расследование. Если потребуется, то и с применением форсированных методов допроса. А еще лучше — просто взять и повесить на площади Ленина...

И были соответствующие делегации. Ветеранов партии и труда. Общества защиты животных. Воинствующих безбожников и воинствующих патриотов. В райкоме им сказали, что проблема сложная, необходимых специалистов нет, послан запрос в область. В милиции объявили, что никакие действия Волошина К. С. ни под какую статью УК РСФСР не подпадают, попытки же самосуда над Волошиным К. С. будут пресекаться строго и беспощадно. А редактор нашей славной газеты, хоть и рад был бы свести счеты с бывшим сотрудником, самоустранился, ибо только недавно получил втык за статью о высадке инопланетян в соседней области.

Характерно, что градус гражданского возмущения не был одинаков для всего города. Больше всех волновались в районах, наиболее удаленных от «Черемушек», — за Большим Оврагом. В доме же, где жили Волошины, и ближайших окрестностях население держалось тише самой застойной воды и ниже самой низкой муравуш-

ки. Похоронив дочку, монтер немедленно увез обезумевшую от горя жену куда-то к родственникам, и все замерло. Некоторые по примеру монтера тоже вывезли свои семьи — от неведомого греха. Не играли больше детишки во дворах. Самые бесшабашные сорвиголовы, старшеклассники, пэтэушники, молодые рабочие стремглав шарахались в ближайшие подворотни, когда Ким выходил из своей берлоги в магазин или прогулять Тасю. (Люся не выходила из дому ни на шаг. Навещала ее украдкой, когда уходил хозяин, одна лишь тетка Дуся. По ее словам, Люся, осунувшаяся и поблекшая, дни напролет сидела на кровати, сложив руки на коленях, и глядела в окно, говорила мало и нехотя.)

Прошла неделя, и монтер с женой вернулись в дом. Вечером жена монтера, пьяная и растрепанная, отпихнув мужа, пытавшегося ее удержать, спустилась к дверям квартиры Волошиных и принялась колотить в нее кулаками и ногами, крича во весь голос.

— Убийца! — кричала она. — Отвори, убийца! Где моя дочь, проклятый упырь? Думаешь, убил и шито-крыто? Не выйдет! Я с тебя с живого не слезу! Ты у меня землю жрать будешь! Ты у меня сам в петлю полезешь! Отворяй, я тебе последний

глаз выцарапаю!

Надо полагать, весь дом в ужасе внимал этому вызову. Тетка Дуся попыталась увести несчастную мать, но была отбита с шумным негодованием. Попытался оттащить ее муж, но только переключил внимание жены на себя и вообще на всех мужчин в этом доме.

— Отойди, отзынь, трус паршивый! — взвилась она. — Почему ты не убил убийцу твоей дочери? Почему он жив и в ус не дует? Боишься, слизняк? Я одна здесь не боюсь! А вы здесь все трясетесь, затаились, шкурники проклятые! Мужчины, называется! Алкоголики сраные! Все вместе одного упыря задавить трусят!

Так она бушевала, совсем охрипла, билась в истерике, выкрикивая уже совершенно непечатное. При некотором усилии воображения можно представить себе, что происходило тогда в квартирке Волошиных. Как Люся, чтобы не слышать, зажимала уши и прятала голову под подушку. Как недоуменно хлопала глазами маленькая Тася, отрезанная от событий своей глухотой. Как метался из угла в угол Ким, скрипя зубами, с налитым кровью лицом, и все пытался... нет, тут воображение отказывает мне. С тем же успехом могу представить себе, как он сидит у стола, потягивая

водку, прикрыв глаз тяжелым синеватым веком, и даже слегка ухмыляется зловещей бесовской ухмылкой...

Жена монтера замолкла на полуслове и потеряла сознание, а очнулась через несколько минут хрестоматийным кретином, утратившим вдобавок память и речь. Час спустя кто-то догадался вызвать «скорую», и ее увезли. Потом след ее затерялся.

Весть об этом новом злодеянии (а в том, что это именно злодеяние, никто в городе уже не сомневался) обычным чудом облетела нашу публику той же ночью. Во всяком случае, когда я в девять утра пришел в больницу, о случившемся знали все больные, все сестры и няньки. Я связался с Моисеем Наумовичем. Он тоже уже все знал. Я предложил выйти потолковать под открытым небом: в больнице было полно народа и лишних ушей. Мы сошлись на середине двора и закурили.

16

И в тумане табачного дыма
Слово вымолвил старый стрелок,
Что для воина все достижимо,
Лишь бы только варил котелок!

Я решительно сказал:

— Надо что-то делать, Моисей Наумович.

Он зябко повел плечами под накинутой шубейкой. Лицо у него было измученное.

— Надо бы, — пробормотал он.

— Написать в облздрав? В министерство?

— Даже не смешно...

— Может быть, у вас в Москве кто-нибудь есть? Старые связи какие-нибудь... Нет?

Он безнадежно махнул рукой. Я сказал с раздражением:

— Люди же гибнут, Моисей Наумович! Может, в ГБ обратиться?

— Послушайте, Алексей Андреевич. Если верить этому вашему лейтенантику из милиции, в

КГБ все и без нас известно... И потом...

Он замолчал и вдруг пугливо поглядел на небо, серое пасмурное небо, откуда сыпал на нас в безветрии мелкий снежок. Словно бы он ждал, что вот-вот на нас спикируют какие-нибудь «мессеры».

— Что — потом? — рявкнул я, чтобы подавить в душе страх. — Что — потом, Моисей Наумович? Говорите же, мы здесь не шутки шутим!

— Все, что мы с вами знаем, они знают и без нас. А вот с кем они дело имеют, этого они не знают...

— А вы знаете?

Он поник головой и едва ли не шепотом произнес:

— А я знаю. Но они не поверят. Не готовы они.

— Но хоть мне-то вы можете сказать? — закричал я. — Я-то уж, кажется, ко всему готов! Да говорите же, черт подери, право!..

И он заговорил, а я стал слушать, выпучив глаза и раскрыв рот. Нет, к этому не был готов и я.

Ким Волошин, объяснил Моисей Наумович, не живой человек в полном смысле этого слова. Возможно, он не человек вообще. Ким давным-давно умер, был ввергнут в ад, осужденный на вечные муки, но ему удалось бежать. Бежать совершенно так же, как в нашем мире бегут из тюрем, коло-

ний и прочих мест, куда менее отдаленных. А беглецу из ада, как и заурядному беглецу с каторги, требуется как можно скорее смешаться с массой, затеряться в толпе. Ведь адские слуги, упустившие его, рыщут в поисках по всему миру, чтобы нагнать, схватить и вновь ввергнуть в пучину немыслимых мучений! Но тут возникает закавыка. Никто не может представить себе, какие травмы и увечья получает иномирская плоть от разных там сковородок, котлов и раскаленных щипцов, но в первую очередь, очевидно, беглец озабочен заменить свое изувеченное иномирское обличье на нормальное тело обитателя нашего мира. Иначе и у нас его не поймут, и погоня настигнет в два счета. Ну и вот...

Моисей Наумович замолчал и со значением посмотрел на меня.

— Что — ну и вот? — тупо спросил я. Я обалдел. Все-таки передо мной был один из самых умных и образованных людей, каких я когда-либо знал. Материалист, черт подери. Медик!

— Вот он и ищет себе новую плоть, — пояснил Моисей Наумович. — А это не просто. Тела убитых на войне или погибших при катастрофах сильно повреждены. Переселяться в них — все равно что менять одну драную телогрейку на другую.

А добраться до тех, кто почил более или менее естественной смертью, он не успевает, ибо эти телесные оболочки почти сразу же попадают к прозекторам. Ну и вот.

— Погодите, Моисей Наумович! Ну и вот, ну и вот... Каким образом все это согласуется...

— А я не знаю, каким образом. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Предположим, он принялся изготавливать себе трупы сам. Или ему не обязательно нужен труп, а так... живой, но безумный, скажем. И предположим, что при побеге ему удалось завладеть адским оружием своих мучителей... Бывает же, что преступники при побегах захватывали у охраны пистолеты, автоматы, не знаю, что там еще...

Я взял его за руку и мягко сказал:

— Моисей Наумович, признайтесь, где вы нахватались всей этой несусветной чепухи?

Он отвернулся и высвободил руку.

— Что ж, не буду скрывать. На идею меня навел один фильм. Американский. Фильм ужасов. Хотя в нем все совсем не так... Но это не чепуха, поверьте старику, Алексей Андреевич! Может быть, я сумбурно изложил... не все детали учел... но в главных чертах, в основном я прав, я уверен...

— Да, — сказал я с горечью. — В основном вы

правы, конечно. К принятию такой версии в КГБ, несомненно, не готовы. Другое дело — наши няньки и старушки. Они уж за эту версию ухватятся, да еще подробностей добавят...

— А хотя бы няньки и старушки! — произнес он, гордо задрав свой огромный старый нос. — Глас народа, знаете ли...

Я обнял его за плечи.

— Пойдемте, Моисей Наумович. Вы совсем озябли... А знаете, какое самое уязвимое место в вашей версии?

— Знаю, — сердито пробормотал он. — Она многое не объясняет.

— Это бы еще что! Главное — ее практически нельзя применить. Понимаете, дорогой Моисей Наумович, словить бежавшего из тюрьмы какого-нибудь Фомку Блина наши доблестные органы еще смогут... А вот ущучить беглеца из ада, да еще вооруженного неведомым адским оружием... тут уж, простите, вся наша королевская рать не справится... И насчет гласа народа. Не стоит разбрасывать перлы вашего воображения направо и налево. Не ровен час, еще попадете кому-нибудь не в бровь... Ручаюсь, у нас в палатах, да и в ординаторских, уже разрабатываются подобные версии. А если еще и вы с вашим авторитетом...

— Отстаньте, Алексей Андреевич, — сердито прервал он меня. — Я не ребенок и знаю, где можно, а где нельзя.

— Ну-ну, — сказал я, и мы расстались.

И все же я был заведен, и абсурдная гипотеза Моисея Наумовича, не стыжусь в этом признаться, произвела на меня впечатление. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису, я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг, во время обхода, сообразил, что меня мучит. Да, сказочка моего друга была абсурдна, ни с чем не сообразна, но включала она в себя одно очень точное словечко, и словечко это было — ад. Правда, не в том смысле, в каком употреблял это словечко Моисей Наумович. Но все равно, я интуитивно почувствовал, что именно от ада надлежит разматывать этот кошмар с Кимом Волошиным. Все объясняет ад. И уже к концу обхода я объяснил себе все.

Правда, легче мне не стало. Потому что объяснение мое страдало тем же изъяном, что и версия Моисея Наумовича: оно не могло служить руководством к практическим действиям...

17

Не тушуйся, парень, заряжай женщину и стреляй из нее в белый свет. И она выстрелит пушкой или пушкарем, а они выстрелят своим чередом, тоже пушками и пушкарями, а те в свою очередь, и так оно и пойдет, выстрел за выстрелом, пока белый свет не станет черным, а тогда, глядишь, и передышка наступит. Покой наступит, парень, понимаешь? Черный свет и покой! И чем скорее ты зарядишь свою женщину, а лучше не одну, побольше их зарядишь, тем скорее он наступит, покой.

В тягостных мыслях своих протянул я почти до обеда, а тем временем город забурлил и накалился. Все смешалось в моей больнице. Руки наши наполнились, закипела вода в радиаторе «скорой помощи».

Снова пошли петиции и делегации. Кое-где митинговали. Кое-кто сбивался в дружины. У терминала межгородского автобуса разгромили пивной ларек. Двое раненых. Нужник подрался

с пэтэушниками, и те всласть измочалили его приводными цепями. Возникло несколько пожаров. Трое обгорели, пятеро отравились дымом. С лесов пятиэтажника, возводимого на улице им. писателя Пенькова, сорвался пьяный рабочий. Тяжелые переломы. Десятиклассники школы № 2 попытались обойтись бесчестно с молоденькой учительницей, недавно переведенной к нам из Еревана не по своей воле; оказалось, она владеет каратэ, четверо несостоявшихся насильников были доставлены в больницу с увечьями...

Наш мудрый Главный выразил свое общее мнение, что мораль в нашем городе резко упала, призвал нас собрать все силы и не разменяться на мелочи и укатил в исполком. И молва оказалась тут как тут и уверенно приписала весь этот бардак зловещему колдуну с черным глазом. Я-то всегда считал, что для доведения нашего города до свинского состояния вполне достаточно его собственных, внутренних сил, но теперь-то, в чем я мог быть уверен теперь?

Незадолго до конца рабочего дня в больницу поступили новые сведения. Принес их рыжий долдон с крепко обмороженным носом и изложил санитарке, своей родственнице. Выяснилось, что около пяти вечера к мосту через Большой Овраг,

отделяющий город от Черемушек, приблизилась угрюмая толпа человек в тридцать, вооруженная дрекольем, топорами и даже парой охотничьих ружей. Шла эта толпа разорить проклятое гнездо, разорвать проклятого колдуна в клочья, а заодно похерить его проклятую ведьмачку-жену и проклятый его помет в лице глухонемой уродки. Никто этому смертоносному маршу карателей не препятствовал, только в отдалении опасливо прятались в сумерках двое-трое милиционеров. Должно быть, с намерением засвистеть, когда все будет кончено.

Толпа уже спускалась к мосту, но тут со стороны Черемушек появилась еще одна толпа, числом поболее, до полусотни, тоже вооруженных. Обе толпы, двигаясь навстречу друг другу, сошлись вплотную на середине моста и остановились. Полагаю, все они тряслись от возбуждения, были разгорячены, и пар от них валил, как от запаленных лошадей. Некоторое время длилось молчание, затем из толпы черемушкинцев осведомились, зачем-де пожаловали. Городские изъяснились в своих намерениях и попросили пропустить. Заречные тихо, но решительно объявили, что не пропустят. Городские занялись любезным сердцу делом — принялись

сладострастно и яростно материться. Им внимали — молча и терпеливо. Когда самые отпетые ругатели повыдохлись, черемушкинцы по-прежнему негромко и внятно предложили городским поворачивать оглобли. Все равно никто здесь не пройдет.

Положим, подойдете вы к его дому. И тут он бьет вас всех скопом одним ударом. Забыли, что с собаками на Пугачевке случилось?

В ответ городские очень обидно загоготали и засвистели, и кто-то крикнул, что насчет этих собак никто не знает, правда это или нет. Было, однако, замечено, что несколько городских отделились от своей толпы и зашагали обратно в город.

С той стороны терпеливо напомнили, что, поскольку Ким Волошин является колдуном, никому не дано знать, что он может, а что не может, однако насчет убиенных известно точно...

Тут оказалось, что среди городских затесались и материалисты, и один из них совсем непоследовательно объявил, что никаких колдунов на свете не бывает и потому навести концы Волошину препятствий нет. Теперь загоготали и засвистели черемушкинцы. Карател-ортодоксы немедленно сгрудились вокруг еретика и двух его клакеров, подвергли их укоризне и вытолкнули

из своих рядов, и те, угрожающе сквернословя, поплелись обратно в город.

Между тем совсем смерклось, морозец стал пробирать до костей, на дне оврага густились угрожающие тени. И вообще пар уже ушел в свисток, и ясно стало, что к Черемушкам все одно не пропустят, и хмель повыветрился. А тут еще один из черемушкинцев выступил вперед, высморкался и произнес:

— Разве мы за вас, дураков, распинаемся? По нам, так хрен с вами со всеми, пусть бы вы все головы положили, не жалко. Но ведь он как? А вдруг по злобе и силе своей ударит не только по вам, дуракам, а разом по всему околотку? А у нас ведь здесь семьи, жены, детишки, старики... До ваших домов в городе он, может, и не достанет, а нашим наверняка конец будет. Как же нам вас пропустить, сами подумайте...

И городские разом и молча, словно бы по неслышной команде, развернулись на сто восемьдесят градусов и пошли с моста обратно в город.

Так бесславно (или благополучно?) закончился первый и последний поход ташлинцев на логово колдуна Кима Волошина.

Тем же вечером, когда больница поуспокои-

лась после этого несусветного дня, я позвонил домой Алисе и предупредил, что вернусь поздно. Я очень устал, но желание поделиться своими соображениями с Моисеем Наумовичем распирало меня. Топили в районном пансионате хорошо, и в аскетически чистенькой, скудно обставленной комнатке Моисея Наумовича было приятно-тепло. Старик мне обрадовался и захлопотал насчет чайку. Мы уселись за скрипучий столик, чай дымился в толстых фаянсовых кружках и разложено было по блюдечкам слегка засахарившееся варенье из черной смородины. Я сказал, зачем пришел. Он остренько поглядел на меня, произнес: «Ну-ну?» — и я принялся излагать.

Для начала я признал, что в его мистической версии содержится важное и рациональное зерно. Важное и рациональное потому, что послужило мне отправным пунктом для построения иной, вполне рационалистической гипотезы. Зерно это — представление об аде как причине и движущей силе «феномена Кима Волошина». Но ведь что такое ад? Вот у Киплинга, если, конечно, перевод адекватный: «Мы шли через ад, и поклясться я готов, что нет там ни ведьм, ни жаровен, ни чертей, там только пыль...» Действительно, пусть Моисей Наумович не обижается,

какие там черти и жаровни! Но не только пыль от шагающих сапог, хотя и пыли, конечно, было по макушку. Там еще бросали гранаты в детей и оставляли бедняг выбираться из-под растерзанных трупов родителей. Там еще ввергали за колючую проволоку в беспредельную власть подонков человечества, погрязших в кровавом скотстве. Там еще бегали по крышам ядовитых пустых домов веселые сумасшедшие, распевающие дикие песенки. И много еще чего было в аду, через который прошел живым Ким Сергеевич Волошин...

Да, десятки миллионов сгинули там, и еще сгинут миллионы, а вот Волошин не сгинул. Случайность, очевидно. Очень малая вероятность, не равная, однако, нулю. Волошин не сгинул, а превратился в бомбу, начиненную сумасшедшей ненавистью и паническим ужасом. И не адских слуг он боится, а новых угроз со стороны ада человеческого. И не оснащен он адским оружием, а сам превратился в оружие. И именно это вот обстоятельство сейчас для нас самое главное и самое мучительное.

Я замолчал, собираясь с мыслями. Это обстоятельство, самое главное и самое мучительное, подлежало ведению тех мрачных наук, в которых

плавает не только провинциальный терапевт, но и талантливейший «лекарь мертвых». Думать смутно о таких вещах может и абсолютный профан, а вот излагать эти мысли, да если еще голова гудит от усталости... Словно почувствовав мое состояние, Моисей Наумович пошарил в шкафчике и водрузил на столик бутыль ликера собственного изобретения и производства. Возле бутыли возникли рюмочки, которые старик аккуратно наполнил. «Лыхаим», — произнес он шепотом, и мы выпили. Было вкусно.

— Продолжайте, Алексей Андреевич, — сказал он. — Я вас внимательно слушаю. Очень внимательно.

— Очень трудно, — признался я, и рюмочки были снова немедленно наполнены.

— Да, конечно. — Моисей Наумович сочувственно покивал. — Бомба, начиненная ненавистью и ужасом, — это красиво, конечно, вроде ящика Пандоры, но это ведь только поэзия...

Я выпил и налил себе еще. Я заговорил, тщательно подбирая слова и, надо надеяться, время от времени краснея.

Воздействия адских условий, в которых выпало пребывать Волошину, а точнее — комбинация этих воздействий произвела в его организме

уникальную перемену. Психофизиологическая суть этой перемены нам неизвестна. Зато известны вполне достоверные случаи ее проявления. Обретенный в аду дар позволяет Киму Волошину непонятным образом наносить удары, вызывающие: а) кратковременное выпадение сознания, б) полный или почти полный паралич памяти и, наконец, в) мгновенную смерть, диагностируемую медициной либо как следствие острой коронарной недостаточности, либо рефлекторной остановки кровообращения. (Моисей Наумович приятной улыбкой дал мне понять, что оценил мой сарказм.) Достойно упоминания и то обстоятельство, что в наблюденных нами случаях объектами ударов были лица, вызвавшие у Волошина приступы крайнего раздражения или прямой ненависти. Это, однако, еще не дает нам права утверждать с уверенностью, будто он не способен намечать и поражать жертву и с полным хладнокровием...

Я еще раз (в который уже раз?) хлебнул несравненного ликера, собрался с духом и произнес деревянным голосом небольшое эссе на тему о том, что «феномен Волошина», строго говоря, не является беспрецедентным. Всемирно-исторический опыт дает нам некоторые основания

предположить, что во все века и во всех социумах существовали своего рода злые чародеи, имевшие власть при помощи неких таинственных заклинаний отдавать людям и животным приказ умереть, и люди и животные покорно умирали без признаков каких-либо повреждений. Секреты восточных магий... африканские колдуны... шаманы... Моисей Наумович сказал с мягким укором:

— Простите, что прерываю вас, Алексей Андреевич. Но я хотел бы предупредить вас, что жидкость эта очень, оч-чень коварна...

Я в смущении уставился на опустевшую наполовину бутыль. Но бес разнузданности уже овладевал мною. Я погрозил Моисею Наумовичу пальцем и плеснул себе коварной жидкости уже не в рюмочку, а в чайную кружку. Проглотив залпом и поцокав языком от удовольствия, я проговорил, старательно артикулируя:

— А вот у Лермонтова на такой случай сказано... «Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...» Таким образом, что мы имеем, Моисей Наумович? А имеем мы опять же поэзию. Чудище обло и даже, может быть, стозевно... в пересчете на число жертв, которое оно способно схарчить единовременно.

Собачки на Пугачевке до сих пор, наверное, об этом помнят, на что уж у собачек память ни к черту... Рассказывайте мне об адском оружии! Вот оно, это ваше адское оружие, и никакой мистики... А Ким — он сам себе и беглец из ада, и адский слуга, и адское оружие...

Тут я понял, что иссяк, очень утомлен и что мне пора домой.

По пути, стараясь ступать твердо и уверенно и напевая какую-то легкомысленную чушь, я вдруг заметил, что за мной увязалось несколько собачонок. Они следовали в отдалении, они не лаяли и, конечно же, не норовили ухватить меня за пятки. Они трусили позади совершенно бесшумно, а когда я оборачивался, с жалобным прискуливанием бросались кто куда в лунные тени...

18

По облику был он похож на непроспавшегося мертвеца: жесткие волосы дыбом, бледная с прозеленью физиономия в засохлых пятнах, неподвижные тухлые глаза. Ходил и бормотал: «Не убий, не убий, не прелюбы сотвори...» Юрод.

Дня через два Ким нанес городу ответный визит. Вспоминать об этом тоже не хочется, но тоже надо.

Около полудня он появился на проспекте Изотова в обычном своем оранжевом тулупе до пят и чудовищной своей шнурковой шапке. Облачение это было известно половине ташлинцев хотя бы и по слухам, и наиболее смелые из встречных проходили мимо, уставив взоры прямо перед собой, а малодушные торопились свернуть в переулки или занырнуть в магазины. А направлялся Ким домой в Черемушки, возвращаясь из жалкой нашей районной «Оптики», где он еще месяца три назад заказал очки для своей жены Люси. Заходил он в «Оптику», как впоследствии выяснилось, раз двадцать за это время, да все втуне:

то оправы не было подходящей, то линз, а чаще всего ни того, ни другого. В тот день получился у него с продавцом такой разговор.

— Чтобы завтра очки были, — сказал он.

— Завтра будут, — хмуро, но с готовностью ответствовал продавец.

— Чтобы завтра очки были доставлены мне домой к двенадцати, — сказал он.

— Будут доставлены, — сказал продавец.

Ким указал пальцем на высунувшегося из мастерской парнишку-ученика:

— Вот пусть он доставит.

Парнишка, посинев от ужаса, отчаянно затряс головой. Продавец набычился.

— Я сам доставлю, — сказал он.

Ким безрадостно оскалился.

— Ладно, — проговорил он. — Ты сам и доставишь, старик, коль ног не жаль. И запомни: доставишь вовремя — воля; вынудишь меня снова к тебе тащиться — уже неволя; не выполнишь заказ — смерть.

Продавец побледнел, но ответил с достоинством:

— Вы меня не пугайте, гражданин Волошин. Меня немецкие танки не испугали. Сказал — доставлю, значит, доставлю.

На том они и расстались. Продавец принялся работать с великолепной оправой, предназначенной для старшей дочери начальника милиции, а Ким отправился восвояси.

Кажется, впервые повел он себя столь откровенно и вызывающе, впервые обнажил оружие. Так, с обнаженным оружием, и двинулся по проспекту Изотова. Весть уже распространилась, народу на проспекте стало немного, никому не хотелось попадаться на глаза этому бесу, и маячили отдельные фигуры шагах в двадцати позади него да поспешно расходились фланирующие шагах в тридцати впереди. И надо же было случиться, что к нему прицепился известный возмутитель спокойствия иеговист Панас Черкасенко...

Ким шел обычным своим широким шагом, а коротышка-иеговист вприпрыжку поспевал за ним и визгливо вещал. Что-то об армагеддоне. О каких-то ста сорока четырех тысячах. Об обновленной земле. Ким шел себе, словно ничего не слыша, а потом, не останавливаясь, отрывисто произнес несколько слов. Проповедник подпрыгнул, воздел руки горе, словно бы в крайнем возмущении, снова нагнал Кима и снова принялся вещать. Те, кто наблюдал эту сцену, затаили дыхание, кое-кто остановился, кое-кто

попятился.

И точно. Панаса Черкасенко вдруг повело влево, как пьяного, боком-боком засеменил он на подгибающихся ногах и вывалился на проезжую часть в аккурат под громыхающий на полном ходу самосвал. Злосчастный проповедник даже не вскрикнул, лишь явственно хрустнули его сокрушаемые кости под громадными колесами. Скрежет, визг тормозов, и на проспекте Изотова воцарилась тишина. И тогда жалостливо-испуганный стон извергся из грудей наблюдателей, а Ким, даже не оглянувшись, пошел дальше и вскоре свернул на улицу им. писателя Пенькова, по которой был кратчайший путь к мосту через Большой Овраг...

Но не гибелью свидетеля Иеговы заключился его выход в город. Улица им. писателя Пенькова у нас узкая, а в те времена еще и перекопанная строителями, и прохожие-очевидцы наблюдали то, что произошло, можно сказать, в упор. Со стороны проспекта Изотова донеслись завывания сирены то ли ГАИ, то ли «скорой», когда Ким ступил на бугристую тропинку, протоптанную в снегу вдоль фасада возводимого пятиэтажника, того самого, с которого накануне сверзился пьяный строитель. Ким ступил, прошел, оскользаясь,

несколько шагов и внезапно замер на месте.

Он простоял секунд пять, когда сквозь клетку лесов вылетела из оконного проема на третьем этаже страшенного вида колода — вроде тех, какими пользуются в своем ремесле мясники. Она грянулась на тропинку едва ли не под ноги Киму, подскочила и выкатилась на середину улицы. Ким на миг поднял голову и как будто взглянул в ту сторону, откуда она вылетела, после чего пошел дальше своей дорогой.

Ошеломленные прохожие-очевидцы провожали его взглядами, пока он не скрылся из глаз, и только тогда услыхали жалобные вопли и мольбы о помощи, доносившиеся из недр новостройки. Мнения разделились. Кто-то настаивал на том, чтобы позвать милицию. Кто-то предостерегал от опрометчивых поступков. Кто-то просто ушел от греха. Но нашлись и смелые. Не без трепета вступили в дом и поднялись на третий этаж, где обнаружили трех молодцов в испачканных черных полушубках. Молодцы бродили по комнатам, ощупывая стены грязными ладонями. При этом они громко рыдали, срываясь в истерику, и опухшие мордасы их были измазаны слезами пополам со строительной пылью. Они были насмерть перепуганы: никак не могли найти дверь,

чтобы выйти на улицу...

Здесь необходимо маленькое отступление.

Не знаю, как в других столицах, но в нашем областном Ольденбурге эта разновидность общественных деятелей появилась вскоре после 85-го, причем в количествах, далеко превышающих желательные. Большею частью рекрутируется она из бывших спортсменов и несостоявшихся тренеров по боевым видам спорта. Зимой они щеголяют в черных полушубках, которые называют «романовскими», — это щегольство патриотическое, бросающее вызов заграничным дубленкам. Роятся они возле мебельных магазинов, в железнодорожных пакгаузах и при оптовых складах продовольствия и спиртных напитков. По вечерам любят бывать в престижных ресторанах, где при обычных обстоятельствах ведут себя спокойно и тихо. Пьют немного, закусывают деликатесно, курят только «Мальборо». Столики занимают не самые удобные, но расположенные на стратегических направлениях... Можно, конечно, гадать, кто нанял в Ольденбурге этих оболтусов с микроскопическими мозгами и чугунной совестью, но как медик я утверждаю, что больше не отираться им по мебельным делам, и не сидеть в дорогих ресторанах, и не курить

«Мальборо»...

Часа в четыре пополудни, уже отягощенный всей этой информацией, я заперся в своем кабинете. Мне было худо. Если бы душевное состояние мое проявилось в телесных движениях, я бы трясся, как от сильного озноба. Но мне удавалось сдерживать себя. Мало того, я с неясным удивлением осознал, что не так уж меня поразила гибель проповедника-иеговиста и моментальное низведение сразу трех человек до уровня клинического идиотизма. Нет, всю душу мою затопил вполне эгоистический ужас за себя и за моих близких. Неуловимый, неуязвимый, непостижимый бес открыто расхаживал между людьми, и невозможно было предсказать, кто будет очередной жертвой его. И еще: он учуял опасность за несколько секунд до нападения.

А ведь еще не было известно, что произойдет этой ночью. Мало кто знал, что не трое, а целых семнадцать «черных полушубков» наехало в наш Ташлинск. Как видно, потеря троих не произвела на остальных должного впечатления, и примерно в полночь весь отряд гангстеров двинулся к мосту через Большой Овраг. И там, на середине моста, Ким их стукнул. Надо полагать, не выходя из дому. Но эти четырнадцать отделались легко.

Полежали в снегу, поднялись на трясущиеся ноги и пустились без оглядки обратно. Некоторые слегка поморозились, кто-то потерял шапку... Утром они дружно погрузились в автобус и отбыли к себе в Ольденбург.

19

Козерог. Начнете пожинать плоды своей работы. Это вдохновит вас на новые трудовые подвиги. Вам очень помогут друзья и коллеги. Будьте поласковее с родными и близкими, чтобы не только на работе, но и дома все было в лучшем виде.

А в тот день я сидел в своем кабинете, смотрел, как за окном сгущаются сумерки, с тоской прислушивался к сосанию под ложечкой и никого к своей особе не допускал. Потом позвонил Моисей Наумович и попросил разрешения зайти для важного разговора. Ему я, конечно, открыл, мы уселись у стола и уставились друг на друга.

— Ну что, Моисей Наумович? — спросил я наконец.

— Обыкновенная история, — горько ответил он. — Легкая эпилепсия, выпадение сознания, непослушные ноги выносят беднягу под грузовик.

— Я, собственно, не об этом.

— И я тоже хотел не об этом. Вы обратили внимание, Алексей Андреевич, что он остановился

секунд за пять...

— Да. Обратил.

— Вот и я обратил. И я не понимаю, Алексей Андреевич, чем такая вот странность противоречит моей гипотезе...

— Да я уже и сам не понимаю, — рассеянно отозвался я. Спорить не было сил.

— И все равно, — пробормотал Моисей Наумович. — Все-таки это скотство — наемных убийц подсылать...

Я был изумлен.

— Моисей Наумович, ради бога!..

— Да-да, — торопливо прервал он меня. — Вы правы, конечно.

Мы помолчали.

— Я, собственно... — нерешительно проговорил он. — Собственно, я пришел насчет совсем другого.

— Слушаю со вниманием, Моисей Наумович.

— Собственно, я решил с ним повидаться.

— С кем?

Сердце мое замерло. Я сразу понял — с кем.

— С ним, — как-то растерянно, словно удивляясь себе, произнес Моисей Наумович. — С Волошиным.

— Вы с ума сошли...

— Отчего же? Я ведь в душе против него ничего не держу. Я только за людей опасаюсь.

— И вы намерены... к нему? Прямо к нему домой?

— Да, конечно. Он ведь ко мне не пойдет, правда?

У меня голова шла кругом. Остановить! Удержать!

— А если он антисемит? — ляпнул я.

— Что ж, одним евреем в Ташлинске будет меньше.

— Да вы кокетничаете, Моисей Наумович!

— Какое там мое кокетство, милый Алексей Андреевич! Страшно мне очень, вот вам и кажется. Только что ж? Дедушка старый, ему все равно.

И тогда я собрался. Отчетливо скрежетнула, распрямляясь, моя проржавевшая, согнувшаяся в три погибели воля. И я сказал:

— Хорошо. Только пойдем вдвоем. Вы правы, надо попробовать все точки над этим «ё» поставить.

Последовала сцена. Я дошел до того, что принялся грубить. И я уломал старика. Решили отправиться к бесу в гости вдвоем, завтра же, сразу после работы. Не знаю, как спал в ту ночь Моисей Наумович. А я вряд ли провел ту ночь

намного веселее, чем «черные полушубки» на мосту через Большой Овраг...

Путь был неблизкий, да и шли мы весьма неторопливо, так что вступили в Черемушки, когда уже совсем стемнело. Тихо было в Черемушках, ни голосов не было слышно, ни звонких скрипов снега под ногами прохожих, а собаки здесь словно никогда и не водились. Тишину компенсировал свет. Необычайно, непривычно ярко сияли уличные фонари, ослепительными, жуткими, как выстрелы, вспышками неисправных дневных ламп прерывисто озарялись пустые витрины магазинов, жужжали от напряжения уцелевшие лампочки над подъездами. И никого мы не видели по дороге, только раз я заметил в проулке машину с погашенными фарами и возле нее едва различимую темную фигуру. Мимолетно подумалось, что за домом Волошина наблюдают.

Наконец мы добрались. Вступили в подъезд и стали подниматься по лестнице. Поднимались медленно, через каждые пять-шесть ступенек останавливались, чтобы дать передохнуть Моисею Наумовичу, которого сразу начала мучить одышка. Лицо у него, хоть и с мороза, было серое. И я снова со страхом подумал о всяких возможных и невозможных неожиданностях, которые

сейчас нас поджидали. Мы поднялись на предпоследнюю площадку и остановились.

На площадке третьего этажа стояла объемистая бабища, смотрела на нас сверху вниз и приветливо ухмылялась всем своим блиноподобным ликом. Я догадался, что это тетка Дуся, о которой рассказывала наша Грипа: кто же еще на ночь глядя мог торчать перед дверью квартиры колдуна и беса? И я произнес:

— Добрый вечер, тетя Дуся.

Она ответила, ухмыльнувшись еще шире:

— Добрый вечер, Алексей Андреевич. Добрый вечер, Моисей Наумович. А Ким Сергеевич уже ждут вас, проходите, пожалуйста...

Мы со стариком переглянулись и поспешно отвели глаза друг от друга. Удивляться? Еще чего. Пугаться? Куда уж дальше. Восхищаться? Это бы и можно было, наверное, но у меня, по крайней мере, Ким не вызывал этой счастливой эмоции. Не Кио. Не Мессинг. Бес, губитель, невнятная смертельная угроза. И вообще, если на пороге бесовского логова начинать с удивления, или страха, или тем более с восхищения, то кончать уже нужно будет целованием стоп. Или там копыт. Вон на шабашах, по слухам, беса целуют в задницу. Нет, это не для нас.

— Пошли, — сипло выдохнул Моисей Наумович, и мы без остановок одолели последний пролет.

Тетка Дуся метнулась к двери Волошиных и деликатно надавила кнопку звонка.

— Пусть войдут, — тихо отозвался знакомый голос.

Дверь распахнулась, и мы вошли в прихожую, а тетка Дуся осталась на лестнице.

— Сюда, — приказал Ким.

Обстановку в квартире Волошиных я помню смутно. Чистенько, аккуратно, занавесочки, цветные репродукции в рамочках, под ногами половички... И так же почти не задела моего сознания бледная Люся в домашнем халатике, сидевшая на кровати, и совсем почти не заметил я крошечную девчушку у нее на коленях, обнимавшую мать за шею тонкими белыми руками...

Страшное возбуждение овладело мною. Нетерпение, чтобы все поскорее кончилось. Все внимание мое сошлось на бывшем моем школьном друге Киме Волошине. Господи, когда я в последний раз видел его? — думалось мне. Два, три года? Пять лет назад? Сейчас он казался мне непомерно громадным. Он сидел у стола, зеркально лысый, с черной бархатной повязкой через лицо, в застегнутом доверху фиолетовом

архалуке. Разглядывал нас воспаленным глазом и кривил в неприятной усмешке узкие сухие губы.

— Раздеваться не приглашаю, — сказал он. — Разговор будет короткий. Чаю-водки тоже не предлагаю. По той же причине...

Он повернулся к жене и произнес повелительно-ласково:

— Люся, мне тут с докторами пошептаться надо, так ты возьми Таську и посиди у Дуси, я потом позову.

Она тут же ушла с ребенком, и дверь за нею закрылась. Он помолчал, склонив голову, словно прислушиваясь. Лицо его сморщилось, и он проговорил с ужасным сарказмом:

— Следят. Стерегут. Трясутся, штаны полны, а все стерегут. Ох, боюсь, обижусь, осерчаю... Вы, как возвращаться будете, скажите им, чтобы убирались. Они рядом, за углом... Скажите, срок даю до полуночи. Дольше мне не удержаться.

Я вспомнил машину и темную фигуру в проулке и прохрипел:

— Я им скажу.

— Вот и ладно. Сорок грехов с меня снимешь, все равно что паука раздавлю. Хотя, если подумать, что мне сорок грехов?..

Он поглядел на Моисея Наумовича.

— С тебя разговор начнем, старичок. Полагаешь, значит, что я из ада бежал? Ошибаешься, Мойша, брешешь. Не более я бежал из твоего ада, чем младенец при родах бежит из материнской утробы. Подробнее объяснить не умею, так что понимай как хочешь. Теперь второе твое дело, Мойша. Проникся ты сочувствием к своим ташлинским компатриотам и пришел упросить меня покинуть город и удалиться в иные края... А куда мне удаляться — об этом ты подумал? Хочешь просто пересадить скорпиона со своей шкуры на кого бог пошлет? На хохлов? На прибалтов? На эвенков каких-нибудь? Конечно, лучше бы скорпиона туда, за бугор, так поступают советские люди, ага? Ты ведь правильно понял, Мойша, я везде сам собою останусь, измениться не могу!

Он скрипуче хохотнул и повернулся ко мне.

— Помнишь, Лешка, мы после войны фильм такой смотрели, трофейный, «Мститель из Эльдорадо»? Там один герой, мексиканский атаман, говорит: «Как увижу китайца, удержаться не могу, сразу ему уши отрезаю...» Помнишь?

— Так ты что же — мстишь? — проговорил я.

— Дурак, — ответил он, как мне показалось, разочарованно. — Ничего не понял. Я ему об ушах, а он мне о мести... Ладно, проехали.

Отчаяние овладело мною.

— Погоди, Ким! — закричал я, задыхаясь. — Постой, выслушай меня! Уши там, месть — не об этом же речь! Ким, нельзя же становиться врагом всем людям! Уходи, где тебя не знают, затаись, замри! Горе тебе, если все против тебя ополчатся! Горе и тебе, и людям! Подумай о жене, о дочке... Отрекись от силы, которой ты владеешь! Ты же был славным парнем, Ким... Вспомни о бедной Нине своей, она бы никогда тебе не простила!

Я орал, не помня себя, а его бледное голое лицо наливалось сине-багровой кровью.

— Лешка! — просипел он. — Ты меня лучше не раздражай!

Моисей Наумович испуганно посунулся вперед, словно бы вознамерившись встать между нами.

— Отзынь, Мойша, не замай! — рявкнул Волошин. — А ты, Лешка, придержи язык, худо будет!

— А что? — прошептал я, храбрясь из последних сил. — Что, поступишь со мной, как с собачками на Пугачевке? Или как с Барашкиным? Или как с девочкой соседской? Так угощайся, мой злодей, не стесняйся, мой славный!..

Я уже чувствовал это. Чувствовал приближение гибели. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли красные пятна, противная слабость поползла

от ног по всему телу. И вдруг Моисей Наумович сорвался с места.

— Одну минуточку, одну минуточку! — завопил он пронзительным фальцетом. — Ким Сергеевич! Алексей Андреевич! Ну, погорячились, и будет! Давайте прервемся! Давайте расслабимся! Давайте я вас развлеку немного!

Он сбросил свою шубенку, засунул большие пальцы костлявых рук под мышки и запел, приплясывая:

Авраам, Авраам, дедушек ты наш!

Ицок, Ицок, старушек ты наш!

Иаков, Иаков, отец ты наш!

Хаиме, Хаиме, пастушок ты наш!

Чому ж вы не просите, чому ж вы не просите,

Чому ж вы не просите пана Бога за нас?

Скрипучим старческим фальцетом пел он, потомок местечкового балагулы, эту печально-шуточную песенку, дошедшую до него из далеких времен черты оседлости вместе с варварски переиначенными тайнами каббалы и простодушно-хитрой покорностью судьбе. Я слышал ее

не впервые, несколько раз он под веселую руку пел ее на семейных праздниках в моем доме, но можно было ручаться, что Ким Волошин не слышал раньше ничего подобного. Приоткрыв рот и выпучив налитый глаз, он слушал и смотрел, как пляшет старик, высоко вскидывая ноги в поношенных брючках и старомодных суконных ботах. И я ощутил, как гибель отдалилась и пропала, оставив только струйки холодного пота, стекавшего по щекам моим...

...Чому ж вы не просите пана Бога за нас?

Чтоб наши домы выстроили, нашу землю выкупили,

Нас бы в землю отводили,

В нашу землю нас, в нашу землю нас!

— Все, — проговорил Моисей Наумович запышливым голосом, отступил к своему стулу, сел и подобрал с пола шубейку. — И консерт окончен.

И тогда Ким загоготал. Минут пять гоготал он, раскачиваясь и вытирая рукавом глаз, кашляя и богохульствуя сквозь кашель. Мы молча смотрели на него и тоже утирались. Отгоготавшись, он произнес:

— Силен. Тут ты меня сократил, Мойша, спаси-

бо тебе. Сам догадался? Или интуиция? Ведь еще чуть-чуть...

— Не приведи Господь, — скромно отозвался Моисей Наумович. — Но я рад, что развлек вас, Ким Сергеевич. Всегда к вашим услугам.

Ким поглядел на него исподлобья.

— Больше не потребуется. Ладно, черт с вами, с докторами. Информация в порядке компенсации. Я ухожу. Совсем ухожу из городишки этого поганого. Но имейте в виду и передайте кому интересно: руки у меня теперь длинные. Я могу... — Он судорожно перевел дыхание. — Я далеко теперь могу. Откуда угодно.

Мы молчали. Моисей Наумович натягивал свою шубейку. Бес вдруг растянул безгубый рот неуютной усмешкой.

— А ты, Мойша, силен. Действительно развлек. Я даже пожалел, что Таська не видела. То-то бы повеселилась... убогонькая... Радостей у нее маловато, а подумать если, то и совсем нет. Ну и все, доктора. Аудиенция окончена. Вопросов нет и быть не может. Разрешаю удалиться.

Мы без единого слова двинулись к выходу. Он сказал нам вслед:

— Можете сказать им, сбирам этим, что в «Урале»... гостиница «Урал», знаете?

Моисей Наумович тихонько произнес:

— Знаем. Гостиница «Урал». На площади.

Бес раздраженно махнул рукой.

— Ладно. Сами найдут. Ступайте.

Мы вышли и стали спускаться по лестнице. Я открывал с натугой наружную дверь, когда до нас донесся сверху зычный голос, звавший Люсю домой. И мы пустились в обратный путь.

Не знаю, как Моисей Наумович, а я пребывал в состоянии полной растерянности. Я был угнетен, испытывал чувство облегчения и терзался раздражением оттого, что ничего не прояснилось и ничего нового я не узнал, а только ни за понюх табаку натерпелся страха. Из этого сумеречного состояния вывел меня Моисей Наумович, осведомившийся о моих впечатлениях. Я очнулся. Я обнял старика за костлявые под шубейкой плечи. Я расцеловал его в колючие щеки.

— Моисей Наумович! — вскричал я. — Дорогой вы мой! Вы же мне жизнь спасли!

— Не отрекаюсь, — отозвался он, деликатно высвобождаясь. — Как в классике. «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Что было, то было. Момент действительно был тонкий. Я подумал: пан или пропал. И угодил в десятку. Видите ли, Алексей Андреевич, я еще

раньше подозревал, что спусковой механизм этого самого адского оружия...

Мы медленно шли по пустой, ярко освещенной улице, когда дорогу нам преградил не кто иной, как мой лейтенант С. Был он в ладном белом полушубке, стянутом кожаной сбруей, черная кобура была у него сдвинута к пряжке, раскрыта, и виднелась в ней рукоятка пистолета. Он набежал на нас и, схватив меня за рукав, воскликнул:

— Здравствуйте, доктора! Живы? Целы?

— Почти что, — ответствовал я.

Тут я вспомнил и огляделся. Вправо уходил проулок, там по-прежнему стояла легковушка.

— Я сразу понял, куда вы направляетесь, — продолжал лейтенант. Он так и подпрыгивал от возбуждения. — Хотел было остановить, да смутился, запрос сделал... Снова выбегаю, а вас уже нет. Ну, как там было? Что он? Грозен?

Внезапно я почувствовал страшную усталость. И Моисей Наумович тоже едва держался на ногах. А до дома километров пять.

— Слушайте, лейтенант, — сказал я. — У вас там машина. Отвезите-ка вы нас по домам.

Он растерянно посмотрел на меня, затем на Моисея Наумовича, затем снова на меня.

— Я бы с радостью, Алексей Андреевич, — про-

мямлил он. — Но у меня здесь, видите ли, пост...

— А хоть бы и широкая масленица, — проворчал вдруг Моисей Наумович. — Сколько времени сейчас?

Лейтенант с готовностью заглянул под рукав.

— Половина двенадцатого. А что?

— А то самое, молодой человек, — сказал мой старик. — Если не хотите на мой «скорбный стол», уезжайте отсюда с максимальной скоростью. Он предупредил, что терпеть вас здесь будет только до полуночи.

Лейтенант С. прекрасно знал, что такое «скорбный стол». И он верил в медицину. Он повернулся и бегом бросился в проулок.

— Насчет машины, — сказал Моисей Наумович, глядя ему вслед, — это была прекрасная идея. А то я, признаться, несколько утомился. И зябко мне как-то... Старость — не радость... Ну, а возвращаясь к нашему разговору, позволю себе вам попенять. Вы вели себя неосмотрительно. Это благородно, конечно, — задом амбразуры затыкать... из гордости там или от особенной щепетильности, но, согласитесь...

Я во всем с ним соглашался. Я любил его. У меня слезы выступили на глазах. Я снова обнял его и похлопал от избытка чувств по лопаткам. А тут и

дверца легковушки хлопнула, вспыхнули фары, и машина, выкатив на улицу, остановилась перед нами. Распахнулись дверцы, и молодой радостно-испуганный голос воззвал:

— Садитесь, товарищи доктора!

Пока мы усаживались, лейтенант С. сообщил:

— Приказано всем немедленно возвращаться.

Машина тронулась и с места взяла скорость. Мы покатили вниз, к мосту через Овраг. Я заметил, что откуда-то выползли и устремились следом за нами еще три машины...

Тем и закончился для нас этот жуткий вечер. Конечно, никуда мы с Алисой не отпустили Моисея Наумовича, а напоили огненным чаем с огненной водой и уложили в постель, навалив на него все покрывала и шубы, какие нашлись. Утром он встал здоровым, бодрым и склонным к философическим размышлениям.

20

Большой живот да тощий фаллос —
Вот все, что от него осталось.
И знает пасмурное тело:
Конец развенчивает дело.

Вот и все, пожалуй, что мне известно о ташлинском феномене, как пышно поименовал эту эпопейку покойный майор С. Так или иначе, опрометчивое обязательство свое я выполнил. В меру своих сил, памяти и суждений. Что еще?

Считается, что 29 января 87-го года Ким Волошин бесследно исчез. По-моему, никого это не огорчило. Поскольку ни в одном автобусе его не заметили, надо полагать, что он покинул наш город на попутке. Хотя, может быть, я готов и в это поверить, уплыл на облаке или передвинулся каким-нибудь еще более противоестественным образом. Но, скорее всего, думаю, уехал на попутке.

Как и следовало ожидать, город успокоился далеко не сразу. Довольно долго еще обыватели

жили с опаской, оглядкой и в готовности претерпеть. Масла в огонь подливали кликуши, паникеры и вообще жаждущие популярности, утверждавшие, будто своими глазами видели злокозненного беса вчера, сегодня, неделю назад, причем в самых странных местах: то верхом на трубе райкома («и галушка в зубах»), то проезжающим на персональном лимузине нашего мэра, то даже в женском туалете театра... Словом, все это были чепуховые слухи, и возникали они в течение двух-трех месяцев, пока не смешались неразличимо в одно месиво из летающих тарелок, экстрасенсов, ходоков с кладбища, вурдалаков из скотомогильника и так далее...

Но была информация вполне достоверная.

На другой день после исчезновения Кима Волошина в номере гостиницы «Урал» был обнаружен труп. Человек средних лет с явно семитскими чертами лица, облаченный в отличного покроя костюм. Лежал на полу в нелепой позе, словно смерть накрыла его, когда он заглядывал под диван. При трупе оказался паспорт на имя Ильи Захаровича Гершзона, командировка в Ташлинскую райзаготконтору и обратный билет на авиарейс Ольденбург — Москва. Покойного доставили к нам в прозекторскую. Моисей Наумович

определил время смерти: около двух суток до обнаружения. Причина смерти: острая коронарная недостаточность.

Компетентные люди провели расследование. Выяснилось, что гражданин Гершзон отметил командировку в конторе неделю назад и больше там не появлялся. Что организации, командировавшей гражданина Гершзона, в природе не существует. Что паспорт его хотя и подлинный, но не его паспорт. Еще нашлись свидетели, видевшие гражданина лже-Гершзона дня за четыре до его смерти в Черемушках в компании с пресловутым К. Волошиным. Мы посоветовались с Моисеем Наумовичем и решили с нашей информацией не высовываться. Следствию это бы не помогло, а нервы нам потрепали бы...

Вторая достоверная история касается Люси Волошиной.

Люся со своей глухонемой дочкой осталась жить в памятной нам квартирке. К чести дома, отношение к ней сложилось прекрасное. Возможно, потому, что ее сочли околдованной, обманутой и покинутой. Существовала она очень скромно, но не нуждалась. Ее прямо спросили, и она прямо ответила, что беглый муж оставил ей на прожитье небольшой вклад в сберкассе.

Дом умилился: злыдень, видно, не совсем совесть потерял. И вопрос на этом закрылся. И никто не упрекал соломенную вдову за то, что не работает, а сидит дома с убогим ребенком. Ей даже кое-что подкидывали из продуктов; особенно суетилась вокруг нее тетка Дуся. Да и мы с Моисеем Наумовичем, когда наступила весна, заходили иногда с лакомствами для девочки...

Как вдруг однажды летом нагрянули к Люсе ее несостоявшиеся свекор и свекровь, родители Тасиного отца, убиенного в Афгане. Нагрянули и потребовали себе внучку, а заодно и внучкину жилплощадь. Но тут возникла тетка Дуся, и начался другой разговор. Сбежались на крик соседки и с ходу включились. Под их мощным натиском пожилая пара ретировалась, угрожая прокурором. И вот что случилось тем же вечером. Несостоявшегося свекра хватил тяжелый паралич, а несостоявшаяся свекровь по пути в отхожее место упала и сломала ногу. Узнав об этом, мы только переглянулись. Лицо у Моисея Наумовича посерело и осунулось. Мое, наверное, тоже...

Через неделю Моисей Наумович слег. Я понял, что он умирает. И он понял, что умирает. Я переселил его из районного пансионата к себе, взял отпуск. Сидел рядом с ним все последние дни и

часы. В девять вечера первого июля он сиплым голосом спел: «Авраам, Авраам, дедушек ты наш...» Помолчал и спел: «Чому ж вы не просите пана Бога за нас...» И еще он спел едва слышно: «Нас бы в землю отводили... в нашу землю нас...» И он закрыл глаза и умер. Что-то вроде улыбки было на его иссохшем лице, и вот тогда я подумал, что он был рад уйти из мира, где бесы невозбранно разгуливают среди людей.

А еще через неделю ко мне в больницу пришла Люся Волошина. С Тасей, конечно. Обе аккуратненькие, чистенькие, серьезные.

— Мы попрощаться пришли, Алексей Андреевич, — сказала Люся. — Уезжаем. Совсем.

Я спросил — куда.

— Родственник у нас объявился. Вызвал нас к себе.

— Что ж, счастливо, Люсенька, — сказал я.

Она вдруг оживилась.

— А вы знаете, Алексей Андреевич, Тасенька-то моя слышит уже! И говорить будто начала... Тася, скажи что-нибудь!

Тася пролепетала непонятное, и я выразил восхищение. И они ушли. Конечно, я понял, какой это родственник у них объявился. И хорошо. Лишь бы подальше от нашего Ташлинска...

А время бежит. Вот уже и лето 89-го катится к концу. Никто не вспоминает про Кима Волошина. Сейчас все больше митинги, да еще водочный вопрос нас портит. И то сказать: довлеет дневи злоба его. Вот хоть бы я. В прошлом августе нашего Главного, дурака и труса, прибрали наконец в облздрав. А Главным назначили меня. Теперь в нашей больнице главного дурака и главного труса играю я. Хлопотливая роль, доложу я вам.

Что делать! У меня моя Алиса. У меня моя дочка. У меня умный серьезный зять, тоже врач. У меня мой любимый внук Санька. Надежды маленький оркестрик под управлением любви... Но бродит, бродит где-то по нашей планете этот жуткий бес, порождение земного ада, психобомба непрерывного действия!

А вы знаете, наша сестра-хозяйка Грипа женила-таки на себе Тимофея Басалыгу по прозвищу Нужник. Она лупит его палкой от метлы и ходит получать его зарплату.

На этом заканчиваются записки главного врача Ташлинской больницы А. А. Корнакова, выполненные по настоянию майора милиции С., ныне покойного. Записки эти, несомненно, несут на себе печать известной загадочности, но еще более загадочными представляются обнаруженные при

них приложения, которые произвольно названы здесь тремя эпилогами. Авторство этих эпилогов установить не удалось.

Эпилог первый (фантастический)

Действие происходит в жаркий летний день в Москве на конспиративной квартире. Наличествуют: полковник Титов (КГБ), полковник Плотник (Моссад), полковник Хайтауэр (ЦРУ).

Хайтауэр, изнемогая от жары, полулежит на диване и обмахивается журналом. Плотник сидит напротив него в кресле, водрузив скрещенные ноги на низкий круглый столик. Титов нервно расхаживает по комнате.

Х. (*расслабленным голосом*): Мое мнение — кто нагадил, тому и расхлебывать.

Т. (*раздраженно*): Опять двадцать пять, за рыбу деньги! Мы же не возражаем! Но тогда, полковник, на кой черт вы в Москве?

Х.: Опять двадцать пять. Нам нужна информация! Надо же нам знать, как действовать, если этот ваш бес все-таки вынырнет на Западе...

Т.: Нет у нас такой информации, полковник! Сколько можно долбить одно и то же?

П.: Пока не забрезжит истина, полковник. Он где сейчас?

Т.: В окрестностях Краснодара.

Х.: Это на Енисее?

Т.: В окрестностях Краснодара, я сказал, а не Красноярска!

Х.: Это я уловил. На Енисее?

Титов безнадежно машет рукой.

П.: Краснодар на Кубани. А на Енисее Красноярск. Вы, я вижу, тот еще знаток России, полковник.

Х.: Ага... Кубань... Минуточку!

Он достает из портфеля атлас и принимается листать. Плотник обращает лицо к Титову.

П.: Слушайте сюда, полковник, неужели здесь не найдется пары ботлов холодного пивка?

Т.: Пары... чего?

П.: Пары склянок, если так вам понятнее.

Титов идет к могучему холодильнику в углу, заглядывает в камеры, злобно оскаливается.

Т.: Все вылакали, подлецы... Водка вот есть ледяная. Будете, полковник?

П.: Временно воздержусь, полковник. Водка...

Х.: Минуточку внимания. Вот. Краснодар действительно стоит на Кубани. И что интересно, здесь имеется обширное водохранилище. Сама

собой напрашивается идея. Определить точно местопребывание объекта. Затем десяток ловких ребят... У вас найдется десяток ловких ребят, полковник? Если не найдется, я пришлю своих. Они доберутся до объекта по дну этого озера, спустятся по Ени... э-э... по Кубани и все в два счета обделают.

П.: И к утру теплые воды Кубани вынесут десяток трупов в Черное море.

Т.: Не вынесут. Там плавни. Так и останутся бедняги гнить на плавнях.

Х. (*смущенно, но агрессивно*): Это почему же непременно трупы? Они же приблизятся под водой...

Т.: Засечет, полковник, как пить дать засечет. И тут же ударит. Никто и пикнуть не успеет.

Х.: Но разве психоволны через воду проходят? Радиоволны, например...

П.: Радиоволны и психоволны — две большие разницы, полковник.

Х.: Это что — точная информация?

Т. (*мрачно*): Самая точная.

Х.: Ну вот видите, кое-что все-таки известно...

П.: Методом проб и ошибок, полковник.

Т.: Да уж, на пробы ничего не жалели.

Х.: А договориться с ним никто не пробовал?

Т. (*Плотнику*): Расскажите ему, полковник. Если хотите, конечно.

П.: Отчего же, полковник... Со всем нашим решпектом. Это было еще в Ташлинске. Ну-с, я подпустил к нему одного человечка с самыми широкими полномочиями: деньги, комфорт, политическое убежище... стандартный набор для российского патриота. А за все про все — деликатное порученьице. Не в России даже — в одной мусульманской странишке...

Х.: Еще в Ташлинске... «Белый верблюд», да?

П.: Не в этом дело, полковник. Вы же об договориться интересовались... Ну, поначалу все пошло гладенько, поговорили, объект не отказывается... А через день этот мой человечек отдает концы. Острая коронарная недостаточность. И привет от тети Франи. А объект сидел себе дома в шести километрах. Вот так с ним договариваться.

Т. (*мрачно*): Теперь-то мы знаем, что для него и шесть тысяч не предел.

Х.: Шесть тысяч километров... три тысячи семьсот пятьдесят миль!

П.: Вы считаете, как покойный Архимед, мой Портос.

Х.: Что? Да... (*Титову*) А вы еще уверяете, полковник, что у вас нет никакой информации!

Т.: А вы полагаете, полковник, что такая информация вам поможет?

Х.: Ну, все-таки...

Пауза.

Х.: Одно утешение — в советские руки он тоже не дался.

Пауза.

Х.: А если ударить из космоса?

Т.: Куда ударить? По Краснодару? А если мы в ответ врежем по вашей Филадельфии какой-нибудь?

Х. (*уныло*): Да нет, полковник, вы меня не так поняли... Но послушайте, ведь у него есть жена, ребенок...

П.: Двое детей, полковник. С прошлого года — двое.

Х.: Тем более! Я уверен, всем нам известно, что существует набор определенных приемов...

Т. (*резко*): Это не наши методы, полковник!

П.: И шо вы, начальничек, целку с себя строите? Не ваши методы... Вы же с профессионалами говорите!

Х.: Вот именно. Стыдитесь, полковник!

Т.: Уверяю вас... О чем бишь я? Да! Краснодар!

Х.: Вот-вот. Сами-то вы были на этом Енисее?

П. (*разражаясь хохотом*): На Кубани, полковник! Не на Енисее, не на Рейне, не на Меконге, чтоб я так жил! На Кубани!

Х.: Ладно, на Кубани... Так вы сами-то были на Кубани?

Т.: Не приходилось, полковник.

Х.: Вот и мне не приходилось, полковник. А между тем...

П.: А между тем не пора ли нам... Полковник, вы говорили, что здесь есть ледяная водка.

Т.: И я не соврал, полковник. Уберите-ка со столика ноги, что за манеры...

Он достает из холодильника водку и ставит на столик. Секунду любуется запотевшей бутылкой, затем виновато разводит руками.

Т.: Только придется, видимо, без закуски...

П.: А вот тут, батенька, мы вас и поправим!

Он ставит к себе на колени объемистый дипломат, раскрывает его и выставляет на столик солидную пластмассовую коробку.

Х.: Если уж на то пошло... (*Извлекает из портфеля несколько пакетов в пергаментной бумаге.*) Американцу не к лицу оставаться в долгу.

Т.: Нет слов.

Он идет к буфету и возвращается с рюмками, тарелками и вилками, после чего живо подсаживается к столику.

Т.: Ну-ка, ну-ка, полковник, что у вас там?

Х. (*разворачивая пакеты*): Сандвичи, полковник. Прославленные американские сандвичи. Вот с ветчиной, вот с куриным салатом... а вот и с анчоусами...

Т.: М-м-м! Прелесть. Где вы все это достаете, полковник?

Х.: Секрет фирмы, полковник... (*Плотнику*) А вы чем нас порадуете, полковник?

П. (*снимая крышку с пластмассовой коробки*): У меня скромно, по-домашнему.

Х. (*подозрительно*): Что это?

Титов наклоняется над коробкой, нюхает. На лице его появляется выражение восторга.

Т.: Не может быть! Шкварки? Гусиные шкварки?

П.: Точно, полковник. Самые натуральные грибины. И заметьте, свежие. Гусь еще вчера утром гулял на птицеферме. А уж о мастерстве поварихи...

Х. (*нетерпеливо*): К делу, к делу! Полковник, распорядитесь, будьте любезны.

Титов разливает водку, все поднимают рюмки.

Т.: Ваше здоровье, полковник. Ваше здоровье, полковник.

П.: Лыхаим, полковник! Лыхаим, полковник...

Х.: Гамбэй, полковник. Гамбэй, полковник!..

Т.: Это по-каковски, полковник?

Х.: По-китайски, полковник.

Т.: Тоже красиво. Что ж, содвинем их разом!

Х.: Содвинем!

Все чокаются, выпивают и набрасываются на шкварки.

Х.: Чудесно. Так вы говорите, полковник, у вас здесь есть знакомая птицеферма и знакомая повариха...

П.: Провокатор, чтоб я так жил...

Т.: В таком случае, по второй.

Разливает водку. Все выпивают и принимаются за сандвичи. Хайтауэр вдруг отваливается на спинку дивана.

Х.: Вот странное дело, меня потянуло в дре-

моту...

П.: А я так наоборот, разошелся. Как, если по третьей, полковник?

Титов с готовностью разливает.

Х. (*расслабленным голосом*): Мне не надо, пожалуй. Если не возражаете, я слегка прилягу...

Т.: Сделайте одолжение, полковник...

Хайтауэр умащивается на диване, подложив под голову свой портфель, и почти тотчас же издает заливистый храп. Плотник и Титов с недоумением глядят на него.

П.: Что это его так развезло? С двух-то рюмок...

Т.: От жары, наверное...

П.: Может, и от жары... Ничего, проспится. Послушайте, полковник, вы так мне ничего и не скажете?

Пауза.

Т.: Мне нечего сказать. Я ничего не знаю. Знаю лишь одно.

П.: Выкладывайте.

Т. (*мрачно*): На небе один Бог, на земле один его наместник. Одно солнце озаряет Вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Все, что

непокорно Москве, должно быть... (*Умолкает, словно спохватившись, торопливо опрокидывает свою рюмку и откусывает половину сандвича.*)

П.: Все, что непокорно Москве, должно быть... Понятно. Значит, бес — это ваша работа? Методом проб и ошибок, как говаривала тетя Бася.

Хайтауэр говорит, не открывая глаз.

Х.: О чем вы там шепчетесь?

П.: Я его вербую, а он не поддается, чудак...

Хайтауэр, кряхтя, принимает сидячее положение.

Х.: Нашли где вербовать... Здесь, наверное, в каждой стене по «жучку».

П.: Вы правы, полковник. Моя ошибка. А ну их к бесу, все эти дела. Предлагаю веселиться. Что бы такого... Да вот хоть бы... Сейчас я вам спою и спляшу!

Титов судорожно хохочет.

Х. (*брюзгливо*): Спляшете... В последний раз я видел, как вы плясали, в Эль-Кунтилле. С петлей на шее. И ваши божественные ножки в драных ковровых туфлях дрыгались в футе от земли...

П.: И всегда-то вы все путаете, полковник! На

вешалке там плясал не я, а бедняга Мэдкеп Хью, которого вы...

Т.: Да хватит вам препираться, в самом деле!

П.: Правильно. Хватит, хватит, хватит. К черту дела! Смотрите и слушайте сюда!

Полковник Плотник вскакивает, засовывает большие пальцы рук под мышки и запевает, высоко вскидывая ноги:

Авраам, Авраам, дедушек ты наш!
Ицок, Ицок, старушек ты наш...

Эпилог второй (простодушный)

Внутренний монолог Кима Волошина. Ранним августовским вечером он сидит на берегу речки Бейсуг и предается бесплодным размышлениям о превратностях своей странной судьбы. Солнце клонится к закату, от речки пованивает, комары массами выходят на прием пищи, но ни один не приближается к бесу.

Хорошо было богам. Зевсу, например. Выпил, закусил, трахнул молнией кого надо, грохнул громом где надо и обратно выпивать и закусывать. Даже промашки им с рук сходили. Кормит это Геба отцовского орла и проливает, руки-крюки, громокипящий кубок, как нерадивая лахудра кастрюлю со щами на коммунальной кухне. Ну и ухмыляется — так-де все и было задумано... Ее бы в мои сапоги! А здорово было бы, кабы опрокинула она этот самый кубок папочке Зевсу на бороду! Он бы доченьке показал небо с овчинку...

Да, боги нынче повывелись. И я при всей своей мощи никакой не бог. Бедный разум мой человеческий, не поспевает он за этой мощью. С другой стороны, можно было бы и гордиться. В моем

лице создался невиданный юридический прецедент. Во всем мире (и у богов тоже) принцип какой? Устанавливается преступление, и за него следует наказание. Сто тысяч лет этот принцип действовал, и тут возник я и его перевернул. Я не устанавливаю преступление. Доказательством преступления является моя кара. Казнен — значит, злоумышлял. Лишен разума — значит, преступил. В штаны навалил — значит, намеревался причинить ущерб Киму Волошину...

Но мне от этого радости мало, вообще только душевная смута. Во-первых, злоумышление злоумышлению рознь, а наказания — какие попало. Вон та девчонка Таську по снегу валяла, шалость детская, невинная... И погибла. А эти, что сговаривались меня ракетами ущучить, всего лишь поносом отделались. Правда, больше не сговаривались и, надо полагать, другим сговариваться заказали...

Чу! Ну вот, еще кому-то досталось. И крепко досталось, упокой грешную душу его, Господи... Интересно, за что это я его так? Досадно, что не всегда дано мне это знать. А впрочем, что-то, наверное, вроде инстинкта сохранения разума. Наверное, знай я все, с ума бы сошел от ужаса и злости. Много, много их, и сильны они, и все про-

тив меня... Но я хоть и один, но сильнее их всех, я для них дьявол, источник всех зол... Они сами создали дьявола, а теперь норовят загнать его в преисподнюю. Интересно, хоть это-то они соображают? Нет, по-моему. Просто как эти комары: толкутся вокруг, крови жаждут, а приблизиться не смеют...

Ладно, если хотят жить, пусть научатся вертеться. Пусть привыкают к сосуществованию с дьяволом. Хотят мира — будет им мир, а к войне я готов всегда. И не о них моя забота. Васька, Васенька, Василек мой, сыночек. Так-то все вроде хорошо. Люсенька здорова, Таська уже и слышит, и говорит довольно внятно. Васька розовый и резвый, лихо ползает по комнате, смеется-заливается, когда его к потолку подбрасываешь... И лезть к ним я отучил. Два раза лезли, вспоминать противно. А может, и больше двух раз... Да, пока все вроде хорошо. Но боязно мне, боязно, Ким Сергеевич!

Ведь Васька — моя плоть и кровь. Люся рожать боялась. Что, если перешло к нему от меня все это? Нет, не боязно мне, а страшно. Бесовское отродье. Мать манной кашей пичкает — злоумышление. Тут же удар — и конец. Сестренка на прогулке в лужу не пускает — злоумышление.

Удар — и конец. А удар по матери или по Таське — это моментально мой ответный удар. Мощь моя, как всегда, намного опередит мой бедный разум... Нет, страшно мне, страшно. А может быть, обойдется? Господи, глупо ведь наделять младенца такими силами!

Вот опять. Еще кто-то попался. Летят сегодня, как мошкара на огонь. Знают же, как у меня: напавшего — истреби. И все равно летят...

Точно это вырвалось из безумной души знаменитого японца: неужели никого не найдется, кто бы задушил меня, пока я сплю?

Эпилог третий (стандартный)

Без даты. Без географии.

Машина вынеслась на взгорок, и полковник Титов резко затормозил и выключил двигатель. Впереди, шагах в полутораста, посередине проселка зияла глубокая яма, окаймленная бугристым ободом из застывшей стекловидной массы. Из ямы еще поднимался сероватый пар и несло химической вонью.

— Термофугас?.. — то ли вопросительно, то ли утвердительно проговорил Хайтауэр.

— И все-то вы знаете, полковник, — огрызнулся Титов.

— Еще бы не знать... Вы же его с нашего слизали.

Не сводя глаз с ямы, Хайтауэр выбрался из машины, извлек из заднего кармана плоскую флягу и отхлебнул. Полковник Плотник тоже вылез и остановился рядом.

— Оставьте глоток, полковник, — попросил он.

Хайтауэр, не глядя, сунул флягу в его протянутую руку.

— Все, как будто, — произнес он, вытирая ла-

донью губы.

— Да, бес умер, — отозвался Титов.

— И давно пора, — рассеянно сказал Плотник и тоже вытер губы. Протянул флягу Титову. — Будете, полковник?

Титов помотал головой. Плотник вернул флягу Хайтауэру. Тот, по-прежнему не спуская глаз с ямы, снова приложился.

Изувеченные, наголо ободранные деревца по сторонам ямы курились сизыми и белыми дымками, потрескивало невидимое на солнце пламя. Налетел порыв ветра, и одно из деревьев с шумом рухнуло поперек проселка. Все вздрогнули. Плотник вдруг шагнул в сторону, нагнулся и поднял из травы какую-то черную тряпицу. Тряпица тоже слегка дымилась — неширокая полоска черного бархата.

— Да, — произнес Плотник. — Конец, и Богу слава. И вовремя, вовремя, друзья мои. Мы в этом маленьком дельце уже увязли по самое «не балуйся». А теперь все шито-крыто. И никто не узнает, где могилка его.

Титов оторвал взгляд от ямы и посмотрел на небо. Небо было синее, по нему лениво ползли снежного цвета облачка. Хорошее небо. Отменная погода. И прекрасный пейзаж. Только вот яма

смердит... и откуда вдруг взялось здесь столько ворон? Гляди-ка, десятки, сотни налетели! И еще летят... и не каркают, сволочи, вот что странно... Э, ерунда. Все в порядке. Конец, и Богу слава, хотя я и атеист, кажется...

И тут что-то мигнуло в огромном пространстве. И их не стало. Всех троих. Только валялась в траве полоска черного бархата. Но вскоре и она исчезла.

ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ НИКИТЫ ВОРОНЦОВА

— Это не мысли, — отвечает художник, — это мимолетные настроения. Вы сами видели, как они рождались и как исчезали. Такими мыльными пузырями, как эти настроения, можно только удивлять и забавлять глупых ребятишек, вроде вашей милости.

Д. И. Писарев

Холостяцкий междусобойчик

Так случилось, что дождливым июньским вечером одна тысяча девятьсот семьдесят восьмого года на квартире довольно известного в Отделе культуры ЦК писателя Алексея Т. загремел телефонный звонок. Взявши трубку, Алексей Т. к удовольствию своему обнаружил, что звонит стариннейший его приятель, ныне уже следователь городской прокуратуры Варахасий Щ. Между ними произошел примерно следующий разговор.

После обмена обычными, не очень пристойными приветствиями, восходящими к студенческим временам, Варахасий спросил:

— Твои еще на юге?

— Через неделю возвращаются, — ответил Алексей. — А что?

— А то! Я своих баб тоже в Ялту отправил. Три часа назад. Может, повидаемся? Холостяцкий междусобойчик, ты да я. Тряхнем стариной?

— Прямо сейчас?

— А чего ждать? Случай-то какой!

Алексей Т. оглянулся на распахнутое окно, за которым с низкого от туч неба лило, плескало и рушилось.

— Случай — это, конечно, да, — сказал он. — Только льет же ливмя... И в дому у меня хоть шаром покати, а магазины уже...

— Ни-ни-ни, — закричал Варахасий. — У меня все есть! Гони прямо ко мне! И не боись, не растаешь...

Так они сошлись на кухне в уютной трехкомнатной квартире в Безбожном переулке, и раскрыты были консервы (что-то экзотическое в томате и масле), и парила отварная картошка, и тонкими лепестками нарезана была салями финского происхождения, и выставлены были две бутылки «Пшеничной» с обещанием, что ежели не хватит, то еще кое-что найдется... Что еще надо старым приятелям? Так это в жилу иногда приходится — загнать жен с детишками на лазурные берега, а самим слегка понежиться в асфальтово-крупноблочном раю.

После первой об этом поговорили писатель Алексей Т. с мокрыми волосами и в варахасинском халате на голое тело и следователь Варахасий Щ. в шортах и распахнутой рубашечке, умиленно поглядывая друг на друга через стол под плески и прочие водяные шумы снаружи.

После второй, опустошив наполовину банку чего-то в томате и обмазывая маслом картофелину,

Алексей Т. объявил, что вообще-то большинству людей вполне довлеет девятнадцатый век и даже восемнадцатый, а двадцатый век им непонятен и ужасен, они его просто не приемлют. Проглотив картофелину, он даже высказал предположение, будто бамовцы, что бы там ни говорилось, в сущности, в глубине души движутся теми же побуждениями, что казаки Ермака Тимофеевича и Семена Дежнева.

Хлопнули по третьей, и Варахасий признал, что в какой-то степени готов с этим согласиться. Он предложил взять хотя бы его тещу. Старуха пережила первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, разруху и голод, затем террор, затем Великую Отечественную и так далее. Она принадлежит к поколению, принявшему на себя всю тяжесть чудовищного удара двадцатого века. И конечно же, как ей понимать и как ей не ужасаться? Но с другой стороны...

После четвертой Варахасий предложил проиллюстрировать свою мысль наглядным примером и включил роскошный цветной телевизор, установленный на специальной подставке в углу кухни. По-видимому, давали что-то вроде концерта зарубежной эстрады. Выступали немцы. Дюжина девиц в чрезвычайно сложно устро-

енных бюстгальтерах и в длинных панталонах с кружевами ниже колен размахивала ягодицами вокруг клетчатого молодого человека, распевавшего про любовь. Почему-то вспомнились слащавые фильмы с Марикой Рокк... Ах, это немецкое, неизбывное со времен Бисмарка, нагло-благонамеренное! Вертлявые девицы в панталонах и клетчатые пошляки, а за ними — мрачная харя под глубокой железной каской. Абахт! И выпученные солдатские зенки, как у кота, который гадит на соломенную сечку.

Алексей Т. зарычал от ненависти, и Варахасий торопливо выключил телевизор. Он признал, что этот пример неудачен, и открыл вторую бутылку. Но все равно, упрямо сказал он, много есть людей, которые живут и мыслят категориями двадцатого века, и таких становится все больше с каждым днем, и число их с приближением конца двадцатого века увеличивается по экс... экспо... в общем, в геометрической прогрессии.

(«По экспоненте, — выговорил наконец он, разливая по пятой. — Черт, я совсем нить потерял. О чем бишь мы?»)

Держа перед собой стопку, как свечу, Алексей Т. мрачно провозгласил, что самое омерзительное в мире — это культ силы. Именно поэтому отвра-

тителен оккупант. Шайка хулиганов, напавшая на улице на беззащитного прохожего, — это те же оккупанты. За их погибель! В утешение ему Варахасий сейчас же рассказал, как была ликвидирована хулиганская группа, долгое время бесчинствовавшая в Сокольниках, а Алексей Т., чтобы не ударить лицом в грязь, поведал Варахасию, как одного сотрудника Иностранной комиссии уличили в краже бутылок с банкетного стола.

Неудержимо надвигалась меланхолия, и после шестой Алексей Т. попросил Варахасия спеть. Варахасий отказываться не стал, спеть ему давно уже хотелось. Он сходил в кабинет за старой своей, испытанной семиструнной и сказал, усаживаясь поудобнее:

— Спою тебе новую. Месяц назад в компании один адвокат знакомый ее пел. Очень мне понравилась. Она по-украински, но все почти понятно. Вот послушай...

И он запел негромко низким приятным голосом:

Поспишаймо
Здалека в той край,
Дэ умиють

Вично нас чэкаты...
Дэ б не був ты, дружэ,
Дэ б не був ты, дружэ,
Памъятай, памъятай:
Журавли — и ти лэтять до хаты!

Мы всэ ридшэ
Пышэмо лысты
И витаем
Поспихом из святом.
А лита за намы,
А лита за намы —
Як мосты, як мосты,
По якым нам бильше не ступаты...

Странно хороша была эта песня, и чудилось в ней некое колдовство, но и слух у Варахасия был отменный, и гитара его звенела томительно-вкрадчиво, да и водяные шумы на дворе вроде бы попритихли. Алексей Т. кашлянул и попросил:

— Еще разок, пожалуйста...

Варахасий, усмехаясь, потянулся было к нему с бутылкой, но он помотал головой, накрыл свою стопку ладонью и повторил:

— Еще разок...

И спел Варахасий еще разок, а затем опять взялся за бутылку и взглянул на приятеля вопросительно, но Алексей Т. опять помотал головой и сказал:

— Пока не надо. Давай лучше чайком переложим.

Варахасий отложил гитару и поставил на плиту чайник. У Алексея же Т. стояли в глазах слезы, он хрипловато прокашлялся и произнес сдавленным голосом:

— Как это верно... «А лита за намы — як мосты, по якым нам бильше не ступаты...» И как это грустно, в сущности...

И ощутилось беспощадно, что им уже катит за пятьдесят и не вернуть больше молодой уверенности, будто все лучшее впереди, и пути их давно уже определились до самого конца, и изменить пути эти может не их вольная воля, а разве что мировая катастрофа, а тогда уже конец всем мыслимым путям. Грустно, конечно. Но с другой стороны — было время брать, настало время отдавать...

— Нэ журысь, — ласково сказал Варахасий. — Давай я лучше тебе твою любимую спою.

И спел он любимую и еще одну любимую, и «Кони привередливые» спел и «Подводную лодку», и

спел «По смоленской дороге» и «Ваше благородие, госпожу Разлуку».

Потом они надувались крепчайшим чаем (оба признавали только крепчайший), и Алексей Т. рассказал о своих последних приключениях в отечественной литературе. Это было его сладостно-больное место, его радость и страдание, его боевой конек, и он азартно орал:

— Какого черта? Всякий чиновник-недолитератор будет мне указывать, о чем надо писать, а о чем не надо! Я сам знаю в сто раз больше него, а чувствую, может быть, в миллион... Ну, думаю, погоди, сукин ты сын! И написал в ЦК, в Отдел культуры...

Варахасий слушал, подливая в чашки. Ему было интересно и несколько смешно. Когда Алексей замолчал, отдуваясь, он покачал головой и проговорил, как всегда:

— Да, брат, кипучая у тебя жизнь, ничего не скажешь.

На что Алексей Т., как всегда, проворчал:

— Я бы предпочел, чтобы она была не такой кипучей.

Приятели помолчали. Было уже изрядно за полночь, в доме напротив не светилось ни одно окно. Ливень унялся, и небо как будто очистилось.

Алексей Т. вдруг произнес со спазмой в горле:

— «А лита за намы — як мосты, по якым нам бильше не ступаты».

Варахасий быстро взглянул на него, а он вздохнул прерывисто и промокнул глаза рукавом халата. Тогда Варахасий сказал:

— Слушай, литератор, ты еще спать не хочешь?

Алексей Т. слабо махнул рукой:

— Какое там — спать...

— Ты трезвый?

Алексей Т. прислушался к себе — выпятил губы и слегка свел глаза к переносице.

— По-моему, трезвый, — произнес он наконец. — Но это мы сейчас поправим...

Он потянулся было к водке, но Варахасий его остановил.

— Погоди, — сказал Варахасий Щ., следователь городской прокуратуры. — Это успеется. Сперва я хочу кое-что тебе показать.

Он вышел, ступая неслышно босыми ногами, из кухни и через минуту вернулся с красной конторской папкой. Такие папки были знакомы писателю Алексею Т. — фабрика Восход, ОСТ 81-53-72, арт. 3707р, цена 60 коп., белые тесемки. Алексей Т. встревоженно проговорил:

— Ты что — тоже в писательство ударился? Так это я лучше дома, на свежую голову...

— Не-ет, — отозвался Варахасий, развязывая белые тесемки. — Тут другое, полюбопытнее... Вот, взгляни.

Он извлек из папки и протянул приятелю общую тетрадь в черной клеенчатой обложке весьма неопрятного вида. Алексей Т. принял тетрадь двумя пальцами.

— Это что? — осведомился он.

— Ты погляди, погляди, — сказал Варахасий.

Черная клеенка обложки была покрыта пятнами весьма противного на вид беловатого налета, впрочем, совершенно сухого. Алексей Т. поднес тетрадь к носу и осторожно понюхал. Как он и ожидал, тетрадь пахла. Точнее, попахивала. Черт знает чем, прелью какой-то.

— Да ты не вороти морду-то, — уже с некоторым раздражением сказал Варахасий. — Литератор. Раскрывай и читай с первой страницы.

Алексей Т. вздохнул и раскрыл тетрадь на первой странице. Посередине ее красовалась надпись печатными буквами противного сизого цвета: ДНЕВНИК НИКИТЫ ВОРОНЦОВА. Тетрадь была в клеточку, и буквы были старательно и не очень умело выведены высотой в три клетки

каждая.

Алексей Т. перевернул страницу. Действительно, дневник. «2 января 1937 года. С сегодняшнего дня я снова решил начать дневник и надеюсь больше не бросить...» Чернила блеклые. Возможно, выцветшие. Почерк аккуратный, но неустоявшийся, как у подростка. Писано тонким стальным перышком. Алексей Т. сказал недовольно:

— Слушай, это, конечно, интересно — дневник мальчишки тридцать седьмого года, но не в два же часа ночи!

— Ты читай, читай, — напряженным каким-то голосом произнес Варахасий. — Там всего-то семь страничек...

И Алексей Т. стал читать с видом снисходительной покорности, подувая через губу, однако на третьей уже странице, на середине примерно ее, дуть перестал, задрал правую бровь и взглянул на Варахасия.

— Читай же! — нетерпеливо прикрикнул Варахасий.

На седьмой странице записи, точно, кончились. Алексей Т. полистал дальше. Дальше страницы шли чистые.

— Ну? — спросил Варахасий.

— Не вижу толка, — признался Алексей Т. — Это что — записки сумасшедшего?

— Нет, — сказал Варахасий, усмехаясь. — Никита Воронцов не был сумасшедшим.

— Ага, — сказал Алексей Т. — Тогда я, пожалуй, прочту еще разок.

И он стал читать по второму разу.

Дневник Никиты Воронцова

Запись, вероятно, пером «рондо», повернутым слегка влево, почерк аккуратный, но неустоявшийся, подросточий, чернила порыжели:

«2 января 1937 года. С сегодняшнего дня я снова решил начать дневник и надеюсь больше не бросить. С утра Серафима и Федя взяли Светку и уехали куда-то к Фединым родственникам. Я вызвал своего лучшего друга Микаэла Хачатряна, и мы играли сначала в «Бой батальонов». Потом пошли гулять, играли в снежки. Микаэл неосторожно попал мне в лицо и чуть не разбил мне очки. Гуляли до обеда, потом пошли к Микаэлу и пообедали. После обеда заперлись у него в комнате и спорили о девочках. Микаэл сказал, что останется всегда верен Сильве Стремберг, а я признался ему, что влюбился теперь в Катю Михановскую. Микаэл сказал, что мало ли что, Катя ему тоже нравится, потому что она белокурая и красивая, но он все равно будет любить Сильву, что бы

с нею ни случилось, а иначе получается предательство. Мы поругались, и я ушел домой. Сейчас я один дома и начал вести дневник. Впредь обязательно надо вести дневник.

3 января 1937 года. Вчера наши вернулись поздно, Федя был сильно выпивши, Серафима ругалась, а Светка хныкала и спала на ходу. Утром Серафима с Федей ушли на работу, а я до десяти часов валялся в кровати и читал «Крышу мира». Здорово написано. Я бы и дальше читал, но проснулась Светка и заныла, что хочет есть. Мы встали, позавтракали, и она ушла к подружкам. Я еще почитал немного, но потом мне стало скучновато, и вдруг пришел Микаэл. Он сказал, что вчера погорячился. Короче, мы помирились. Честно признаться, я очень люблю Микаэла. Он мой лучший друг. Мы пошли гулять и договорились, что запишемся в секцию бокса, но никому об этом не скажем, а в один прекрасный день встретим Мурзу с его фашистами, и пусть над ними смилуется бог! После обеда растопил печку и рассказывал Светке страшные ис-

тории. Свет я нарочно не включал. Очень смешно, как она боится, а все равно просит, чтобы дальше рассказывал.

4 января 1937 года. Утром хотел опять поваляться и почитать, но Светка поднялась в восемь часов, будто и не каникулы вовсе. Пришлось вставать и кормить ее. В сердцах дал ей подзатыльник. Сколько раз зарекался!

Она ведь не ревет, только губы выпятит и смотрит на тебя круглыми глазами. Я этого не могу перенести. Пришлось рассказать ей сказку, да еще взять с собой гулять, а после гуляния взять с собой к Микаэлу. Что тут было! Сусанна Амовна, мама Микаэла, как закудахтала над нею, как принялась ее причесывать, оглаживать, пичкать разными вкусными вещами, хоть святых выноси. Впрочем, нам же было лучше. Удалось и в шахматы сразиться, и разобраться в наборе «Химик-любитель», который вчера купил Микаэлу отец. Завтра будем делать опыты».

Запись, вероятно, тем же пером «рондо», но без поворота, твердые печатные буквы, те же

порыжелые чернила:

«проба проба проба»

«никак мне не мрется»

«кого вверх, кого вниз, а меня опять назад, начинай все сначала»

«Я умру 8 (восьмого) июня 1977 (семьдесят седьмого) года в 23 часа 15 минут по московскому времени».

Запись тем же пером, торопливая скоропись с брызганьем и царапаньем бумаги, те же рыжие чернила:

«Сашка Шкрябун (лето 41, с родителями в Киев, без вести)»

«Борис Валкевич»

«Сара Иосифовна»

«Костя Шерстобитов (ранен на Друти, июнь 44; женился на Любаше из Медведкова, осень 47)»

«Гришка-Кабанчик, сапер»

«мл. л-т Сиротин»

«серж. Писюн»

«Громобоев, трус»

«с бородавкой на веке, руч. пул. (+ под Болычовом)»

«Фома, запасливый, с полным сидором»

«санинструктор Марьяна (+ на Рузе под Ивановом)»

«комбат Череда (+ у Ядромина?)»

«чистюля наводчик (Ильчин? Ильмин? Илькин?)»

«Капитонов (в 55 начальником цеха)»

«Стеша (умрет сын, самоубийство, проследить)»

«Бельский, бездымная технология, патент (несколько формул, наспех набросанный чертеж)»

«Тосович, каратэ»

«Верочка Корнеева, она же Воронцова, она же Нэко-тян»

Снова твердые печатные буквы теми же порыжелыми чернилами:

«Бесполезно. Память».

«Я воскресну 6 (шестого) января 1937 (тридцать седьмого) года в ночь на седьмое в постели. Внимание! Не суетиться! Лежа неподвижно, досчитать до ста, затем перевернуться на живот, свесить голову через край кровати, разинуть рот

и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, высуня язык».

«Светкина кровать по левую руку, Федя с Серафимой через коридор».

Запись тупым карандашом, огромные буквы вкривь и вкось, едва разборчиво:

«Новый год, Новый год»

«Интересно, Гурченко уже родилась?»

«Черные косы, задумчивый взгляд»

«Сексуально-алкоголические эксцессы в пятнадцать лет»

«Ах, какой ты! Ой, что ты! Ой, куда ты! Ой, зачем ты! Ай! Ох!»

«Воронцов! Прекрати болтовню!»

«Три пятнадцать, шесть двенадцать, и Светке на эскимо».

«Ай-яй-яй, Галина Родионовна!»

«Неточность. В прошлый раз было: если можно, я у вас еще немного посижу, Галина... А нынче прямо: ты как хочешь, а я у тебя останусь. Впрочем, и тогда остался, и нынче остался. И в позапрошлый раз, кажется, тоже. Сходимость вариантов».

«А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу!»

«Ай-яй-яй, Галина Родионовна!»

Запись отличными черными чернилами, явно авторучка:

«21 августа 1941 года. Дневник прячу в обычное место до 46-го».

«На Западном фронте опять без перемен».

«Да помилуй же меня хоть на этот раз! Что за охота тебе так со мной играться!»

Запись скверным стальным перышком, скверные лиловые чернила:

«9 апреля 1946 года. Осталась еще целая жизнь, 31 год. Поживем!»

«Гришу-Кабанчика, сапера, раздавило танком под Истрой. И семья его вся погибла, отдавать медальон некому».

«Федя, как всегда, убит в 42-м при отступлении от Харькова. Серафима высохла, одни мощи остались. А Светка вымахала в красивейшую кобылу».

Умертвие на проспекте Грановского

Алексей Т. закрыл тетрадь и осторожно положил ее на край стола.

— Странная манера, — рассудительно произнес он. — Что это может значить — «убит, как всегда»? Слушай, это не мистификация?

— Нет, — ответил Варахасий. — А тебя только это удивляет?

— Н-нет, конечно... Слушай, ты уверен, что это не мистификация?

— Уверен. К сожалению, уверен.

— Почему же — к сожалению? — удивился Алексей Т.

— А потому, дорогой, что я не литератор, а следователь прокуратуры, и я не люблю в жизни неразрешимых задачек.

Приятели помолчали. За окном сделалось совсем светло, небо очистилось над домом напротив и стало бледно-голубым. И тихо было, тихо отчетливой тишиной июньской белой ночи.

— Ладно, — сказал Алексей Т. — Ты своего добился. Ты меня поразил. Можешь быть доволен. Теперь, если позволишь, по порядку. Можно вопросы?

— Изволь, — сказал следователь городской прокуратуры Варахасий Щ. — Любые. Даже такие, на которые мне не ответить.

Невооруженным взглядом было видно, что он доволен. Алексей Т. собрался с мыслями.

— Так, — произнес он. — Во-первых. Кто такой этот Никита Воронцов? Или нет, расскажи сначала, как эта тетрадочка попала в прокуратуру. Так будет интереснее.

— Изволь, — согласился Варахасий и рассказал.

Поздно вечером восьмого июня прошлого года на проспекте Грановского произошло убийство. Свидетели, пенсионерка имярек и пожилой артист имярек же, прогуливавшие собак неподалеку, описали это происшествие так. На тротуаре под окнами одной из шестнадцатиэтажных громадин пятеро великовозрастных молодых людей возились с мотоциклом. Мотоцикл ревел ужасно, и уже в окна стали высовываться и возмущенно кричать полуголые граждане и гражданки, и уже свидетели, по их словам, совсем собрались было подойти к этим молодым людям и попенять им за нарушение тишины и спокойствия, как вдруг к мотоциклетной компании подошел откуда-то пожилой мужчина в белом полотняном костюме

и с тростью и что-то сказал. Наверное, по поводу шума, который производила компания. Сейчас же все пятеро великовозрастных молодых людей угрожающе сомкнулись вокруг пожилого человека. Как там у них шло толковище — свидетели не слышали, грохот мотоцикла все заглушал. Они увидели только, как пожилой человек упер трость в грудь одного из молодых людей, особенно напиравшего на него, последовал обмен неслышными репликами, после чего пожилой человек опустил трость, а молодой человек развернулся и с большой силой толкнул его кулаком в лицо. Тут, как нарочно, мотоцикл замолк. Опрокинутый толчком пожилой человек прямо, как палка, упал навзничь, и в наступившей тишине было отчетливо слышно, как его голова с треском ударилась о край тротуара. На этом, собственно, все и кончилось. Великовозрастные мерзавцы постояли с полминуты в нерешительности, а затем, убедившись, что жертва их не двигается, без слов кинулись врассыпную, за исключением одного, который замешкался у злосчастного мотоцикла. Через минуту бешено терзаемый мотоцикл завелся, и оставшийся тоже умчался прочь. Только тогда остолбеневшие от неожиданности и ужаса свидетели одновременно подбежали к пожилому

человеку. Он лежал на асфальте вытянувшись, раскинув руки, с широко раскрытыми глазами. Он был мертв. И только тогда подслеповатая пенсионерка опознала в убитом соседа по подъезду, жившего в двухкомнатной квартире на шестнадцатом этаже.

— Это был... он? — полуутвердительно произнес Алексей Т., постучав пальцами по дневнику.

— Да, это и был Никита Сергеевич Воронцов, — сказал Варахасий. — Любопытная подробность, курьез, если хочешь. Свидетельница показала, что ее собака, королевский пудель Кинг, за несколько минут до происшествия скулила и рвалась на поводке, тянула хозяйку к месту будущей трагедии. А свидетель, напротив, вспомнил, что его собака, беспородная дворняга Агат, точно так же тянула хозяина прочь. Но это, конечно, к делу не относится.

— Мерзавцы, — проговорил жаждущий возмездия Алексей Т. — Но их хоть поймали?

— В ту же ночь, — охотно ответил Варахасий. — И они тут же раскололись. Все-таки не закоренелые преступники, а так, скверно воспитанные болваны... Может быть, тебя еще что-нибудь интересует?

— Прости, пожалуйста, — спохватился Алексей

Т. — Продолжай.

— Ну-с, вот, — продолжал Варахасий. — Дело это дали мне, я тогда еще работал в том районе...

Дело представлялось ясным, как стеклышко. Показания свидетелей и смертельно перепуганных дружков обвиняемого полностью совпадали с показаниями самого обвиняемого, размазывавшего огромным кулаком сопли и слезы по перекошенной от горя и ужаса небритой морде. Неосторожное убийство, статья 106 УК РСФСР, до трех лет лагерей или до двух лет исправработ. Оставалось выполнить некоторые формальности.

Поскольку убитый жил один, Варахасий, как положено, прежде всего произвел осмотр его квартиры на предмет описи вещей, обстановки и прочего. При осмотре, между прочим, обнаружилось кое-что, убитому явно не принадлежащее: в прихожей — женские туфельки и тапочки тридцать четвертого размера; в ванной — кокетливый женский халатик на крючке, духи, лосьоны и разная женская дребедень на подзеркальной полке; в спальне — пара женских ночных сорочек. Но самое важное — в одном из запертых на ключ ящиков письменного стола, погребенный под пластами удостоверений, дипломов, свиде-

тельств, орденских книжек и прочих важных документов, оказался вот этот самый дневник в наглухо заклеенном конверте из плотной бумаги. Там же, у стола, Варахасий бегло проглядел, а затем дважды внимательно прочел содержимое этой припахивающей плесенью тетрадки, снова уложил ее в конверт и сунул к себе в портфель.

Он опечатал квартиру и вернулся к себе в районную прокуратуру. На столе у него уже лежало заключение медэкспертизы. Варахасий прочел и охнул. Ясное, как стеклышко, дело замутилось. Упав от сильного толчка в лицо, Никита Сергеевич Воронцов действительно ударился затылком о край тротуара и проломил себе череп, и это действительно могло послужить причиной мгновенной смерти, если бы не одно обстоятельство. А именно: даже толчок в лицо (в правую скулу, великовозрастный болван был левшой), не говоря уже об ударе головой о бетонную закраину, имел место по крайней мере через пять-шесть секунд после наступления клинической смерти Воронцова. Великовозрастный болван ударил уже мертвого.

— Как же так? — пораженно проговорил Алексей Т. — Если я правильно тебя понял, Воронцов же стоял...

— Ну и что же, что стоял? Умер, но не успел упасть. Такое ли еще бывает! Не в этом дело...

— А отчего он умер?

— Не помню, — нетерпеливо сказал Варахасий. — В заключении было сказано, но я уже забыл... Что-то вроде острой сердечной спазмы. Не в этом дело, я тебе говорю.

— Да-да, прости. Продолжай, пожалуйста.

— Продолжаю. Ты представляешь себе мое положение?

— Очень даже представляю. Одно дело — если человека сбили с ног, он упал и убился. И совсем другое дело — если ударили мертвеца. Тоже, конечно, некрасиво, но есть ли это преступление? Так?

Варахасий хохотнул.

— Приблизительно, — сказал он. — Короче говоря, мне предстояла неинтереснейшая и зануднейшая писанина. За нее я и взялся, не теряя ни секунды драгоценного времени. И вот, когда я дошел до кругленького такого периода... м-м... «Сопоставляя показания свидетелей и заключение медэкспертизы, можно достаточно уверенно утверждать, что клиническая смерть наступила в 23 часа 15 минут...»

— Постой-постой! — вскричал Алексей Т. и

схватил со стола тетрадь. — Когда, ты говоришь, это произошло?

— Восьмого июня прошлого года, одна тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, — ответил, ухмыляясь, Варахасий.

Алексей Т. отыскал в тетради нужную страницу и прочел вслух спертым голосом:

— «Я умру восьмого июня тысяча девятьсот семьдесят седьмого года в двадцать три часа пятнадцать минут по московскому времени».

— Вот и я тогда точно так же схватился за эту самую тетрадь, — произнес Варахасий. — Небезынтересно, правда?

— Еще бы! Ну а дальше что?

— Дальше... Что ж, я — служака хороший, у меня от начальника секретов нет. Показал я эту тетрадочку на пробу прокурору. Все было, как я и ожидал: «Подделка, умалишенный, случайное совпадение, не морочь мне голову, что у тебя, дел других нет?» И я решил попытаться размотать эту загадку на свой страх и риск. В частном, так сказать, порядке, но с сугубым использованием служебного положения.

— Правильно! — восторженно выдохнул Алексей Т.

— Правильно или неправильно — не знаю.

Но было, было у меня такое ощущение, словно бы открывается дельце это в такую бездну, куда еще ни один человеческий глаз не заглядывал. А начал я, сам понимаешь, с биографии покойного.

Биография Никиты Сергеевича Воронцова

Никита Сергеевич Воронцов родился в Москве в тысяча девятьсот двадцать третьем году. Родители его умерли, когда ему было три года, и он остался на руках у старшей сестры (по первому браку отца) Серафимы, которой исполнилось тогда двадцать лет, работницы завода «Серп и молот» (бывший завод Гужона). И добрая, видно, девушка была эта Серафима: хотя трехлетний пацан здорово осложнял ее жизнь, она его не сбыла в приют, а отдала в ясли, а потом, когда подрос, в очаг при заводе.

Год спустя Серафима вышла замуж за Федора Кривоносова, работавшего в одном с нею цехе, а еще три года спустя у них родилась дочка Светлана. Судя по всему, Никита племянницу любил, и с Федором у него тоже были отличные от-

ношения.

Семейство занимало две комнаты в огромном кирпичном доме на Андроньевской, в коммунальной квартире невероятных по нашему времени размеров. Там до сих пор еще проживают двое стариков, которые помнят и Серафиму с Федором, и Никиту, и Светлану, однако выяснить у них о Никите что-либо определенное не удалось: слишком все перемешалось в их бедной памяти за прошедшие бурные годы.

В сороковом году Никита окончил десятилетку, но хотя учился прекрасно и едва только не натянул на «золотой аттестат», учиться дальше не пожелал, а поступил он на славный завод «Серп и молот», под начало к Феде, который к тому времени сделался уже мастером.

Тут и война разразилась.

Никита сразу же пошел добровольцем. Воевал он, видимо, прекрасно, себя не жалел: два ранения, контузия, орден Славы, три Красные Звезды, две медали «За отвагу». Кончил войну в Мукдене...

(— Где-где? — переспросил Алексей Т.
— Ну, в Шэньяне, — объяснил Варахасий Щ.
— Где это?
— Да в Китае же! В Маньчжурии!
— А-а-а... Да-да, конечно. Прости...)

В середине сорок шестого года Никита демобилизовался и вернулся на родную Андроньевскую. Дела там были плохи. Федор был убит. Серафима держала у себя какого-то хмыря-майора из военной комендатуры и изрядно попивала. Светлана связалась с шайкой то ли воров, то ли бандитов.

Никита, не тратя времени даром, первым делом снова поступил на завод в свой старый цех, быстро там освоился, затем осмотрелся в семье и молча ринулся в бой. Сначала он жестоко избил хмыря-майора, помыкавшего Серафимой, как служанкой. Могли быть изрядные неприятности, но майор был семейным и партийным и дело замял. Вскоре он, сославшись на распоряжение начальства, вернулся на казарменное положение, а потом и вовсе слинял начисто. И горь-

ко же, должно быть, попрекала Никиту несчастная Серафима!

Впрочем, может быть, и не так уж горько, потому что Никита вплотную занялся племянницей. И удалось ему управиться с племянницей, отлучить ее от опасных дружков и всякими правдами и неправдами устроить на завод учетчицей — школу-то она бросила еще в сорок четвертом, едва-едва вытянув семилетку.

Но все это подробности, может быть, пока и излишние.

В сорок седьмом году Никита поступил на вечерний в Московский институт стали и сплавов, в пятьдесят втором закончил и был назначен в свой цех сменным инженером.

В пятьдесят пятом году умерла от инфаркта Серафима. Через год Светлана вышла замуж и завербовалась на Север. Никита Воронцов остался один. Здесь уместно будет сказать, что он как был, так и остался до конца дней своих холостяком. Судя по некоторым данным, не по вине женщин.

А еще через год он перевелся с «Серпа

и молота» в один из номерных институтов. В семьдесят втором году он получил квартиру на проспекте Грановского и покинул старое гнездо на Андроньевской.

Поздно вечером 8 июня 1977 года он умер. В возрасте пятидесяти четырех лет.

— И все? — несколько разочарованно спросил Алексей Т.

— Все, если не считать подробностей, — ответил Варахасий. — Хочешь взглянуть на него?

— Хочу, конечно...

Варахасий вынул из красной папки и протянул приятелю фотографию. Это была стандартная фотокарточка шесть на девять. Обыкновенное, ничем, пожалуй, не примечательное лицо пожилого мужчины. Залысый лоб, редеющие волосы, зачесанные аккуратно назад. Несколько запавшие глаза, полуприкрытые набрякшими веками. Резкие складки по сторонам сухого, плотно сжатого рта. Гладко выбрит. Что еще? Уши слегка оттопырены. Серый пиджак поверх черного глухого свитера. Положительно, обыкновенный человек...

— Жаль, глаз почти не видно, — произнес Алексей Т., возвращая фотографию.

— Ага, — откликнулся Варахасий. — Вот-вот. Именно что жаль...

— А что?

— Как выразилась одна дама, глаза у Никиты Сергеевича были страшные, мудрые и тоскливые. И другие люди, кто его знал, утверждают в один голос, что взгляд у него был странный... Правда, хоть и в один голос, но в разных выражениях.

— Так, — сказал Алексей Т. — Понятно. А теперь валяй все подробности.

Уже рассвело, небо стало пронзительно-синим, и на верхние этажи дома напротив пали розовые отсветы восходящего солнца.

Подробности о Никите Воронцове

— Как я тебе уже доложил, — сказал Варахасий Щ., — я решил попытаться разгадать эту загадку и принялся за дело по всем правилам нашего искусства. Я побывал в военкомате, на заводе «Серп и молот», в номерном этом институте, изучил его биографию, можно сказать, доскональнейшим образом, и представь себе, не оказалось в ней решительно ничего, что бы пролило хоть какой-то свет на странности в дневнике. То есть он действительно выступил со своей частью на фронт в конце августа сорок первого, действительно воевал к западу от Москвы, а через три года переправлялся через Друть... и пять лет назад вместе с неким Бельским получил авторское свидетельство на какую-то там бездымную технологию... Но к разгадке это меня не приблизило ни на шаг.

Что ж, бывает. Приспело время заняться ближайшим окружением нашего героя, друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Выяснением подробностей его частной и даже интимной жизни. Как честный человек, признаю, что, строго говоря, я не имел на это права, но мертвым не больно, а остановиться я уже не

мог. Чуял, чуял я, что за загадочкой этой кроется что-то грандиозное, чуть ли не глобальное... Впрочем, сам увидишь и будешь судить.

Я опросил около двадцати человек. Большинство из них ничего интересного не сообщили. Хороший был мужик, компанейский парень, специалист отличный, такой милый, добрый мужчина... все в таком духе. Умел и любил выпить; анекдоты рассказывал — обхохочешься; нередко перед начальством держал мазу за обиженных; такого-то чуть ли не из-под суда вытащил; такому-то чуть ли не из самого ВЦСПС путевку в спецсанаторий для ребенка выбил... ничего не боялся... ничего для себя не требовал... хорошему своему приятелю публично оплеуху влепил за хамство старухе технологу... Ну, коекого потискивал, не без этого... Словом, ангел, и именно во плоти. Вышел я, кстати, и на некоего Бобкова, в прошлом инструктора-самбиста, а ныне пьяницу с оскорбленно-брезгливой физиономией. Никита Сергеевич занимался у него в середине пятидесятых и был у него лучшим учеником. Как Бобков выразился, «с ним, с Никитой, хоть бы и навоз есть, все прямо изо рта выхватывал, такой был парень».

И лишь пять человек дали мне поистине

ценные сведения — впрочем, увы, только усугубившие загадку. Если, конечно, по-прежнему относиться к ней с точки зрения здравого прокурорского смысла. Вот эти люди.

(Варахасий извлек из своей красной папки несколько листков бумаги, скрепленных могучей канцелярской скрепкой.)

Вера Фоминична Самохина, в девичестве Корнеева, 46 лет, химик-технолог, сослуживица Воронцова по номерному институту, познакомилась с ним в пятьдесят восьмом году.

Валентина Мирленовна Самохина, дочь Веры Самохиной, 24 года, работник Патентной библиотеки, познакомилась с Воронцовым в семьдесят четвертом году и стала его любовницей.

Светлана Федоровна Паникеева, в девичестве Кривоносова, 47 лет, домашняя хозяйка, племянница Воронцова.

Микаэл Грикорович Хачатрян, 54 года, капитан 1-го ранга в отставке, школьный друг Воронцова.

И наконец, Константин Пантелеевич Шерстобитов, 55 лет, рабочий Мытищинского машиностроительного завода, фронтовой друг Воронцова, познакомился с ним в сорок втором году в запасном полку.

Ну-с, так вот. Все беседы я вел под магнитофон

и после, конечно, за ненадобностью стирал, но записи бесед с этой пятеркой сохранил, даже сделал извлечения из них, — то, что показалось мне наиболее интересным. Крутить записи подряд займет слишком много времени, так что давай-ка я прочитаю тебе извлечения, а где нужно — прокомментирую. Согласен?

(Алексей Т. торопливо закивал, показывая, что да, он согласен, налил в стопки водку, опрокинул свою и запил остывшим чаем, после чего произнес севшим голосом:

— Давай читай...)

— Ладненько, — произнес Варахасий, тоже опрокинул свою и тоже запил остывшим чаем. — Будем читать. Начнем с Веры Фоминичны Самохиной. Меня прямо-таки вытолкнула на нее та запись в дневнике, помнишь? «Верочка Корнеева, она же Воронцова, она же Нэко-тян»... Читаю:

> «— Познакомились мы на какой-то вечеринке. Не помню уже сейчас, то ли чей-то день рождения был, то ли праздник какой-то... Шутка сказать, четверть века прошло! Зато как сейчас помню, что он сидел за столом почти напротив и смотрел на меня не отрываясь. Это я

краем глаза видела, что он смотрит не отрываясь, а как на него взгляну, он уже и глаза успел опустить... Ну, мне было тогда двадцать шесть, что ли, мужики меня вниманием не обходили, но все равно было лестно... Не в том суть. Потом, когда стол отодвинули и стали танцевать, он меня пригласил, и вот тут я впервые взглянула ему прямо в глаза. Меня словно током ударило... Нет-нет, не подумайте, ничего такого женско-мужского. У него глаза были какие-то такие... страшные, мудрые будто и тоскливые, что ли... То есть глаза-то у него были обыкновенные, серо-зеленые, но так он глядел... Я сразу решила: нет, это рыцарь не моего романа. Вообще-то он был весел, говорил интересно, острил довольно удачно, а кое-кто прямо на шею ему вешался... Впрочем, в глаза мы больше друг другу не заглядывали.

— Ваш муж тоже был на этой вечеринке?

— Н-нет... Нет-нет, он с Валькой остался, она тогда совсем малышка была, годика три... или четыре... Так вот что самое

странное тогда случилось. Я устала, да и опьянела сильно, и присела отдохнуть на диван. И сейчас же ко мне подсел Воронцов. Сел рядом, как сейчас помню, руки на коленях сложил и негромко говорит мне, на меня не глядя: «Вы не беспокойтесь, Вера Фоминична, с гландами у вас все обойдется благополучно». Я так глаза и вытаращила. С гландами у меня действительно с самого детства было не в порядке, последние годы я все собиралась оперироваться, да не решалась, но ему-то откуда про это знать? Я его спрашиваю: «Откуда вы знаете про мои гланды?» Вот тут он ко мне наклонился и говорит чуть ли не шепотом: «Я о вас, Вера Фоминична, еще и не то знаю. Например, что есть у вас очаровательная родинка на...» И называет, простите, местечко на теле, которое и родному мужу не часто показываешь. Я обмерла, рот разинула, не знаю, то ли пощечину ему дать, то ли еще что, а он встал и ушел. Совсем ушел с вечеринки...

— Но родинка есть?

— В том-то и дело, что есть... И на том самом месте!

— И как с гландами, благополучно обошлось?

— Прекрасно обошлось. Хотите верьте, хотите нет, но я как-то сразу бояться перестала и буквально через неделю пошла на операцию. И все вышло как по маслу... Скажите, товарищ следователь, вот вы, я вижу, Воронцовым и после смерти его занимаетесь. Вы тоже думаете, что он был вроде как бы колдун или ясновидец?

— А сами вы как думаете, Вера Фоминична? Я ведь его живого в глаза не видел, а вы с ним худо-бедно почти два десятка лет бок о бок в одном учреждении, наверняка общались, разговаривали. У вас какое сложилось впечатление?

— Не знаю даже, что сказать... Сказать правду, мы больше и не общались никогда. Разве что по работе. А так встретимся в коридоре или в буфете — «здравствуйте», «привет», — только и всего. Хотя, конечно... Действительно, два десятка лет прошло, чего только не случилось за это время! Многое забылось, а я его на той вечеринке как сейчас вижу.

— И он с тех пор так ни разу с вами и не

заговорил?

— Ни разу. Наверное, чувствовал...

— Что?

— Да ведь боялась я его, товарищ следователь! Как чумы боялась. Как дети буку боятся. Когда Валька рассказала мне, что сошлась с ним, я неделю тряслась от горя и страха. Сейчас смешно вспомнить, но рвалась даже заявить в партком, в милицию, еще бог знает куда. Хорошо еще, что муж меня удержал. Здорово бы это получилось: старый злодей совратил бедную девочку, а бедной девочке двадцать третий год миновал...

— Кстати, а как Валя восприняла смерть Воронцова?

— Вы знаете, удивительно спокойно. Ни слова, ни слезинки... Возможно, не так уж и любила.

— Возможно... Скажите, Вера Фоминична, вас никогда не прозывали таким словечком — Нэко-тян?

— Нэко-тян? Нет, впервые слышу. Что это такое?

— Это слово японское. «Кошечка» значит.

— Кошечка... Меня мама в детстве звала Кошечкой...»

— Вот все по Самохиной, — сказал Варахасий. — Впечатляет?

— Впечатляет, — проговорил Алексей Т. — Интересно, где это была у нее родинка?

— Пошляк, — с отвращением сказал Варахасий.

— Извини. Я пошутил. Читай дальше.

Варахасий пошелестел бумагами.

— А дальше у нас пойдет дочка Самохиной, — сказал он. — Валентина Мирленовна. Очаровательная особа, доложу я тебе. Ну-с, с нею я беседовал с первой, она сама вышла на меня — с просьбой вернуть ее вещи, оставшиеся на квартире у Воронцова. Тут мы и побеседовали. Читаю:

«— Как мы с ним познакомились? Очень просто и вообще-то довольно случайно. В октябре... нет, в ноябре прошлого года начальство приказало мне срочно отрецензировать справочник по австрийской системе патентования. А я по-немецки ни в зуб ногой, в институте учила английский, но это было первое мое серьезное задание на работе, да и самолюбие игра-

ло. Ну, обложилась словарями, поползла по тексту, день корплю, другой, и все на первой странице... Нет, думаю, ничего у меня так не выйдет. Стала думать, что делать. Перебрала всех друзей и знакомых — как назло, никого с немецким. Кто с английским, кто с испанским, один даже с эсперанто, а с немецким ни одного. Тогда решила я подключить родителей: может быть, у них есть кто-нибудь. Вышла к ним, а у мамы — помнится, была суббота — гости, две пары из ее института. Так и так, говорю, товарищи, помогите бедному ребенку, срочно нужен знаток немецкого языка. Да ничего проще, кричат, у нас Воронцов отлично немецкий знает, Никита Сергеевич... И тут же дядя Сева достает записную книжку и дает мне его домашний телефон. Мама было на дыбы, не смей, дескать, беспокоить человека, но они ее заговорили, что Воронцов — мужик добрый, что ему ничего не стоит и прочее. Ну а я — в прихожую, к телефону. Позвонила, назвалась, сказала, по какому делу вторгаюсь в его домашний покой. Он помолчал несколько секунд и

очень спокойно, негромко так сказал: «С удовольствием помогу вам, Валя. Я свободен, можете приехать хоть сейчас...» — и продиктовал адрес. И я тут же к нему поехала.

— И помог он вам?

— Не помог — сам все сделал. Когда я два дня спустя после работы к нему поехала, как мы условились, рецензия была готова — напечатана в двух экземплярах, все честь по чести. Я его благодарить, а он головой покачал и сказал: «Не надо, Валя, это я в своих интересах, чтобы нам с вами сегодня не работать, а шампанское пить...» И глаза у него были в тот момент необыкновенные — грустные и какие-то сияющие, я таких ни у кого еще не видела. Наверное, в тот момент я в него и влюбилась. Что ж, я — человек решительный. Прямо при нем сняла трубку и позвонила домой, что буду ночевать у подруги.

— Любовь с первого взгляда, так сказать...

— Это что, ирония?»

(Варахасий прервал чтение.

— Я уже доложил тебе, — сказал он, — что эта девица оказалась очаровательной особой. И говорила она со мной охотно, словно только и ждала случая выговориться. А когда я сострил насчет любви с первого взгляда, лицо ее исказило бешенство. То есть это я говорю — исказило, на самом деле оно осталось прекрасным, это лицо, только другим, что ли...)

«— Это что — ирония?

— Какая уж тут ирония, Валентина Мирленовна, избави бог...

— Вы его не знали... Да и никто его не знал, даже самые близкие приятели. Одна только я знала, потому, наверное, что он был первым в моей жизни мужчиной. Я его любила без памяти. Хотя с самого того вечера знала, чувствовала, что не надолго мне это счастье...

— Он вам сказал, что скоро умрет?

— Ерунда! Не мог он мне этого сказать. Он был здоров, он был совершенно здоров и невыразимо нежен... Мать никогда не была со мной так нежна, как он. Только однажды...

— Что?

— Незадолго до... Ну, недели за две до смерти он вдруг сказал мне ни с того ни с сего, ночью, я уже задремала... Громко и отчетливо сказал: «Скоро нам расставаться», а я спросила сквозь дремоту: «Почему?» И он ответил: «Потому что тебе дальше, а мне обратно, Нэко-тян...»

— Простите... как он вас назвал?

— Нэко-тян. Он меня так называл иногда. Когда-то он был в Маньчжурии и влюбился там в одну японочку, и она научила его так ее называть. Ласкательное прозвище. Нэко-тян. Мне очень нравилось, когда он так меня называл...»

— Теперь у нас пойдет мужчина, — сказал Варахасий. — Константин Пантелеевич Шерстобитов, бывший однополчанин Воронцова. Рассказал он много любопытного, и много чего я из его рассказов выписал, но всего читать не стану, а зачитаю только небольшой отрывочек. Слушай.

«— ...Вот там-то, за Друтью, меня и накрыло. Друть мы с ходу перескочили, а как на обрыв выперлись — трах-бах, и ничего не помню. Очнулся уже в санбате. Полноги как не бывало, мозжит — сил

нет, лью слезы, а что поделаешь? Ладно. И вот за час, как меня в тыл отправлять, является Никитка. Живой-здоровый, весь в пыли, рот до ушей, левая рука на перевязи, тоже его зацепило, но легонько, остался в строю. Как уж он ко мне прорвался — не знаю, не скажу. Ну, торопливо перекинулись о том о сем, оказывается, комбата у нас опять убило, поцеловались на прощание, а затем сует он мне в руку сложенную бумажку и говорит мне: ты, говорит, как я тебе написал здесь, так и сделай, да не забудь, говорит, а то после Победы сам тебя найду и, несмотря что ты теперь инвалид, рыло на сторону сворочу по старой дружбе. И убежал. Ну, развернул я бумажку, читаю. Сейчас уже не помню в точности, как там было написано, лет-то много прошло, но смысл был вот какой. Чтобы осенью в сорок седьмом году, когда буду жениться на Любаше из Медведкова, чтобы непременно позвал на свадьбу. Во как.

— И что вы тогда подумали, Константин Пантелеевич?

— Что подумал... Я тогда ни о какой Лю-

баше ни из какого Медведкова слыхом не слыхал. Первое, что я тогда подумал, — что Никита таким способом просто подбодрить меня хочет: ничего, дескать, жизнь продолжается, ты и без ноги мужик хоть куда, не тушуйся, после войны встретимся... Но потом вспомнил всякие с ним случаи, ну, что я вам уже рассказал, и знаете, товарищ следователь, скрывать не стану, повеселел. А потом, пока по госпиталям валялся, все это, признаться, как-то подзабылось. И записку ту я где-то затерял, и помучиться порядком пришлось, мне ведь еще две операции делали... Словом, вспомнил я об этом только через четыре года, летом сорок седьмого.

— Расскажите, пожалуйста.

— Расскажу. Это интересно получилось. Я уже работал на Мытищинском. Раз задержался я в мастерских допоздна, халтурку одну работал, а дело в конце августа было, вечера уже темные, да еще дожди все время шли. Ну, ковыляю я себе домой, а темнотища, а грязища, а вся улица — ухаб на ухабе! И тротуар деревянный, с до войны нечиненый. И загремел я в какую-

то ямину. И культей своей прямо тычком в землю. Света Божьего не взвидел. Сижу, подняться не могу, только постанываю. И вдруг нежный такой надо мной голосок: «Вы что, гражданин, расшиблись?» Смотрю — рядом у калитки платьице белеется. «Расшибся, — говорю, — девушка, да и как не расшибиться, когда вы у своего дома волчьих ям нарыли, а у меня всего одна нога!» Короче, помогла она мне подняться, завела в свою комнатушку, усадила на кушетку, захлопотала. И между прочим говорит: улица, говорит, здесь и верно нехорошая, только, говорит, это дом не мой, я здесь только комнату снимаю, а живу, говорит, я в Медведкове. А звать, спрашиваю, как? Люба меня зовут. Во! У меня в голове словно молния ахнула — разом все припомнил.

— И женились?

— Конечно, женился. Куда деваться? Да и то сказать: тридцать лет живем душа в душу, двух сыновей вырастили...

— Воронцова на свадьбу позвали?

— Еще бы! Разыскал через адресный стол, он где-то на Большой Андроньев-

ской тогда жил, я потом у него был раза два... Сидел, сидел он у меня на свадьбе... Тут только вот какая штука получилась. Накануне как нам в загс идти, я рассказал сдуру Любаше все эту историю...

— Почему же — сдуру?

— Получилось, что сдуру. На свадьбе Люба все к нему присматривалась и вроде как бы поеживалась, что ли... Он, правда, ничего, наверное, такого не заметил. Веселый был, расцеловал нас, выпивал хорошо, закусывал, «горько» кричал... Только спустя какое-то время зашел у нас с Любой о нем разговор, и она мне говорит: если, говорит, ты меня любишь, держись от него подальше. Я страшно удивился. Почему? — говорю. У него, говорит, глаз нехороший, зловещий. Я ее на смех поднял, застыдил, рассердился даже, однако она — ни в какую. Твердит одно: если, дескать, меня любишь... Ну, что с ней поделаешь? Тайком от нее встретился я с Никиткой несколько раз, да так и разошлись наши дорожки...»

Алексей Т. снова взял дневник и отыскал за-

пись: «Костя Шерстобитов (ранен на Друти, июнь 44; женился на Любаше из Медведкова, осень 47)».

— Заурядный случай ясновидения, — саркастически пробормотал он и снова положил дневник на стол. — Читай дальше.

— Дальше, — сказал Варахасий, — у нас с твоего позволения пойдет еще один мужчина. Капитан 1-го ранга в отставке Микаэл Грикорович Хачатрян, друг детства Воронцова. Читаю:

> «— Значит, умер Никита... Ай, как люди вокруг мрут! Вот и мама у меня умерла недавно. Правда, ей под восемьдесят уже было... Жаль Никиту, очень жаль. Из мужской части мы с ним в нашем классе всего двое, пожалуй, в живых оставались, остальных всех война съела... Так вам о нем в школьные годы? Гм... А позвольте полюбопытствовать, зачем это вам?
>
> — Меня, собственно, интересует, не замечались ли вами в характере, повадках, высказываниях школьника Никиты Воронцова какие-либо странности, несообразности... ненормальности даже?
>
> — Гм... Пожалуй, Никита действительно

был в какой-то мере странный парнишка. Гм... Мы с ним были большие приятели, что называется, водой не разольешь, но, говоря откровенно, я его иногда побаивался. Держался он как-то слишком по-взрослому, слишком навытяжку, если вы понимаете, что я хочу сказать, слишком сдержанно. А если уж расходился, то это у него получалось просто даже страшно.

— Боюсь, я не совсем улавливаю...

— Поясню на паре примеров. Гм... Вот была у нас в школе такая шпанистая компания, человек десять хулиганов под предводительством некоего Гришки-Мурзы. Не знаю, чем мы с Никитой им не понравились, но принялись они нас бить. Где ни встретят, там бьют. Завтраки отнимали, карманные деньги, шапки срывали и закидывали куда-нибудь... Сами знаете, как это у подростков бывает. Первобытная жестокость. Гм... Мы с Никитой года два это терпели, а то и три... Не помню. Не ябедничали, конечно, да и бесполезно было ябедничать. И вот однажды встречают они нас на дороге из школы и принима-

ются за дело. Обычно мы как? Кое-как прикрываемся, стараемся проскочить поскорее и во все лопатки удрать. И вдруг Никита разворачивается и выдает самому Гришке-Мурзе прямой в переносицу. Мне даже хруст послышался, клянусь богом. Это было совершенно неожиданно, и они оцепенели. А Никита уже одного бьет ногой в пах, другого хватает за волосы и с треском ударяет мордой о подставленное колено, третьего еще как-то. Гм... Они опомнились и набросились на него всем скопом, обо мне забыли, а я совершенно, знаете ли, ополоумел, в глазах темно, и ору нечленораздельно на всю улицу. Они здорово тогда избили Никиту, но и сами потерпели урон... К счастью, сбежались прохожие. Гм... Да. И вот после этого дня Никита стал сам подстерегать их поодиночке и избивать. Я иногда присутствовал. Это было ужасно. Это было... Это было невероятно жестоко, умело и, я бы сказал, по-деловому. То есть он дрался не так, как обыкновенно дерутся мальчишки, — не стремился оскорбить ударами, унизить, просто показать свое превосходство. Гм...

Он как бы работал. Начал он прямо с Мурзы. Напал на него в школьной уборной и всю перемену деловито и страшно его обрабатывал. Все эти мальчишеские правила — «до первой крови», «под дых не бить», «ножку не подставлять», «лежачего не трогать» — все это он игнорировал. Уже через минуту несчастный Мурза валялся на кафельном полу и хрипел, а Никита трудился над ним и кулаками, и башмаками, и по-всякому. Мы оцепенели от ужаса, никто не решался вмешаться, даже старшеклассники. Клянусь богом, такую ледяную жестокость я видел потом только в кино, в гангстерских фильмах!»

(Тут Варахасий опять прервал чтение.

— Поразительно, — произнес он, усмехаясь, — как цепко держится мальчишка даже в пожилых мужиках! Полковник в отставке, на шестом десятке, а раздухарился так, что мне вчуже страшно стало. Глаза выкатил, руками размахивает, вскочил, ногами показывает, как наш Никита пинками этого Мурзу угощал... Долго он в таком роде повествовал, мы на этом останавливаться не будем, тут и так все ясно, а перейдем к следую-

щему пункту. Продолжаю.)

«— Понятно, Микаэл Грикорович. Ну, а другой пример?

— Какой — другой?

— Вы обещали пояснить на паре примеров. Один вы привели. А второй?

— Гм... Второй пример... Я, собственно, не имел в виду... Только я вас прошу понять, что тут у меня скорее впечатления, своими, так сказать, глазами я почти ничего не видел. Гм... Одним словом, с какого-то времени я стал замечать, что Никита необычайно смело ведет себя с девочками. Вы знаете, как обычно подростки в четырнадцать-пятнадцать лет: и хочется, и колется... подсмотреть там, похихикать, а самого то в жар, то в холод, и вообще по большей части одни лишь мечтания бесплодные. Так вот, Никита вдруг обнаглел до крайней степени. И я почти уверен, что случилось у него что-то с одной нашей одноклассницей...

— Понятно. Микаэл Грикорович, вот вы сказали — «с какого-то времени». А поточнее не припомните?

— Помню. И скажу вам совершенно точно. У Никиты случился приступ мозгового расстройства. Вообще-то он был парень здоровый, не болезненный, а тут вдруг слег, потерял память, в сильном жару несколько дней пролежал. Голову он застудил, что ли... или ударился... Не помню уже сейчас. И все эти, как мы их с вами называем, странности начались у него вскоре после этой болезни.

— И когда это случилось?

— Помню совершенно точно. В седьмом классе, в зимние каникулы. Я это помню потому, что во время этих каникул мы с ним начали увлекаться химией. Я-то в восьмом классе к ней поохладел и ударился в электротехнику, а Никита так химиком и остался...

— Кто такая Галина Родионовна?

— Галина Родионовна? Галина Родионовна... Гм... Не помню что-то...

— Это тоже может быть из ваших школьных лет.

— А! Галина Родионовна! Да-да-да, как же! Учительница была у нас такая, англичанка, пришла к нам прямо из института.

Между прочим, Никита английский знал просто в совершенстве...»

Алексей Т. бросил на стол дневник и сказал устало:

— Кто там у тебя еще остался?

— Осталась у нас последняя фигура, — отозвался Варахасий Щ. — Светлана Федоровна Паникеева, в девичестве Кривоносова, племянница нашего Воронцова и его единственная наследница.

— И было там что наследовать?

— Как же! Библиотека после него осталась неплохая, мебель... из одежды кое-что... Если ты помнишь, в свое время она вышла замуж и уехала с мужем на Север, а в начале шестидесятых они вернулись, обремененные огромными деньгами и целым выводком детишек. Ну-с, женщина она оказалась незатейливая, простоватая, хотя, доложу тебе, в свои сорок семь годочков еще очень и очень... Ладно, это, конечно, в сторону, а зачитаю я тебе сейчас всего одну маленькую выдержку, самую интересную, как мне представляется.

— Валяй. Слушаю.

«— А что ему дано было будущее знать, так я это еще девчонкой поняла. Он меня любил, Никита, жалел очень и играл,

бывало, со мной, и книжки читал мне, и пел, когда я болела... Я часто в детстве болела. И вот песни он мне пел иной раз такие, каких тогда ни от кого услышать было нельзя, а услышала я их снова уже взрослой и много позже войны. «Эх, дороги, — он пел, — пыль да туман», «Черного кота», «Вы слышите, грохочут сапоги»... И про войну он досконально знал, что она будет, и когда, и какая будет. Вот, помню, поет он мне свою любимую, я ее тоже очень любила, хотя и мало понимала, конечно... Поет это он: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» И тут папа входит к нам. А Никита ни при ком не любил петь, только мне, но не остановился, до конца спел. Папа дослушал и говорит: «О чем это ты поешь, Никитка?» Он отвечает: «О войне, Федя, о войне пою». — «О какой такой войне?» — «А о той, что в будущем году начнется, и многие на ней голову сложат». — «Эх, типун тебе на язык», — папа говорит. А я гляжу, Никита на него глядит, и в глазах слезы...»

Алексей Т. досмотрел, как складываются в

папку скрепленные скрепкой листки и общая тетрадь в заплесневелой клеенчатой обложке, и перевел взгляд на окно. За окном царило яркое солнечное утро.

— Ну, как это тебе? — спросил Варахасий Щ., завязывая белые тесемки.

— А тебе? — спросил Алексей. — Размотал задачку?

— Есть у меня, есть кое-какие мысли, скрывать не стану...

Алексей Т. скривился насмешливо:

— Ясновидящий? Путешественник по времени?

— Не-ет, ясновидящий — это, брат, что... Это банальщина. Вот путешественник — это уже ближе к делу.

— Не с чего, так с бубен.

— А давай подискутируем, — предложил Варахасий Щ. — Если ты не устал, конечно.

— Давай, — согласился Алексей Т. — Только сначала прикончим эту благодать.

И он потянулся за бутылкой, в которой оставалось еще стопки на две, а то и на все три.

Дискуссия

Если тщательно сопоставить все данные (рассуждал Варахасий Щ.), то рисуется парадоксальная картина, а именно: Никита Сергеевич Воронцов прожил неопределенное множество жизней. В романтической литературе известны персонажи, прожившие несколько жизней, — достаточно вспомнить хотя бы джек-лондоновского Скитальца, который в своей смирительной рубахе носился из эпохи в эпоху, как страдающий поносом из сортира в сортир. Красиво, спору нет. Случай же с Никитой Воронцовым совсем иного рода. Про него точнее будет сказать, что не множество жизней он прожил, а прожил он одну и ту же жизнь множество раз. И судя по всему, было это достаточно тяжко, тоскливо и утомительно. Недаром, недаром поется в старинной песенке (слова народные): «Лучше сорок раз по разу, чем за раз все сорок раз»...

Да, Никита Воронцов действительно был путешественником по времени, только не по своей воле и в весьма ограниченных пределах. И выглядело это следующим образом. Воронцов благополучно доживает до вечера 8 июня

семьдесят седьмого года. В 23 часа 15 минут по московскому времени некая сила останавливает его сердце, а сознание мгновенно переносит на сорок лет назад, в ночь на 7 января тридцать седьмого года, где оно внедряется в мозг Воронцова-подростка, причем внедряется со всем опытом, со всей информацией, накопленными за прожитые сорок лет, напрочь вытесняя, между прочим, все, что знал и помнил Воронцов-подросток до этой ночи. Далее, Воронцов снова благополучно доживает до вечера 8 июня семьдесят седьмого года, и снова та же самая неведомая сила убивает его тело и переносит его сознание, обогащенное, кстати, опытом и информацией новых сорока лет... и так далее, и так далее.

И так повторялось с ним неопределенное, может быть, и неисчислимое множество раз. Возможно, тысячу и одну жизнь прожил Никита Воронцов. Возможно, в последних своих жизнях он уже давно забыл, когда это произошло с ним впервые. А возможно, впервые это никогда и не происходило... (Только не надо недоуменно разводить руки и закатывать глаза: наука как форма человеческого воображения умеет, конечно, много гитик, но натура умеет этих гитик в неисчислимое множество раз больше.)

Следует принять во внимание, что в подробностях все эти его жизни совпадать, конечно, не могли. Слишком много случайностей возникает в каждой жизни, слишком много ситуаций выбора и вариантов ситуаций в микросоциумах. Скажем, в одной жизни Воронцов мог жениться на Вере, в другой — на Клеопатре, в третьей — на Розе, а в четвертой он мог вообще от этого дела воздержаться и дать себе отдых от семейных тягот. Допускается даже, что когда-то его одолела тоска и он повесился еще до войны, а когда-то его разорвало на куски вражеским снарядом, а когда-то он погиб в авиационной катастрофе задолго до своего срока. Но когда бы и при каких бы обстоятельствах ни прерывалась его жизнь, он неизменно возвращался в ночь на 7-е января тридцать седьмого года и заново начинал очередное сорокалетие.

Нет смысла задаваться вопросом (продолжал Варахасий Щ., подняв толстый указательный палец), как и почему все это с Воронцовым происходило и почему именно с Воронцовым. Наука эти высоты еще не превзошла и превзойдет, надо думать, не в ближайшие дни. Ибо речь здесь идет о природе времени, а время — это такая материя, в которой любой из нас не менее компетентен,

чем самый великий академик. Возможно, гипотеза, предложенная им, Варахасием Щ., и не соответствует действительному положению дел в мироздании, но пусть кто-нибудь попробует ее опровергнуть! В частности, совершенно не имеет смысла закатывать пустые глаза, шевелить губами и загибать пальцы. Пустое это дело — пытаться представить себе, как соотносились бесчисленные реальности Никиты Воронцова с нашей единственной реальностью. Мы имеем здесь дело, вне всякого сомнения, с высшими, нам еще неведомыми проявлениями диалектики природы, человеческий мозг к ним пока не приспособлен, особенно мозг довольно рядового литератора, так что нечего тут напрягаться, а то, не дай бог, пупок развяжется. Надлежит просто принять как данность: Никите Воронцову выпало много раз проходить мостами, «по якым нам бильше не ступаты...».

Тут Алексей Т. прервал приятеля. Он осведомился, случайно ли именно сегодня его угостили этой прекрасной песней.

Варахасий Щ. заверил, что это вышло совершенно случайно.

Тогда Алексей Т. запахнул халат, встал и заговорил. Он сказал, что не станет притворяться,

будто странные подробности жизни Никиты Воронцова не произвели на него впечатления. Не собирается он отрицать и того обстоятельства, что гипотеза Варахасия Щ. поражает смелостью и необычностью. Будучи всего лишь довольно рядовым литератором, он, Алексей Т., готов тем не менее дать гарантию, что эта гипотеза вознесет следователя городской прокуратуры Варахасия Щ. на самую вершину научного Олимпа и усадит его там в аккурат между Эм Ломоносовым и А Эйнштейном.

С другой стороны (продолжал Алексей Т.), тщательное сопоставление всех данных позволяет выработать и гипотезу совершенно иного толка. Варахасий Щ. не станет притворяться, будто странные подробности жизни Никиты Воронцова нельзя сочинить для поражения приятелей и особенно студенточек-юристочек. Не будет Варахасий отрицать и того обстоятельства, что современным криминалистам ничего не стоит изготовить заплесневелую тетрадочку и исписать в ней несколько страничек выцветшими чернилами. И как довольно рядовой, но все же литератор, он, Алексей Т., готов дать гарантию, что эта затея вознесет следователя городской прокуратуры Варахасия Щ. на какой-нибудь отрог

литературного Олимпа и усадит его там в аккурат между Бэ Мюнхгаузеном и Кэ Прутковым.

Сказавши это, Алексей Т. сел, закинув ногу на ногу, и посмотрел на приятеля с наивозможнейшей снисходительностью.

Варахасий Щ. несколько раз задумчиво кивнул. Затем он сморщился и почесал за ухом. И затем он заговорил.

— Изложено недурно и убедительно, — произнес он. — Наличествует здоровая ирония. Неплох и слог. Особенно мне понравилось местечко между Мюнхгаузеном и Прутковым. А?

— Ну, это я, конечно, преувеличил, — поспешно сказал Алексей. — В пылу полемики, так сказать. Они, конечно, до такой зауми не опускались.

— Зауми? — удивился Варахасий. — Видать, не знаешь ты, что такое настоящая заумь. Но вам бы все попроще бы. Как это ваш брат расписывает: «Васятка сунул ногу в отцовский сапог и загромыхал на двор. Аришка выпорхнула из отхожего места с визгом: “Го-го-го! Трактора когда ишшо гранулировать почву под озимые стартовали, а вы все чикаетеся!”»

— Ломоносов! — огрызнулся Алексей Т.

— От такого слышу, — хладнокровно парировал Варахасий Щ. — Фэ Абрамов.

Приятели помолчали. Потом Алексей Т. сердито буркнул:

— Дай сюда дневник.

Он перебросил две-три страницы и углубился в чтение. Варахасий прибрал со стола и принялся мыть посуду.

— Чайник поставить? — спросил он.

Алексей не ответил.

— Чайник, говорю, поставить? — гаркнул Варахасий.

Тогда Алексей захлопнул дневник, бросил его на стол и крепко потер ладонями лицо.

— Сядь и послушай, — сказал он коротко.

Варахасий вернулся к столу, и Алексей, глядя поверх его головы припухшими от бессонной ночи глазами, начал:

> «Интервью, данное скитальцем по времени Н. Воронцовым писателю и журналисту Алексею Т.
>
> — Скажите, что вы испытываете при воскрешении?
>
> — Боль. А потом несколько дней тоску и ужас.
>
> — Почему же тоску и ужас?
>
> — Потому что всякий раз впереди вой-

на, вселенское злодейство, вселенские глупости, и через все это мне неминуемо предстоит пройти.

— Неминуемо? Всякий раз?

— Да. Это обстоятельства капитальные, они составляют непременный фон каждой жизни.

— А вы никогда не пытались их предотвращать? Кого-либо предупреждать, писать письма, выступать где-нибудь?

— Было когда-то. Очень давно, тысячу лет назад, должно быть. Помню уже довольно смутно. Нет, ничего не получалось. Приходилось даже кончать самоубийством. Один раз сгнил в концлагере. Три раза меня расстреляли, а однажды убили прямо на улице железными прутьями, минут десять убивали, было очень мучительно. «Ведь ясновидцев — впрочем, как и очевидцев, — во все века сжигали люди на кострах...» А я был в одном лице и ясновидец, и очевидец. Нет, что один человек ничего не может, это я всегда знал, но иногда просто не выдерживал.

— Понятно. Это об обстоятельствах,

как вы выражаетесь, капитальных. Но в обычных, житейских... Я бы, например, если бы знал заранее, своего отца спас. Просто в тот день не выпустил бы его из дому, запер бы в квартире.

— И это бесполезно. Житейские обстоятельства обычно в каждой жизни складываются по-разному. У вас с отцом что случилось?

— Попал под грузовик.

— Ну, а в другой жизни этот грузовик с вашим отцом не встретился бы. Либо минутой раньше проехал, либо позже, а то и вообще еще за месяц до того разбился бы и пошел в металлолом. Я в прошлой жизни на Верочке Корнеевой женился, а в этой встретился с нею, когда она уже замуж вышла и дочку родила.

— Но родинка у нее...

— А родинка, видимо, возникает из обстоятельств тоже капитального плана, разве что не политических.

— Простите, мы отвлеклись. Значит, в личном плане никого ни о чем нельзя предупредить, удержать от гибельного, предотвратить несчастье?

— Бесполезно. Судите сами. Я предупреждаю Федю, мужа своей сестры Серафимы, что его убьют под Харьковом. Что же ему делать, дезертировать? Проситься на другой фронт? Пустить себе пулю в лоб назло предсказанию? Я уже не говорю о том, что он мне, конечно, не очень-то верил. И я уже не говорю о том, что его убивают под Харьковом только в последних пяти моих жизнях, а за двести лет до этого он регулярно умирал совсем другой смертью.

— Это, наверное, тяжкое бремя — бессильное знание.

— Правда. Порой я ощущаю его как невыносимое. Бывает, очень хочется умереть по-настоящему, как другие...

— Но ведь есть и радости в вашем положении!

— Да, конечно, и могу заверить, что никто из вас не радуется своим радостям так, как я своим.

— Если можно, расскажите подробно.

— Не буду я подробно. Все равно вы не поймете.

— Вино, любовь, путешествия?

— Это наслаждения, а не радости. Наслаждения у нас с вами одни и те же. Радости разные.

— Скажите, это не случайно, что вы перед смертью не уничтожили свой дневник?

— Нет. И не случайно, как я обставил свою смерть.

— Вы хотите сказать...

— Мой дневник должен был попасть в руки не к моей преподобной курице-племяннице, а к следователю городской прокуратуры Варахасию Щ.

— Благодарю вас. До встречи в нашей следующей жизни».

— Как это тебе? — произнес Алексей Т. самодовольно.

— Чрезвычайно неровный слог, — отозвался Варахасий Щ. — Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Впрочем, все же се глас не мальчика, но мужа. Если бы ты почаще...

Бог знает, какой совет собирался дать Варахасий своему приятелю, но тут затренькал дверной звонок. Варахасий вышел в прихожую и вернул-

ся, разворачивая телеграмму.

— «Доехали устроились благополучно, — прочитал он вслух, — целуем любимого мужа папочку Саша Глаша Даша».

Варахасий сладко зевнул и потянулся.

— Вот и прекрасно, — сказал он. — Пошли спать. Постелю тебе в кабинете, не возражаешь? Славно, однако, что сегодня не работать. И междусобойчик получился на славу, как ты находишь?

— На славу, — согласился Алексей.

Он тоже сладко зевнул и вдруг захлопнул рот, стукнув зубами. Он весь сотрясся.

— Знаешь, — произнес он хриплым шепотом, — по мне так лучше к чертям в ад, чем обратно...

Варахасий промолчал. Может быть, он не расслышал.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ ИЛИ «КУДА ЖЕ НАМ ПЛЫТЬ?..»

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. За миллиард лет до конца света; Пикник на обочине; Гадкие лебеди. — СПб.: Альянс; Позисофт, 1993. (Впервые в сокращении опубликовано под заглавием «Куда ж нам плыть? (Вопросы без ответов)»: Независимая газета. — 1991. — 3 янв.; дополнительные фрагменты, под тем же заглавием: Собрание «Независимой газеты»: Дайджест-приложение. — 1991. — № 1.)

1. Кажется, Марк Твен сказал: «Девятнадцатый век отличается от двадцатого, главным образом, тем, что в девятнадцатом слова *оптимист* и *дурак* не были синонимами. Двадцатый век приучил нас к тому, что сбываются только мрачные пророчества, а ошибки в прогнозах происходят лишь в дурную сторону».

Впрочем, может быть, так было всегда? Не случайно же возник «основной парадокс футурогностики»: все хотят знать будущее, но никто не

хочет знать правды о будущем.

Лет пятнадцать назад мы впервые задумались над вопросом: возможно ли стабильное общество, в котором высокий уровень благосостояния сочетается с полным отсутствием свободы слова и мнений. Нам представлялось тогда, что наше общество движется именно в этом направлении — во всяком случае, с инакомыслием у нас было уже покончено, а достижение благосостояния казалось делом техники (как в переносном, так и в прямом смысле этого выражения).

Безусловно, такое состояние общества выглядело бы идеальным с точки зрения любой Административно-Командной Системы (АКС).

Самые широкие народные массы материально полностью ублаготворены; научно-технический прогресс денно и нощно поддерживает достигнутый материальный уровень и, более того, всячески норовит его повысить; хорошо оплачиваемые деятели литературы, кино, театра и прочей культуры воспевают существующий порядок и развлекают почтеннейшую публику высоконравственными притчами, поучительными историями и точно выверенными по глубине экскурсами в прозрачные рощи души Нового Человека... Господи, да это же Эдем — в натуральную

величину и притом рукотворный, созданный по мановению и благодаря АКС! Всякий инакомыслящий, всякий противник существующего порядка вещей, всякий критик АКС выглядит в этой системе попросту чучелом гороховым, он, собственно, даже не опасен, он смешон.

Мы до сих пор толком не понимаем, почему, но такой мир, видимо, невозможен. Во всяком случае, ни одной АКС в истории человечества создать такой мир не удалось ни в античные времена, ни в эпоху НТР.

Любопытно знать, как отнесся бы к такому устройству мира Томас Мор? Или Фрэнсис Бэкон? Сочли бы они такое устройство общества утопическим? С точки зрения Герберта Уэллса, это — типичная антиутопия. С точки зрения Карела Чапека или Евгения Замятина — тоже. А с точки зрения Кампанеллы?

Представления о том, каким мир должен быть, а каким не должен, в каком мире хочется жить, а в каком — страшно подумать, к чему человечеству надобно стремиться, а от чего бежать, — представления эти меняются от эпохи к эпохе разительно, диаметрально, так что кажется иногда, что добро и зло в представлении человека способны меняться местами.

Хотелось бы нам жить в Городе Солнца? Упаси бог! Всю жизнь свою провести в казарме?.. Ни за что.

А в мире «Туманности Андромеды»? Трудно сказать... Холодно. Стерильно чисто и холодно... А вам, читатель?

Кстати, а сами авторы утопий захотели бы оказаться в мирах, ими созданных?

Утопия и антиутопия — это не антонимы. Утопия — это мир, в котором торжествует разум. Антиутопия — мир, в котором торжествует зло.

Создатель утопии всегда руководствуется рассудком, создатель антиутопии — чувством.

Автор утопии рисует мир, каким он *должен* быть с точки зрения разумного человека, автор антиутопии изображает мир, в котором *страшно жить*.

Поэтому, на наш взгляд, правильнее все же говорить не об антиутопии, а о романе-предостережении. Этот термин более отвечает содержанию соответствующих литературных произведений да и сути авторских намерений.

Пусть поправят нас специалисты, но нам кажется, что утопия родилась очень давно, а умерла в XX веке. Что же касается романа-предостережения, то родился он на грани XIX и XX веков и

умрет не скоро, ибо литература вкусила от сладкой горечи и познала болезненное наслаждение мрачных пророчеств.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!

Или, может быть, с помощью романов-предостережений мы *заклинаем* наше будущее, чтобы оно минуло нас, заклинаем катаклизмы, чтобы они не состоялись, — дикари двадцать первого века! — *называем* зло, чтобы отпугнуть его?..

Во всяком случае, практическая прогностическая польза от романов-предостережений ничтожна. Разве удалось крупнейшим литераторам начала века предостеречь нас хоть от чего-нибудь? Разве сумели они предугадать и «вычислить» тот рукотворный ад, в который погрузилось человечество двадцатого века?

Ведь и Уэллс, и Хаксли, и Замятин в конечном счете оказались не столько глубокими мыслителями, сколько великими поэтами, не столько футурологами, сколько прорицателями в самом что ни на есть античном смысле этого слова. Они почуяли страшную угрозу, почуяли трупный за-

пах из будущего, но кто будет гореть на кострах, кто будет корчиться на дыбе, какой Сатана станет править бал и почему это все произойдет, они не поняли и не угадали.

Они видели, какую апокалиптическую угрозу таит в себе победное вторжение научно-технического прогресса в косный мир, едва-едва начавший освобождать себя от морали и догм перезревшего феодализма. Они догадывались, что это такое: вчерашний раб, сегодняшний холоп за штурвалом боевого летательного аппарата или — хуже того — за пультом машины государственного управления. Именно в научно-техническом прогрессе видели они главную опасность, ибо им казалось, что наука всемогуща, а всемогущество в лапах дикаря — это гибель цивилизации. И самое страшное, что виделось им за горизонтом, — это превращение человека в робота, исчезновение индивидуальности, номера вместо людей, рационализация чувств и надежд, программируемый механизм вместо общества — по сути дела им виделся все тот же Город Солнца, но выстроенный самыми современными физиками, химиками, биологами, математиками под управлением самых современных (извечно безжалостных) политиков...

Однако мы знаем теперь, что реальность оказалась гораздо страшнее, чем эти их сумрачные прорицания. Опыт гнусных тоталитарных режимов XX века обнаружил, что с человеком может происходить кое-что похуже, чем превращение в робота. Он остается человеком, но он делается *плохим* человеком. И чем жестче и беспощаднее режим, тем хуже и опаснее делается массовый человек. Он становится злобным, невежественным, трусливым, подлым, циничным и жестоким. Он становится рабом. (Похоже, мыслители конца девятнадцатого подзабыли, что такое раб, — двадцатый век напомнил им об этом.)

2. Любой тоталитарный режим стоит — как на железобетонном фундаменте — на идее беспрекословного подчинения.

Беспрекословное подчинение установленной идеологии.

Беспрекословное подчинение установленному порядку.

Беспрекословное подчинение установленному свыше начальнику.

Человек свободен в рамках беспрекословного подчинения. Человек хорош, если он не выходит за рамки беспрекословного подчинения. Человек может быть назван умным, добрым, честным, по-

рядочным, благородным, *только* лишь пока он не вышел за рамки беспрекословного подчинения...

Шла дрессировка. На гигантских пространствах Земли и на протяжении многих лет шла титаническая дрессировка миллионов. Слово «роботы» не было тогда еще в ходу. Слово «программирование» было неизвестно либо известно только самым узким специалистам. Так что это следовало бы называть *дрессировкой человеков*, но называлось это *воспитанием масс*.

Человек, как и всякое живое существо, включая свинью и крокодила, поддается дрессировке. В известных пределах. Его довольно легко можно научить называть черное белым, а белое — красным. Он, как правило, без особого сопротивления соглашается признать гнусное — благородным, благородное — подлым, а подлое — единственно верным. Если его лишить информации и отдать — безраздельно! — во власть тайной полиции, то процесс дрессировки можно вполне успешно завершить в течение одной-двух пятилеток. Если установить достаточно жесткое наказание за выход (сознательный — невольный, от большого ума — от явной глупости, с целью подрыва или без — все это несущественно) из рамок беспрекословного подчинения, то человека можно даже

приучить думать, что он живет хорошо (в полуразвалившейся избе, с лопухами вместо яблонь и с пенсией одиннадцать рублей ноль четыре копейки). Только не надо церемониться! Если враг не сдается, его уничтожают. Если друг — тоже.

Джордж Оруэлл ничего не предсказал. Он только фантазировал на хорошо уже разработанную тему — разработанную до него и не им, а специалистами-дрессировщиками по крайней мере четырех стран. Но он правильно *назвал* то, что происходило с дрессируемым человеком. Он ввел понятие «двоемыслие» (double think).

В тоталитарном мире можно выжить только в том случае, если ты научишься лгать. Ложь должна сделаться основою всех слов твоих и всех поступков. Если ты сумеешь *возлюбить* ложь, у тебя появится дополнительный шанс на продвижение вверх (вкуснее жрать, пьянее пить, слаще спать), но как минимум ты должен *научиться* лгать. Это не даст тебе абсолютной гарантии выживания (в тоталитарном мире абсолютной гарантии нет вообще ни у кого), но это увеличит вероятность благоприятного исхода, как сказал бы специалист по теории вероятности.

Воображение рисует целые поколения людей «со скошенными от постоянного вранья

глазами». Действительность проще и скучней. (Действительность всегда скучнее воображения, поэтому мы зачастую не понимаем прорицаний даже тогда, когда они по сути своей верны.) Действительность демонстрирует нам хорошо выдрессированного человека, у которого способность и умение лгать перешли уже на уровень инстинкта. Он всегда и совершенно точно знает, что можно говорить и что нельзя; когда надо разразиться аплодисментами, а когда надо сурово промолчать; когда *сигнализировать*ь в инстанции надлежит немедленно, а когда можно рискнуть и воздержаться; когда задавать вопросы совершенно необходимо, а когда нельзя их задавать ни в коем случае. Без всякой специальной подготовки он годен работать цензором. И даже главным редактором. И вообще — идеологом. Он до такой степени пропитан идеологией, что в душе его не остается более места ни для чего другого. Понятия чести, гуманности, личного достоинства становятся экзотическими. Они существуют только с идеологическими добавками: честь — *рабочая*, гуманность — *пролетарская*, достоинство — *подлинного арийца*.

Поскольку ложь объявлена (и внутренне признана!) правдой, правда должна стать ложью...

ей просто ничего более не остается, как сделаться ложью... у нее вроде бы попросту нет другого выхода...

Однако дрессированный человек, раб XX века, находит выход. У него арестован и расстрелян — «десять лет без права переписки» — любимый дядя, убежденный большевик с дореволюционным стажем, который, разумеется, ни в чем не виноват, он просто *не может* быть в чем-либо виноват!.. Но в то же время *органы не ошибаются*, они просто *не могут* ошибаться... И остается только одно: хранить в сознании обе эти *правды*, но таким образом, чтобы они никогда друг с другом не встречались. Вот это искусство не позволять двум правдам встречаться в сознании и называется двоемыслием.

Двоемыслие помогает выжить. Двоемыслие спасает от безумия и от смертельно опасных поступков. Двоемыслие помогает сознанию рационализировать совершенно иррациональный мир. Двоемыслие поддерживает в глупом человеке спасительный уровень глупости, а в ловком человеке — необходимый уровень нравственной увертливости. Двоемыслие — полезнейшее благоприобретенное свойство дрессированного человека. Оно продляет жизнь в условиях тотали-

тарной системы. И оно продлевает жизнь самой тоталитарной системы. Ибо, окажись человек неспособен к двоемыслию, тоталитарные системы вместе со своими подданными убивали бы сами себя, как убивают себя штаммы наиболее беспощадных вирусов, вызывающих пандемии.

Почему никто из великих прорицателей начала века не предсказал этой пандемии двоемыслия?

Может быть, они были излишне высокого мнения о человеческих существах? Нет, этого не скажешь ни об Уэллсе, ни о Хаксли, ни о Замятине.

Может быть, такое явление было слишком трудно себе представить? Может быть, находилось оно за пределами воображения? Отнюдь нет! Все это уже было в истории человечества — в эпоху тираний, рабовладения, да и недавно совсем — во времена средневековья, инквизиции, религиозных войн...

Видимо, в этом все и дело. Это было недавно. Память еще жива. Пример и назидание. Прошлое не повторяется. Прошлое миновало навсегда. Прошлое понято, все дурное в нем сурово осуждено — раз и навсегда. Грядет новое время, новый страшный мир — все новое в этом мире будет страшно и все страшное — *ново*!

Оказалось — нет. Страшное оказалось *неописуемо* страшным, а вот новое оказалось не таким уж и новым. Просто, как и в добрые старые времена варварства и невежества, все население опять разделилось на дураков и подлецов.

3. Дураки, как и встарь, не понимали, что с ними происходит, и дружно кричали, когда требовалось: *Ура! Хайль! Банзай! Огня! Еще огня!* Со всех сторон их убеждали, что они самые лучшие, самые честные, самые прогрессивные, самые умные, — и они верили в это и были счастливы тем особенным счастьем, которое способны испытывать именно и только дураки, когда им кажется, что они наконец попали на правую сторону.

Подлецы... На самом деле в большинстве своем они были вовсе и не подлецы никакие, а просто люди поумнее прочих или те, кому не повезло, и они поняли, в каком мире довелось им очнуться. Мы называем их этим поганым словом потому только, что самые честные из них и беспощадные к себе называли себя именно так. Разве же это не подлость (говорили они) — все знать, все понимать, видеть пропасть, в которую катится страна, мир, и — молчать в общем хоре, а иногда даже не молчать — безголосо раскрывать рот, дабы не уличили тебя во внутреннем эмигрантстве?..

Были, разумеется, и святые («Разве мы не люди?»). Из подлецов не было дороги в дураки, нет такой дороги у человека. Была дорога в палачи и была дорога в святые. Святых было меньше. Несравненно меньше.

«Разве мы не люди?» Это — Герберт Джордж Уэллс. Самый замечательный писатель среди фантастов, самый блистательный фантаст среди писателей.

«Не ходить на четвереньках — это Закон. Разве мы не люди?

Не лакать воду языком — это Закон. Разве мы не люди?

Не охотиться за другими людьми — это Закон. Разве мы не люди?..

А тот, кто нарушает Закон, возвращается в Дом Страдания!..»

Страшный седой доктор Моро тщился с помощью окровавленного скальпеля превратить животное в человека, погрузив в горнило невыносимых страданий. Какая странная идея! И какая знакомая!

«Остров доктора Моро» был опубликован в 1896 году, а в двадцатом веке в нескольких странах разом была предпринята грандиозная попытка превратить в навоз целые народы и вырастить

на этом навозе Нового Человека, пропустив его предварительно через горнило страданий.

И горели над целыми странами разнокалиберные заклинания:

Труд есть дело чести, дело доблести и геройства! (Разве мы не люди?)

Arbeit macht frei! (Разве мы не люди?)

Хакко-итиу! Восемь углов Вселенной — одна крыша!

Наша цель — коммунизм!

Wer ein Volk retten will kann nur heroisch denken!

Из-под скальпеля Моро выходили: гиено-свинья, леопардо-человек, человеко-пес... Дрессировщики двадцатого века создавали монстров духа, целые поколения нравственных хамелеонов, души которых представляли собой противоестественный сплав Десяти заповедей, четырех Главных указаний и самой передовой в мире Идеологии... Они мучили и увечили людей, как подопытных животных, тщась сделать их счастливыми...

Новый человек не спешил появляться. С плакатов и ярких лакированных картин он смотрел на это стадо химер — голубоглазый, белокурый, могучий, уверенный в себе и в ослепительном

будущем, где людей не будет вовсе — будут Новые Человеки, и время наконец «прекратит течение свое».

Вряд ли Уэллс хотел что-то предсказать своим ранним романом. Скорее, он хотел выразить свой страх перед реальностью и ужасные предчувствия свои. А получилось Прорицание — самого высокого уровня достоверности, самого глубокого проникновения в суть вещей и событий.

Авторы антиутопий начала XX века ошибались прежде всего потому, что боялись главным образом потери свободы — свободы мысли, свободы выбора, свободы духа. Им казалось, что это самое страшное — потерять свободу мысли и свободу распоряжаться собою.

Выяснилось, однако, что никого, кроме них, это не пугает.

Выяснилось, что массовый человек не боится потерять свободу — он боится ее обрести.

Выяснилось, что «век пара и электричества, век просвещения и свободы» не уничтожил феодализма, он даже не ослабил и не обескровил его. Феодализм выстоял и в двадцатом веке дал последний арьергардный бой — тем более жестокий, что на вооружение оказались взяты и пар, и электричество, и все прочие плоды Века

Просвещения.

Нас учили, что фашизм был реакцией монополистического капитала на Октябрьскую революцию. Ничего подобного. Все известные нам тоталитарные режимы, включая немецкий фашизм и казарменный социализм, были последней отчаянной попыткой феодализма отстоять свои позиции, отбросить надвинувшийся капитализм, уничтожить его там, где он не успел еще окрепнуть, вернуть старые добрые времена патернализма, когда над каждым холопом стоит свой барин-отец, а над всеми — батюшка-царь.

Не случайно же наиболее жестокие тоталитарные режимы возникли именно в тех странах, где свежи еще были воспоминания о монархии и где ненависть к капитализму — с его беспощадной рациональностью, с его равнодушием ко всему, кроме прибыли, с его ужасающими кризисами — была особенно сильна.

Ведь феодальные отношения складывались веками. На протяжении многих десятков поколений были холопы, и у каждого холопа был барин, и каждый барин, в свою очередь, тоже был чьим-то холопом (в том или ином смысле), и была не только пирамида последовательного ограбления, но и пирамида покровительства и ответственно-

сти выше стоящего за стоящего ниже...

Человеческое сообщество нашло — как всегда, методом проб и ошибок, жестоких проб и кровавых ошибок — некое устойчивое состояние, соответствующее и уровню производительных сил, и массовой психологии миллионов, и это состояние оказалось в высшей степени устойчивым! Каждый отдавал — добровольно! — огромный кусок своей свободы в обмен на небольшой, но верный кусок хлеба и некоторую уверенность в завтрашнем дне. (Такова была еще совсем недавно цена того, что сейчас мы называем социальной защищенностью.)

Правда, когда кусок хлеба становился слишком уж мал или исчезала уверенность в завтрашнем дне (кровавый кретинизм суверенов, чрезмерно затянувшиеся войны, проигранные войны, чума), равновесие нарушалось, и чудовищные по жестокости бунты сотрясали целые страны, но это лишь кровавые *минуты* истории, а на протяжении многих и многих *часов* пирамида общественного устройства стояла неколебимо, ибо в сущности много ли человеку надо? Ежедневный ломоть хлеба да какая-нибудь уверенность в завтрашнем дне.

Ранний капитализм эту устоявшуюся систему

отношений разрушал без всякой пощады и вышвыривал вчерашнего раба на улицу, давая ему полную свободу действий и лишая его при этом каких-либо гарантий. Это было страшно. Это было непостижимо. Это невозможно было вынести!

И вчерашний раб восстал.

Назад! Назад, в крепостное рабство, в теплый вонючий закуток — прижаться к барскому сапогу, барин суров, но милостив, он выпорет на конюшне, он отберет все, что ты заработал, но если ты не заработал ничего, он же и не даст тебе сдохнуть с голоду в этом жестоком равнодушном мире, где правят теперь потерявшие человеческий облик и самоё веру в Бога жестокие и равнодушные дельцы.

Барский сапог не замедлил объявиться. В разных странах явление его сопровождалось процессами не всегда сходными, и речи обладателя сапога звучали не одинаково в Германии, скажем, или в России. Однако потерявшие человеческий облик и веру в Бога дельцы были взяты к ногтю повсюду и все — будь они разжиревшие на народных страданиях помещики и капиталисты или продавшие родину еврействующие плутократы. Социальная защищенность была обещана и обеспечена, патернализм восстановлен... Но

какою ценой!..

(Замечательно, что в странах победившего капитализма вопрос о социальной защищенности тоже стоял и тоже решался отнюдь не бескровно, однако там обошлось все-таки без барского сапога и без тотального насилия над целыми народами.)

Двадцатый век оказался отнюдь не веком социалистических революций.

Он оказался веком последних арьергардных боев феодализма, тщетно пытающегося сочетать несочетаемое: массовую технологию завтрашнего дня и массовую психологию дня вчерашнего.

4. Чтобы предугадать будущее, надлежит прежде всего основательно разобраться в прошлом. Святые слова! И такие бесполезные...

Ведь нельзя сказать, что девятнадцатый век не умел разобраться в своем прошлом. И ведь нельзя же сказать, что девятнадцатый век так уж совсем был не готов к инфернальным перипетиям двадцатого, что не было людей, основательно разобравшихся и в прошлом человечества, и в его настоящем. О том, что нас ожидает, предупреждали: Прудон, Спенсер, Ле Бон, де Лавелей, Молинари... Достоевский писал своих «Бесов». В ранних (именно ранних, еще до «Коммуни-

стического манифеста») произведениях Маркс и Энгельс предсказали все кошмары «переходного периода» вплоть (чуть ли не) до концлагерей...

Все оказалось втуне.

Воистину: умный знает историю, глупый — ее творит. Это так грустно! Но, наверное, именно поэтому нельзя предсказать будущее, — его можно разве что предчувствовать.

У нас нет дурных предчувствий. Мы пишем эти заметки осенью 1990 года. На дворе истекает сентябрь, все тускло, сумрачно, беспросветно. Ленсовет никак не может договориться с Собчаком, Ельцин — с Горбачевым, пришла зима — очень, может быть, голодная и холодная...

И все-таки нет у нас предчувствия ни гражданской войны, ни подлинного хаоса, ни семи казней египетских.

Это само по себе удивительно, если трезво представить хоть на минуту: какая страна досталась нам в наследство после семидесятилетнего свирепого хозяйничанья перезрелого феодализма, оснастившего себя коммунистической идеологией; какие монстры — без чести, без ума, без совести — продолжают удерживаться у власти на огромных просторах Шестой Части Суши; насколько народ — весь, от последнего полупьяного

бомжа до лощеного преуспевающего профессора ИМЛ, — развращен идеей *служения* вместо работы («Не тот у нас трудится хорошо, кто приносит пользу людям, а тот, кем довольно начальство!»).

И тем не менее... И тем не менее, почти неуправляемый оптимизм буйствует в воображении и — совершенно неоправданно — берет верх. Может быть, тому причиной — радостное изумление от того, что так немало оказалось замечательных людей у нас, не раздавленных, не проигравших, не давших себя ни купить, ни запугать, ни оболванить вконец... не давших себя *превратить*!..

А может быть, истоки нашего необъяснимого оптимизма в том, что невозможно представить себе сейчас действительно решительный поворот вспять? Военная диктатура... заткнуть всем крикунам глотки... взять к ногтю, загнать в колонны, поставить по стойке «смирно»... Можно! Все это сделать можно, можно даже восстановить ГУЛАГ во всей его красе, но толку-то что? Магазинные полки останутся пусты, технологии останутся на пещерном уровне, процесс превращения в третьеразрядную державу нисколько не замедлится... Как заставить работать холопа XX века?! Руку рубить за невыполнение плана? Несколько возрастет число одноруких инвалидов, чудовищ-

но, неописуемо возрастет количество вранья в статистических отчетах, и... и — все. Пройдет два-три года, ну — пять лет, и все надо будет начинать сначала: перестройка... гласность... демократия... «У перестройки нет альтернативы». «У рынка нет альтернативы». Нет альтернативы...

Будущее наше зависит сейчас в первую очередь от того, в какой степени удалось нам победить феодализм в нашем сознании, проклятый наш страх свободы, рабскую нашу приверженность холопству, служению вместо работы.

Новые общественные формации прорастают внутри старых, разрывая их и взламывая, как слабые зеленые росточки разрывают и взламывают напластования глины и асфальта. Процесс этот не знает ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Человечество, творя историю свою, бредет по дороге, заваленной трупами, по колено в крови и дряни. Так неужели же мы пролили еще недостаточно крови и недостаточно удобрили телами нашими почву для нового?.. Ведь это новое не так уж и ново — полмира уже проросло корабельным лесом новой формации.

Нет. Дороги вспять история не знает, что бы ни говорили профессиональные пессимисты.

«...Громада двинулась и рассекает вол-

ны.

Плывет. Куда ж нам плыть?..»

5. Тридцать лет назад всем и все было ясно... (Мы говорим здесь о поколении «детей Октября». Годы рождения 1920–1940. Разумеется, только о тех, кому повезло пережить войну и кто получил соответствующую идейную закалку в школе, в комсомоле, в институте. Мы не говорим о тех, кто *понимал*. Их было не так уж и мало, но они составляли подавляющее, безнадежно раздавленное меньшинство.)

Тридцать лет назад всем и все было ясно. Впереди (причем сравнительно недалеко) нас ждал коммунизм. Каждый понимал его в меру своих возможностей и способностей (один наш знакомый маркер говаривал: «При коммунизме лузы будут — во!» — и показывал двумя руками, какие замечательно огромные будут при коммунизме лузы). Однако всем и каждому было совершенно ясно, что коммунизм неизбежен — это было светлое будущее всего человечества, мы должны были прибыть туда (как на поезде — из пункта А в пункт В) первыми, а за нами уже и весь прочий (полусгнивший) западный мир. Как сказал бы герой Фейхтвангера, — бог был в Москве.

Пятнадцать лет назад каждому (мыслящему) индивидууму сделалось очевидно, что никакого светлого будущего — по крайней мере в сколько-нибудь обозримые сроки — не предвидится. Весь мир сидит в гниющей зловонной яме. Ничего человечеству не светит — ни у них, ни у нас. Единственная существующая теория перехода к Обществу Справедливости оказалась никуда не годной, а никакой другой теории на социологических горизонтах не усматривается. Бог в Москве умер, а там, «у них», его никогда и не было...

И вот сегодня мы, испытывая некоторую даже оторопь, обнаруживаем, что живем в глухой провинции. Оказывается, бог таки есть, но не в Москве, а, скажем, в Стокгольме или, скажем, в Лос-Анджелесе — румяный, крепкий, спортивный, энергичный, несколько простоватый на наш вкус, несколько «моветон», но без всякого сомнения динамичный, без каких-либо следов декаданса и, тем более, загнивания, вполне перспективный бог... А мы, оказывается, — провинция, бедные родственники, и будущее, оказывается, есть как раз «у них», не совсем понятно, какое, загадочное, туманное, даже неопределенное, но именно у них, а у нас — в лучшем случае — в будущем только они — румяные, спортивные,

несколько простоватые, но вполне динамичные и перспективные...

Семьдесят лет мы беззаветно вели сражение за будущее и — проиграли его. Поэт сказал по этому поводу:

Мы в очереди первые стояли,
А те, кто после нас, — уже едят...

Идея коммунизма не только претерпевает кризис, она попросту рухнула в общественном сознании. Само слово сделалось бранным — не только за рубежом, там это произошло уже давно, но и внутри страны, оно уходит из научных трудов, оно исчезает из политических программ, оно переселилось в анекдоты.

Однако же коммунизм — это ведь общественный строй, при котором свобода каждого есть непременное условие свободы всех, когда каждый волен заниматься любимым делом, существовать безбедно, занимаясь любимым и любым делом при единственном ограничении — не причинять своей деятельностью вреда кому бы то ни было рядом... Да способен ли демократически мыслящий, нравственный и порядочный человек представить себе мир более справедливый и желанный, чем этот? Можно ли представить себе

цель более благородную, достойную, благодарную? Нет. Во всяком случае, мы — не можем.

В этом мире каждый найдет себе достойное место.

В этом мире каждый найдет себе достойное дело.

В этом мире не будет ничего важнее, чем создать условия, при которых каждый может найти себе достойное место и достойное дело. Это будет *мир справедливости*: каждому — любимое дело, и каждому — по делам его.

Об этом мире люди мечтают с незапамятных времен. И Маркс с Энгельсом мечтали о нем же. Они только ошиблись в средствах: они вообразили, что построить этот мир можно, только лишь уничтожив частную собственность. Ошибка, надо признаться, вполне простительная по тем временам, если вспомнить, сколько яростных филиппик в адрес частной собственности произнесено было на протяжении веков. И если вспомнить, каким ореолом святости на протяжении веков окружена была идея раздать свое имущество бедным и уйти к Богу...

Маркс с Энгельсом, стремясь к замечательной цели, ошиблись в средствах. Эта ошибка носила чисто теоретический характер, но те практики,

которые устремились ко все той же цели вслед за классиками, продемонстрировали такие методы, что теперь и сама цель смотрится не привлекательнее городской бойни. А новой цели пока никто еще не предложил...

Куда ж нам плыть?..

Неужели все чудеса будущего отныне свелись для нас к витрине колбасного универмага? Колбаса — это прекрасно, но есть что-то бесконечно убогое в том, чтобы считать ее стратегической целью общества. Даже такого запущенного и убогого, как наше. Ведь из самых общих соображений ясно, что колбасное изобилие не может быть венцом исторического процесса. Венцом должно быть нечто другое. Вообще — венцом истории не может считаться то, что уже существует сегодня... Надо полагать все-таки, что впереди нас ждет что-то еще, кроме колбасного изобилия. Так что же?

Кто знает, что ждет нас?
Кто знает, что будет?
И сильный будет,
И подлый будет.
И смерть придет

И на смерть осудит.
Не надо
В грядущее взор погружать...

Гийом Аполлинер. Больной, желчный, несчастный, он не ждал от будущего ничего хорошего и был, безусловно, прав. Он умирал, а толпа патриотов под его окнами ревела: «Guillaume — a bas!», и в смертельном бреду ему казалось, что они требуют: «Долой Гийома!», хотя ревели они: «Долой Вильгельма!» — разворачивалась Первая Мировая — первая из феодальных войн XX века...

«Не надо в грядущее взор погружать» — там нет ничего, кроме всесильной подлости, подлого всесилия и — смерти, которая ставит точку всему и всем...

Это, положим, так, но

...любопытно, черт возьми,
Что будет после нас с людьми?
Что станется потом?..

И всегда было любопытно. И всегда будет.

Потому что Будущее — это Страна Несбывающихся Снов.

Потому что Будущее — это Страна Заговоренных Демонов.

Страна, в которой слабые становятся честными, злые — веселыми, а умные — молодыми...

Три вопроса занимают и мучают нас последнее время, и с ними мы пристаем ко всем встречным и поперечным.

Почему началась Перестройка? Как случилось, что в ситуации абсолютного равновесия, когда верхи могли бы изменить ход истории, но совершенно не нуждались в этом, а низы — нуждались, но не могли, как случилось, что в этой ситуации верхи решились сдвинуть камень, положивший начало лавине?

Почему все-таки невозможно общество, лишенное свободы слова с одной стороны, но вполне материально изобильное — с другой? Почему все-таки «свобода и демократия рано или поздно превращаются в колбасу», а тоталитаризм — в нищету и материальное убожество?

И наконец — куда ж нам плыть?..

Все три эти вопроса теснейшим образом переплетены и представляются нам актуальнейшими. Ответов мы не знаем. Во всяком случае, мы не знаем таких ответов, которые удовлетворили бы нас вполне...

Две трети жизни мы думаем о будущем — сначала восторженно описывали то, что стояло

перед мысленным взором, потом пытались его вычислять, теперь уповаем на предчувствие...

Опыт великих предшественников то приводит в отчаяние, то обнадеживает самым решительным образом.

«Если бы нам указывали из Вашингтона, когда сеять и когда жать, мы бы вскоре остались без хлеба». Томас Джефферсон (1743–1826). Президент США в период с 1801 по 1809 год.

Один из нас *вычитал* это в сборнике «Афоризмы», который издательство «Прогресс» выпустило в 1966 году.

Такие дела.

10.10.90

КОММЕНТАРИИ

ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА

С. 7. — *Никто не помыл и ничто не помыто*... — перефраз последней строки эпитафии О. Берггольц, высеченной на стеле мемориального Пискаревского кладбища: «Никто не забыт и ничто не забыто».

С. 15. *И тут он вспомнил Аверченко*. — см. главку «На улице» рассказа «День человеческий», где герою на улице бросают на ходу: «Как поживаете, что поделываете?» Тот крепко берет спросившего за руку и дотошно, с подробностями, отвечает.

С. 17. ...*неслышный миру вопль*... — восходит к выражению «невидимые миру слезы» (правильно: «...видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»). Н. Гоголь, «Мертвые души», 1, 7.

С. 19. ...*вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины, — решительный был малый*. — более всего соответствует описанию сцена из «Жития Аввакума» протопопа Аввакума: «Егда еще был в попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обремененна, блудному делу и

малакии всякой повинна; нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горко мне бысть в той час: зажег три свещи и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя и держал, дондеже во мне угасло злое разжение, и, отпусти девицу, сложа ризы, помоляся, пошел в дом свой зело скорбен». (Приведена так называемая редакция А «Жития...».) Шире известен эпизод из главы 5 повести Л. Толстого «Отец Сергий».

С. 22. *...как гора. Седовласый Шат.* — слова из стихотворения М. Лермонтова «Спор»: «Берегись, сказал Казбеку Седовласый Шат...» (Шат — Эльбрус).

С. 23. *Что смолкнул веселия глас?* — цитата из стихотворения А. Пушкина «Вакхическая песня».

С. 23. *Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения!* — «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». Слова из книги А. де Сент-Экзюпери «Планета людей», 2, 1. Приведены в книге М. Мижо «Сент-Экзюпери». М.: Молодая гвардия, 1963. С. 268. Перевод Г. Велле.

С. 26. *...Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно.* — приблизительная цитата из расска-

за И. Бабеля «Как это делалось в Одессе»: «— Беня говорит мало, но он говорит смачно».

С. 28. *Где имение, а где вода...* — цитируется также у А. Аверченко («Ну, где имение, где Днепр!», сборник «Нечистая сила», гл. «Добрые друзья за рамсом»). Источник, видимо, более ранний. Возможно — пословица.

С. 29–30, 35. *...молодой человек <...> в огромных противосолнечных очках. Тонтон-макут, Капитан Конкассер* — реалии из романа Г. Грина «Комедианты».

С. 36. *Человек-невидимка* — заглавие романа Г. Уэллса.

С. 41. *— Вы-с! — гнусаво-вкрадчивым голосом Порфирия произнес Игорь Петрович <...>. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич!* — реминисценция из романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» (6, 2): «— Как — кто убил?.. — переговорил он [Порфирий Петрович. — В. К.], точно не веря ушам своим, — да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с...».

С. 47. Глянуть *смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели...* — Р. Киплинг, «Эпитафии войны. Трус». Перевод Ю. Манина. Отдельно от повести Стругацких перевод не публиковался.

С. 51. *Кто знает, что ждет нас? <...> Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать...* — Г. Аполлинер, «Я вспомнил задорный куплет». Перевод М. Кудинова.

С. 51. *...уэллсовские марсиане...* — «Борьба миров».

С. 68. *Союз Девяти* — союз царя Ашоки.

С. 79. *...какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки?* — скрытая цитата из неопубликованного эссе Ю. Манина со следующими словами: «...фотография моста с точки зрения рыбы: рыба не может постичь идею перехода с одного берега реки на другой». Образ навеян первой фотографией Р. Вуда, полученной при помощи изобретенной им камеры «рыбий глаз». (Та же фотография упоминается в статье О. Мандельштама «Выпад» (2): «Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы. Снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсянико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят,

например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы».)

С. 81. *Благородное сумасшествие* — восходит к фразе, приписываемой Н. Бору: «Ваша теория, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной».

С. 84. *Тау-китяне* — персонажи песни В. Высоцкого «В далеком созвездии Тау Кита». (Осенью 1960 г. американский астроном Ф. Дрейк, используя радиотелескоп обсерватории в Грин Бэнк, пытался получить радиосигналы инопланетного происхождения из систем Эпсилон Эридана и Тау Кита.)

С. 85. *Потому что век наш весь в черном <...>. Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем...* — Г. Аполлинер, «Звуки рога». Перевод М. Кудинова.

С. 86. — *Ну, так когда это было <...> Бароны, знаете ли, стареют... — Бароны также и воюют <...> Не так уж давно это было.* — восходит к строкам «Немецкой баллады» Козьмы Пруткова: «Года за годами... / Бароны воюют, / Бароны пируют...»

(авторство «Немецкой баллады» — Владимира Жемчужникова).

С. 91. *...я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели...* — мотив сказки М. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь».

С. 94. *Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно — животное* — ср. заглавие книги Ф. Ницше: «Человеческое, слишком человеческое», а также «Слова пигмея» Акутагавы Рюноскэ: «Человеческое, слишком человеческое — большей частью нечто животное» (перевод Н. Фельдман). У Бодлера подобных слов не найдено.

С. 95. *Кто чай пьет — тот отчается* — поговорка времен раскола: «Кто чай пьет, тот отчается, а кто каву пьет, тому будут ковы». Упоминается в романе А. Н. Толстого «Петр Первый» (2, 1, 2): «Чай кто пьет — отчается... Кто кофей пьет — у того на душе ков...».

С. 95. *«Пиковая дама»* — заглавие повести А. Пушкина.

С. 100. *...веревка есть вервие простое.* — измененная цитата из басни И. Хемницера «Метафизический ученик» (редакция В. Капниста: «Метафизик»): «Веревка! — Вервие простое!»

С. 102. *Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул*

обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы... — Ёсано А. «Трусость». Перевод В. Марковой («<...> повернула вспять. <...>»).

С. 106. *...не стоит одной Иркиной морщинки.* — ср. императив из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского (2, 5, 4): «Да не стоит она [истина. — В. К.] слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка!»

С. 111. *Мерихлюндия* — мерлехлюндия — слово, встречающееся в пьесах А. Чехова, например, «Иванов», 1, 2, «Три сестры», 1. Значение этого слова Чехов пояснял в письме к А. Суворину от 24 августа 1893 г.: «...у Вас нервы подгуляли и одолела Вас психическая полуболезнь, которую семинаристы называют мерлехлюндией».

С. 113. *Шаланды, полные кефали* — песня из к/ф «Два бойца», слова В. Агатова, музыка Н. Богословского.

С. 115. *...готовый к смерти и к посмертной славе* — аллюзия на строки В. Маяковского: «...готовые и к смерти / и к бессмертной славе». «Во весь голос», Первое вступление к поэме.

С. 115. *Лучше <...> умереть стоя, чем жить <...> на коленях...* — Д. Ибаррури, речь в Париже 3 сентября 1936 г.

С. 116. *Эмоции <...> это недостаточность информации...* — см. серию статей и книгу П. Симонова «Что такое эмоция?» (журнал «Наука и жизнь». 1965. № 3–5. М.: Наука, 1966).

С. 116. *Атос, Портос и Арамис*. — персонажи трилогии о мушкетерах А. Дюма.

С. 117. *Живой пес лучше мертвого льва...* — Книга Екклезиаста (9, 4): «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву».

С. 118. *Право первородства, чечевичная похлебка* — Книга Бытия (25, 27–34).

С. 119. *Дон Кихот* — роман М. де Сервантеса Сааведры.

С. 121. *Морген, морген, нур нихт хойте* — «Завтра, завтра, не сегодня». Процитирована строка из стихотворения Х. Вейса «Отсрочка».

С. 127. *«Лучше гор могут быть только горы...»* — строка песни В. Высоцкого «Прощание с горами» из к/ф «Вертикаль».

С. 131. *«Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить»* — цитата из романа Г. Грина «Наш человек в Гаване» (5, 3, 2): «— Не ходите туда, мистер Уормолд. <...> — Они хотят вас там отравить». Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова.

С. 135. *...станем травой и кустами, станем*

водой и цветами... — ср.: «Мы стали кустами, стволами, листвою, корнями, корою...». У. Уитмен, «Мы двое, как долго мы были обмануты». Перевод К. Чуковского.

С. 138. *«Он умел бумагу марать под треск свечки! Ему было за что умирать у Черной речки...»* — цитата из стихотворения Б. Окуджавы «Счастливчик».

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

С. 141 [broken link: #ref044]. *За поворотом, в глубине / Лесного лога, / Готово будущее мне / Верней залога. // Его уже не втянешь в спор / И не заластишь. / Оно распахнуто, как бор, / Всё вглубь, всё настежь. Б. Пастернак*. — «За поворотом».

С. 141 [broken link: #ref045]. *Тихо, тихо ползи, / Улитка, по склону Фудзи, / Вверх, до самых высот! Исса, сын крестьянина* — перевод В. Марковой.

С. 149. *Кандид* — персонаж повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».

С. 153. *...Перец <...> подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «ПОМОЙ РУКИ ПЕРЕД РАБОТОЙ». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет*. — ср. параллель с «Записными книжками» И. Ильфа (запись 1936–1937 гг.): «Начинается безумие. При каждом кабинете уборная и умывальник. Это неплохо. Но есть еще ванная комната и, кажется, какая-то закусочная».

С. 156, 189. *...горькие истины? Тьмы горьких истин нам дороже...* — искаженная цитата из стихотворения А. Пушкина «Герой»: «Тьмы низких

истин мне дороже / Нас возвышающий обман...».

С. 158. *«Макура-но соси»* — «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон.

С. 188. *Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного?* — восходит к строке стихотворения Н. Некрасова «Сеятелям»: «Сейте разумное, доброе, вечное...».

С. 189. *Солнечные города* — термин восходит к «Городу Солнца» Т. Кампанеллы.

С. 226. *Ахти* — персонаж поэмы Н. Гумилева «Гондла» (заимствовано Гумилевым из «Калевалы»: это прозвище хитреца, забияки, балагура, спорщика, большого любителя попировать Лемминкяйнена). Также можно отметить сюжетную параллель в этой сцене с «Гондлой»: Ахти задерживает беседой, отвлекает главного героя от его цели.

С. 227. *«Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...»* — цитата из стихотворения Н. Гумилёва «Шестое чувство» («<...> поцеловать. / Мгновение бежит неудержимо...»).

С. 228. *Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон...* — физик-теоретик А. Эддингтон стрелой времени называл энтропию.

С. 230. *...под копией картины <...> равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «ТИХО!».*

Поэтому здесь никто не разговаривал. — ср. параллель с «Записными книжками» И. Ильфа (запись 1930 г.): «Под портретом плакат «Соблюдайте тишину». И это казалось заповедью».

С. 241. — *Каждый человек в чем-нибудь да гений <...>. Надо только найти в нем это гениальное.* — ср. параллель с «Вором» Л. Леонова: «...а что, если ты, Петр Горбидоныч Чикилев, и есть высший, только сокрытый пока, гений? <...> и в чем же она, гениальность моя? Открываюсь: для меня любое житейское обстоятельство есть как бы яйцо, и, характерно, еще никто в целом свете не догадывается, что из него выведется, а я не только наперед проник, ровно в желток ему глядел, а уже и принял предупредительные меры. Да если только правильно дело поставить, у меня никаких бы событий в истории и происшествий не случалось бы, а получился бы сплошной проспект прогресса!» (2, 20).

С. 260. *Радиола неистовствовала...* — ср. параллель в романе Э.-М. Ремарка «Триумфальная арка» (28): «Неистовствовала пианола». Перевод Б. Кремнева и И. Шрайбера. (В части редакций перевода.)

С. 281. *...земля здесь должна быть съедобна.* — ср. параллель в книге А. Кауэлла «В сердце

леса», гл. 19. «Землееды»: «...тхукахаме — одно из немногочисленных племен земного шара, которые регулярно употребляют в пищу землю. ~ Возможно, именно из-за присутствия минеральных солей земля занимает такое важное место в питании тхукахаме». М.: Мысль, 1964. С. 202. Перевод Н. Высоцкой и В. Эпштейна.

С. 286. *Мухи ревут*. — ср. параллель в «Белых стихах» Б. Пастернака: «На станции ревели мухи».

С. 289. *Вы, необразованные... — <...> каков был корень любви? — Был ли он горек? <...> — Плод довольно сладок*... — восходит к афоризму, приписываемому Аристотелю: «Корень учения горек, а плоды его сладки».

С. 311. *Напущу я на вас неотвязные лозы, <...> и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут*... — приблизительная цитата из Р. Киплинга, «Маугли. Из Книги Джунглей», глава «Нашествие джунглей», «Угроза-песнь Маугли сельчанам», перевод С. Займовского («<...> род нечестивый ваш Джунгли сметут. / Кровля обрушится, / <...> карелой / дворы зарастут!»).

С. 314. *...жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам*... — Р. Вирхов: «...надо помнить, что жизнь отличается от процессов в

остальном мире и что ее нельзя свести просто на физические и химические законы». Цитата времен полемики Вирхова с механицистами и основания им теории неовитализма.

С. 316. *Винни Пух* — персонаж книги А. Милна «Винни-Пух и все, все, все».

С. 340. *Х. Тойти* — Хойти-Тойти — персонаж одноименного рассказа А. Беляева.

С. 343. *Но ты пойми: позавчера не было директивы, вчера не было директивы — если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директив?* — параллель с «Современной идиллией» М. Салтыкова-Щедрина. «Сказка о ретивом начальнике» (черновая рукопись четвертой редакции): «Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет, но еще того больше горе, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может!»

С. 344. *...сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. <...> Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются...* — ср. параллель в романе М. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (гл. «Старая помпадурша», 1): «...и однажды даже, рассердившись

на губернское правление, приказал всем членам его умереть...».

ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА

С. 391. *...в позе мадам Рекамье...* — см. «Портрет г-жи Рекамье» Ж.-Л. Давида.

С. 393. *Басаврюк* — персонаж «Вечера накануне Ивана Купала» Н. Гоголя.

С. 405. *...из Шмальгаузена: «Природа отняла у нас бессмертие, давши взамен любовь»*. — выражение «Природа отняла у нас бессмертие и взамен его дала нам любовь» приведено И. Фроловым как слова И. Шмальгаузена в интервью «...Радостная деятельность жизни» (журнал «Знание — сила». 1983. № 11. С. 43). Фактически Шмальгаузен в книге «Проблема смерти и бессмертия» (М.-Л.: Госиздат, 1926) на с. 90 цитирует Е. Шульца: «Природа обладала всеми средствами сделать индивидуум бессмертным, но она выбрала для него смерть. Вместо постоянного молодения отдельных органов — посредством молодения их клеток, она избрала молодение всего организма помощью одной клетки. Она отняла у нас бессмертие и взамен его дала нам любовь». Работа Шульца «О молодении» в переводе Н. Гринфельда опубликована в цикле «Новые идеи в биологии» в сборнике третьем «Смерть

и бессмертие I» (СПб.: Образование, 1914) на с. 137–148, цитата — на с. 148.

С. 413. *Тварь дрожащая* — выражение восходит к стихам А. Пушкина из цикла «Подражания Корану» (часть I — обработка суры 93 «Утро»): «Мужайся ж, презирай обман, / Стезею правды бодро следуй, / Люби сирот и мой Коран / Дрожащей твари проповедуй...». В широкий оборот вошло после романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание»: «Велит Аллах и повинуйся, «дрожащая» тварь!»; «Тварь ли я дрожащая или право имею...».

С. 413. *...настоящий писатель должен жить долго!* — ср.: «В России [писателю. — В. К.] надо жить долго». Фраза приписывается К. Чуковскому.

ДЬЯВОЛ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

С. 427. *Сон совести рождает чудовищ. Перефраз* — перефраз названия офорта Ф. Гойи «Сон разума рождает чудовищ».

С. 427. *Но какое допустил святотатство патер грубый! Он послать себе позволил «Таусфес-Ионтеф» к черту в зубы. «Боже, тут всему конец!» — кликнул рабби в исступленье...* — цитата из «Диспута» Г. Гейне. Перевод И. Мандельштама: «Но какое допустил / Богохульство патер грубый... / Он послать себе позволил / «Таусфес-Ионтеф» к черту в зубы. / «Боже, тут всему конец! — / Крикнул рабби в исступленье...».

С. 427. *...что представлял собою Ташлинск в дни моей юности? Не то что на карте генеральной, не во всяком атласе отыщешь.* — реминисценция из поэмы М. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1): «Тамбов на карте генеральной / Кружком означен не всегда...».

С. 430. *Харя — троим не обгадить* — ср.: «Сидит сатана, морду в три дня не обгадишь, Троекуров...». А. Н. Толстой, «Петр Первый», 1, 5, 10.

С. 430. *Палач не плясал на трупах. Это бедной Катлине почудилось в бреду. Он просто утапты-*

вал землю на свежем захоронении. — сниженная аллюзия на эпизод из главы 5 книги 1 «Легенды об Уленшпигеле» Ш. де Костера в переводе Н. Любимова. Возможно, из текстов «Рассыпанного жемчуга» (см: «Поиск предназначения...»).

С. 435. *...по-горьковски: — А песню он мне все-таки испортил, чтоб ему...* — «Эх... испортил песню... дур-рак!» — заключительная реплика пьесы М. Горького «На дне».

С. 436. *...страха ради иудейска...* — церковнославянский текст Евангелия от Иоанна (19, 38).

С. 438. *Во глубине башкир-кайсацких руд!* — контаминация строк А. Пушкина «Во глубине сибирских руд...» и Г. Державина «Богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды...» («Фелица»).

С. 438. *И весь свет узнал.* — цитата из «Войны и мира» (1, 1, 4) Л. Толстого.

С. 439. *Павка Корчагин, Олег Кошевой* — персонажи романов Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Фадеева «Молодая гвардия» (Кошевой — герой подполья в Краснодоне).

С. 441. *...черная повязка пересекала это лицо и череп, закрывая левый глаз. «Билли Бонс»* — Билли Бонс — персонаж романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ». С повязкой через левый глаз он изображен в к/ф «Остров сокровищ» реж. В.

Вайнштока.

С. 442. *...до изумления...* — оборот, характерный для романа А. Н. Толстого «Петр Первый», также использованный в одноименном к/ф по этому роману реж. В. Петрова.

С. 446 [broken link: #ref084]. *Летят по небу самолеты-бомбовозы... тихо уложу...* — послевоенная песня-пародия «Новобранцы» (вариант).

С. 448. *Вынесет все — и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Жаль только жить.* — перефраз «Железной дороги» (2) Н. Некрасова: «Вынесет всё — и широкую, ясную / Грудью дорогу проложит себе. / Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе».

С. 457. *Районные будни* — заглавие книги очерков В. Овечкина.

С. 458. *Но вот грянули всякие хренации, как говаривал Александр Галич.* — «Поэма о Сталине» («Аве Мария»): «Грянули впоследствии всякие хренации...».

С. 461. *...на ведьму напали корчи* — цитата из «Пропавшей грамоты» Н. Гоголя.

С. 461. *«Последовательность событий была так стремительна, как будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам»* — цитата из главы «Мы проходим через войну»

романа «Дорога на Океан» Л. Леонова.

С. 462. *«жестокое чудо»* — выражение, обычное для Стругацких, восходящее к заключительным словам «Соляриса» С. Лема: «...не прошло время ужасных чудес». Перевод Д. Брускина.

С. 464. *И я едва удержал мгновенный позыв гоголевского почтмейстера вскрикнуть и хлопнуть со всего размаху по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной.* — эпизод из главы 10 тома 1 «Мертвых душ».

С. 466 [broken link: #ref092]. *Свят Георгий во бое / На лихом сидит коне, / Держит в руце копие, / Тычет змия в жопие.* — по словам Б. Стругацкого, это «старинная шуточная песня. Когда-то я встречал ее и в каком-то тексте, но в каком, не помню». Источник не найден.

С. 468. *И карандаш пропорол ему щеку насквозь. («Хорошо, что не в глаз!» — простодушно присовокупила наша старая дева.)* — восходит к ключевой фразе анекдота.

С. 474. *Возлюбленная пара* — слова из песни неизвестного автора «Шумел камыш, деревья гнулись»: «Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».

С. 481. *...мозг мой будто мгновенно взболтали ложкой.* — цитата из главы 82 романа А. Н. Тол-

стого «Гиперболоид инженера Гарина» («...мозг его <...>»).

С. 483. *На заре туманной юности* — строка романса «Разлука», слова А. Кольцова, музыка А. Гурилева.

С. 483. *«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...»* — стихотворение Ф. Тютчева.

С. 483. *Кинофильм «Чапаев»* — реж. Г. Н. и С. Д. Васильевы.

С. 484. *Дракон бедствовал, потому что управлялся самыми темными и стыдными органами своего тела.* — перефраз из первой главы романа В. Иванова «Русь Великая» (часть третья трилогии о начале Руси): «“Дракон бедствовал, ибо управлялся глухой и слепой частью тела — хвостом”. Подобной притчей писатель напоминал читателям об опасности ослабления единой для империи центральной власти». Иванов цитирует историка Никиту Акомината (Хониата): «Никиты Хониата история, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина», т. 1, СПб., 1860, с. 290: «А когда таким образом все в царском дворце было исполнено смут и всякого рода тревог, то и в самих государственных делах можно было видеть то, что говорится в сказке о драконе, кото-

рый бедствовал от того, что управлялся в своих движениях глухою и слепою частью — хвостом» (перевод под редакцией В. Долоцкого).

С. 484. *Мороз и солнце* — цитата из стихотворения А. Пушкина «Зимнее утро».

С. 484. *Хорошо живет на свете Винни Пух!* — строка из песни Винни-Пуха книги А. Милна «Винни-Пух и все, все, все». Пересказ Б. Заходера. В м/ф реж. Ф. Хитрука песня положена на музыку М. Вайнберга.

С. 485. *Как выразился Сэм Уэллер: «Знай вы, кто тут находится поблизости, сэр, я думаю, вы запели бы другую песенку, как сказал, посмеиваясь, ястреб, услышав, как малиновка распевает за углом»*... — цитата из главы 47 романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». Перевод А. Кривцовой и Евгения Ланна (4-я и последующие редакции перевода).

С. 487, 492. *«А там икра, а там вино, и сыр, и печки-лавочки...» «<...> Ваш начальничек упаковочку дает!»* — А. Галич, «Больничная цыганочка»: «А там икра, а там вино, / И сыр, и печки-лавочки!», «Твой начальничек дал упаковочку...»

С. 489–490. *Совпадение раз, совпадение два, но помилуй Боже, где же воля Твоя?* — фраза восходит к восклицанию А. Суворова: «Один раз счастье,

другой раз счастье! Помилуй Бог! Когда-нибудь надо же и уменье».

С. 491. *Слабые люди, как сказал бы товарищ Коба.* — восходит к историческому анекдоту о Сталине.

С. 494. *Дети — цветы жизни* — штамп начала двадцатого века. В литературе — М. Горький, «Бывшие люди»: «Дети — живые цветы земли», И. Ильф, Е. Петров, «Двенадцать стульев», 1, 14: «...дети — цветы жизни».

С. 499. *Американский. Фильм ужасов.* — «Shocker» («Электрошок», «Шокер»), реж. У. Крэйвен.

С. 500. *Вся королевская рать* — перевод С. Маршака строки из англ. детского стихотворения из книги «Nursery Rhymes» «Шалтай-Болтай» («Humpty-Dumpty», «All the King's men»), использованного Л. Кэрроллом в главе 6 сказки «Алиса в Зазеркалье». Отсюда — заглавие романа Р. П. Уоррена.

С. 501. *Все смешалось в моей больнице.* — отсылка к фразе из романа Л. Толстого «Анна Каренина» (1, 1): «Все смешалось в доме Облонских».

С. 502. *Приблизилась толпа, вооруженная дреколье́м* — восходит к церковнославянскому тексту Евангелия от Матфея (26, 47).

С. 502. *...в отдалении опасливо прятались в сумерках двое-трое милиционеров.* — реминисценция из романа М. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (глава «Она еще едва умеет лепетать», 3): «В отдалении реют квартальные».

С. 502. *...числом поболее...* — цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» (1, 7): «...Числом поболее, ценою подешевле?»

С. 503. *...подвергли их укоризне...* — в романе Г. Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь» (3, 3 и далее) «подвергнуться укоризне» означает получить удар по голове «дубиной из твердого дерева весом чуть ли не в центнер и утыканной зубами акулы». Перевод С. Займовского и Е. Бируковой (в части редакций перевода).

С. 503. *Пар ушел в свисток* — «У него весь пар уходит на свистки, а не на движение. (О поэте, вокруг которого была создана чрезмерная рекламная шумиха)». М. Светлов, «Беседа». М.: Молодая гвардия, 1969. С. 368. Фраза, видимо, имеет более раннее происхождение.

С. 504. *Вот у Киплинга, если, конечно, перевод адекватный: «Мы шли через ад, и поклясться я готов, что нет там ни ведьм, ни жаровен, ни чертей, там только пыль...» <...> от шагающих*

сапог… — цитируется стихотворение «Пыль (Пехотные колонны)», перевод А. Оношкович-Яцыны: «Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь, / Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей, / Но-пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог…».

С. 506. *…у Лермонтова <…> «Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить…»* — цитата из романа «Герой нашего времени», «Княжна Мери», запись «22 мая».

С. 506. *Чудище обло и… стозевно* — полная строка: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Вариация А. Радищева (эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву») строки 514 главы 18 тома 2 «Тилемахиды» — стихотворного перевода В. Тредиаковского «Приключений Телемака» Ф. Фенелона.

С. 507. *…не прелюбы сотвори…* — «не прелюбы сотвориши». Исход (20, 14), Евангелие от Матфея (5, 27), церковнославянский текст.

С. 508. *И запомни: доставишь вовремя — воля; вынудишь меня снова к тебе тащиться — уже неволя; не выполнишь заказ — смерть.* — использована формула ультиматума А. Суворова перед взятием Измаила: «Сераскиру, старшинам

и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже неволя; штурм — смерть. Что оставляю на ваше рассмотрение».

С. 508. *О каких-то ста сорока четырех тысячах. Об обновленной земле.* — Откровение Иоанна (7, 4; 21, 1), Книга пророка Исайи (65, 17).

С. 511. *А в тот день я сидел в своем кабинете, смотрел, как за окном сгущаются сумерки, с тоской прислушивался к сосанию под ложечкой и никого к своей особе не допускал.* — реминисценция из песни Ю. Кима «Бомбардиры»: «Генерал-аншеф Раевский сам сидит серчает, / До своей особы никого не допущает».

С. 513. *Дедушка старый, ему все равно.* — «садистские куплеты».

С. 516. *«Мститель из Эльдорадо», «Как увижу китайца, удержаться не могу, сразу ему уши отрезаю...»* — название в советском прокате американского фильма «Robin Hood of El Dorado» реж. У. Уэллмэна. Та же цитата по субтитрам: «[Джек:] Это уши китайцев. Я ловлю их за косы и убиваю. [Хоакин:] За что? [Джек:] Увижу китайца и не могу удержаться. Привычка. [Хоакин:] А если я по привычке убью тебя? [Джек:] Я же не китаец».

С. 516. *Так угощайся, мой злодей, не стесняйся,*

мой славный!.. — контаминация характерных выражений властей предержащих из нескольких произведений Л. Фейхтвангера: «Угощайся, мой славный» («Лже-Нерон» (1, 20), перевод И. Горкиной и Р. Розенталь; в части редакций перевода) и «Мой еврей» («Еврей Зюсс», трилогия об Иосифе Флавии).

С. 519. *«Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас»* — цитата из поэмы М. Лермонтова «Мцыри» (4): «Старик! я слышал много раз, / Что ты меня от смерти спас...».

С. 521. *...верхом на трубе райкома («и галушка в зубах»)...* — измененная цитата из повести Н. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (4): «Сядет верхом на трубу <...> — И галушка в зубах».

С. 524. *...водочный вопрос нас портит.* — перефраз из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1, 12): «...квартирный вопрос только испортил их...».

С. 524. *Довлеет дневи злоба его* — церковнославянский текст Евангелия от Матфея (6, 34). Русский перевод: «Довольно для каждого дня своей заботы».

С. 524. *Надежды маленький оркестрик под управлением любви...* — цитата из песни Б. Окуджавы «Надежды маленький оркестрик» или

«Песенка о ночной Москве».

С. 527. *Вы считаете, как покойный Архимед, мой Портос*. — контаминация нескольких цитат из трилогии А. Дюма: «Виконт де Бражелон» (2, 16): «Вы считаете не хуже покойного Пифагора, господин Кольбер» (перевод под редакцией Н. Таманцева) и «Три мушкетера» (1, 28): «— Четыреста семьдесят пять ливров! — сказал д'Артаньян, считавший, как Архимед» (перевод Д. Лившиц).

С. 528. *А вот тут, батенька, мы вас и поправим!* — ключевая фраза анекдота о Ленине и Сталине.

С. 529. *...содвинем их разом! Содвинем!* — реминисценция «Вакхической песни» А. Пушкина: «Подымем стаканы, содвинем их разом!»

С. 530. *На небе один Бог, на земле один его наместник. Одно солнце озаряет Вселенную и сообщает свой свет другим светилам. Все, что непокорно Москве, должно быть*... — измененные слова епископа из к/ф С. Эйзенштейна «Александр Невский» («— На небе один господь, на земле <...> солнце освещает Вселенную <...> светилам. Один римский властелин должен быть на земле. Все, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено!»).

С. 531. *Кормит это Геба отцовского орла и проливает, руки-крюки, громокипящий кубок <...>. Ну*

и ухмыляется... — сниженная аллюзия на строки «Весенней грозы» Ф. Тютчева: «...ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила».

С. 533. *...неужели никого не найдется, кто бы задушил меня, пока я сплю?* — цитата из «Зубчатых колес» (6) Акутагавы Рюноскэ: «Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?» Перевод Н. Фельдман.

С. 534. *Конец, и Богу слава.* — выражение из православного часослова, вошедшее в светскую литературу, например, «Недоросль» Д. Фонвизина (3, 8): «[Г-жа Простакова.] <...> Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань. [Митрофан.] А по мне и подавно. [Кутейкин (затворяя часослов).] Конец и богу слава».

С. 534. *И никто не узнает, где могилка его.* — строка уличного романса «Позабыт-позаброшен» («<...> могилка моя»).

ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ НИКИТЫ ВОРОНЦОВА

С. 537. — *Это не мысли ~ вашей милости. Д. И. Писарев* — статья «Генрих Гейне», 3. Далее приводится фрагмент текста статьи Д. Писарева, важный для понимания замысла автора рассказа:

«Перед вами стоит живописец. На палитре его горят краски невиданной яркости. Он взмахнул кистью, и через две минуты вам улыбается с полотна или даже просто со стены прелестная женская физиономия. Еще две минуты, и вместо этой физиономии на вас смотрят демонически-страстные глаза безобразного сатира; еще несколько ударов кисти, и сатир превратился в развесистое дерево; потом пропало дерево, и явилась фарфоровая башня, а под ней китаец на каком-то фантастическом драконе; потом все замазано черной краской, и сам художник оглядывается и смотрит на вас с презрительно-грустною улыбкою. Вы глубоко поражены этой волшебно-быстрой сменой прелестнейших картин, которые взаимно истребили друг друга и от которых не осталось ничего, кроме безобразного

черного пятна. Вы спрашиваете у художника с почтительным недоумением, зачем он губит свои собственные великолепные создания и зачем он, при своем невероятном таланте, играет и шалит красками, вместо того чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, — отвечает вам художник.

Вы этого ответа не понимаете и просите дальнейших объяснений.

— Нет сюжетов, — поясняет художник.

Изумление ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетов везде и всегда можно найти бесчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презрительнее и еще грустнее.

— Сюжетом, — говорит он, язвительно отчеканивая каждое слово, — я называю такую мысль, которая овладевает всем моим существом и не дает мне покоя ни днем, ни ночью до тех пор, пока я не вырву ее из себя и не прикую ее к полотну. Таких сюжетов я не вижу и не чувствую в окружающей меня атмосфере.

— Но ведь были же у вас мысли, — говорите вы, — когда вы сейчас набрасывали одну картину за другою, или, вернее, одну картину на другую.

— Это не мысли, — отвечает художник, — это

мимолетные настроения. Вы сами видели, как они рождались и как исчезали. Такими мыльными пузырями, как эти настроения, можно только удивлять и забавлять глупых ребятишек вроде вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этот щекотливый разговор».

С. 539. *Абахт! И выпученные солдатские зенки, как у кота, который гадит на соломенную сечку* — цитата из «Похождений бравого солдата Швейка во время мировой войны» (3, 2) Я. Гашека: «Когда раздается «habacht», ты должен выкатить зенки, как кот, когда тот гадит на соломенную сечку». Перевод П. Богатырёва. Habacht (нем.) смирно.

С. 540 [broken link: #ref141]. *Поспишаймо / Здалека в той край ~ По якым нам бильше не ступаты...* — песенный вариант стихотворения Н. Томенко «Ми все рідше пишемо листи...» («Червоні вершники», Киев: Радянський письменник, 1976. С. 25).

С. 541. *...было время брать, настало время отдавать...* — стилизация под Книгу Екклезиаста (3, 1–8).

С. 541. *«Кони привередливые», «Подводная лодка»* — песни В. Высоцкого.

С. 541. *«По смоленской дороге», «Ваше благородие, госпожа Разлука»* — песни Б. Окуджавы. Вторая — «Песня Верещагина» на музыку И. Шварца из к/ф «Белое солнце пустыни».

С. 544. *«Крыша мира»* — роман С. Мстиславского.

С. 545. *«Я умру 8 (восьмого) июня 1977 (семьдесят седьмого) года в 23 часа 15 минут по московскому времени.* — ср.: «Я, Билли Пилигрим, умирал, умер и всегда буду умирать 13 февраля 1976 года». К. Воннегут, «Бойня номер пять», 6. Перевод Р. Райт-Ковалевой.

С. 547. *«Черные косы, задумчивый взгляд»* — возможно, измененные слова песни «Березы» (слова В. Лазарева, музыка М. Фрадкина) из к/ф «Первый день мира»: «Я трогаю русые косы, / Ловлю твой задумчивый взгляд».

С. 547. *«А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу!»* — слова из песни В. Высоцкого «На стол колоду, господа...». Песня публиковалась также под заглавиями «Игра в карты в двенадцатом году» и «Аристократы развлекаются».

С. 547. *«На Западном фронте опять без перемен»* — отсылка к заглавию романа Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен».

С. 558. *...рыцарь не моего романа* — неточная цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от ума», 3, 1 («...герой... / Не моего романа»).

С. 569. *Эх, дороги, пыль да туман* — «Дороги», слова Л. Ошанина, музыка А. Новикова.

С. 569. *«Черный кот», «Вы слышите, грохочут сапоги», «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...»* — Б. Окуджава, «Песенка про черного кота», «Песенка о солдатских сапогах», «До свидания, мальчики».

С. 570. *...вспомнить хотя бы джек-лондоновского Скитальца, который в своей смирительной рубахе носился из эпохи в эпоху...* — Даррел Стэндинг из романа «Смирительная рубашка (Странник по звездам)». Английское заглавие — «The star rover», отсюда — «Скиталец».

С. 572. *Диалектика природы* — заглавие труда Ф. Энгельса.

С. 573. *Мюнхгаузен, Прутков* — персонажи произведений Р. Распе и Г. Бюргера и А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых.

С. 574. *«Ведь ясновидцев — впрочем, как и очевидцев, — во все века сжигали люди на кострах...»* — строки песни В. Высоцкого «О вещей Кассандре».

С. 576. — *Чрезвычайно неровный слог <...>.* —

Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. — цитата из «Записок сумасшедшего» Н. Гоголя («Ноября 13»).

С. 576. *...се глас не мальчика, но мужа.* — приблизительная цитата из сцены «Ночь. Сад. Фонтан» трагедии А. Пушкина «Борис Годунов» («...речь не мальчика, но мужа»).

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ ИЛИ «КУДА ЖЕ НАМ ПЛЫТЬ?..»

С. 579. *...Марк Твен сказал: «Девятнадцатый век отличается от двадцатого, главным образом, тем, что в девятнадцатом слова оптимист и дурак не были синонимами»*. — «Из «Записных книжек», запись от января 1905 г.: «...шестьдесят лет тому назад «оптимист» и «дурак» не были синонимами». Перевод А. Старцева.

С. 580, 581. *Город Солнца, «Туманность Андромеды»* — заглавия произведений Т. Кампанеллы, И. Ефремова.

С. 581 [broken link: #ref162]. *Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья, / Бессмертья, может быть, залог!* — А. Пушкин, «Пир во время чумы» («<...> залог...»).

С. 582. *Сатана станет править бал...* — от строки из арии Мефистофеля: «Сатана там правит бал...» из оперы Ш. Гуно «Фауст». Либретто М. Карре и Ж. Барбье, рус. перевод П. Калашникова.

С. 584. *Если враг не сдается, его уничтожают.* — заглавие статьи М. Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают».

С. 584. *Джордж Оруэлл <...> ввел понятие «двоемыслие» (double think).* — роман «1984».

С. 584. *«со скошенными от постоянного вранья глазами»* — М. Булгаков, «Мастер и Маргарита» (1, 13): «... со скошенными к носу от постоянного вранья глазами». Возможно, слова Булгакова восходят к выражению Ф. Ницше из книги «Так говорил Заратустра» (4, О высшем человеке, 8): «...пока наконец они не изолгутся, косые...» (перевод Ю. Антоновского).

С. 586. *Огня! Еще огня!* — автоцитата из «Трудно быть богом».

С. 587. *Труд есть дело чести, дело доблести и геройства!* — И. Сталин, Политический отчет ЦК XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г., раздел 2, 7: «<Труд в СССР —> дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

С. 588. *Wer ein Volk retten will kann nur heroisch denken!* — Лозунг с почтово-филателистического блока 1937 года, выпущенного к дню рождения А. Гитлера («<...> will, kann <...>»). Автор, возможно, Гитлер.

С. 588. *...время <...> «прекратит течение свое».* — от «История прекратила течение свое». М. Салтыков-Щедрин, «История одного города», гл. «Подтверждение покаяния. Заключение».

С. 591. *Предчувствие гражданской войны* — название картины С. Дали: «Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны». Во время написания статьи также популярная песня группы «ДДТ».

С. 592. *...без чести, без ума, без совести...* — от «...в ней [партии. — В. К.] мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи...». В. Ленин, «Политический шантаж».

С. 593 [broken link: #ref173]. *...Громада двинулась и рассекает волны. / Плывет. Куда ж нам плыть?..* — А. Пушкин, «Осень (отрывок)», 11–12.

С. 594. *Как сказал бы герой Фейхтвангера, — бог был в Москве*. — «Бог теперь в Италии» — эти слова Юста часто повторяет Иосиф в первых двух книгах трилогии об Иосифе Флавии — «Иудейская война» и «Сыновья». Перевод В. Станевич.

С. 594 [broken link: #ref175]. *Мы в очереди первые стояли, / А те, кто после нас, — уже едят...* — В. Высоцкий, «Мы в очереди первые стояли» («<...> кто сзади нас <...>»).

С. 595. *...идея раздать свое имущество бедным и уйти к Богу...* — см. Евангелие от Матфея (19, 21).

С. 596 [broken link: #ref177]. *Кто знает, что ждет нас? / Кто знает, что будет? / И сильный будет, / И подлый будет. / И смерть придет / И*

на смерть осудит. / Не надо / В грядущее взор погружать... Гийом Аполлинер. — «Я вспомнил задорный куплет». Перевод М. Кудинова.

С. 596. *Он умирал, а толпа патриотов под его окнами ревела: «Guillaume — a bas!», и в смертельном бреду ему казалось, что они требуют: «Долой Гийома!», хотя ревели они: «Долой Вильгельма!»* — скрытая цитата из «Праздника, который всегда с тобой» Э. Хемингуэя: «...прекрасно она говорила о Гийоме Аполлинере и его смерти в день перемирия в 1918 году, когда толпа кричала: «A bas Guillaume!» — а метавшемуся в бреду Аполлинеру казалось, что эти крики относятся к нему...» (глава «Une génération perdue» [Потерянное поколение (фр.)]). Перевод М. Брука, Л. Петрова, Ф. Розенталя.

С. 597 [broken link: #ref179]. *...любопытно, черт возьми, / Что будет после нас с людьми? / Что станется потом?..* — Н. Асеев, «В конце концов (На мотив Р. Бернса)»: «А любопытно, черт возьми, / что будет после нас с людьми, / что станется потом?»

С. 597. *...верхи могли бы изменить ход истории, но совершенно не нуждались в этом, а низы — нуждались, но не могли...* — восходит к известному положению В. Ленина о «верхах и низах».

Первая формулировка — в статье «Маевка революционного пролетариата»: «Большей частью для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде».

С. 598. *Такие дела.* — «трагический» рефрен из «Бойни номер пять» К. Воннегута. Перевод Р. Райт-Ковалевой.